Личный архив
ФРИДА
ВИГДОРОВА
ПРАВО ЗАПИСЫВАТЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Право записывать» – это книга статей, очерков, записей журналистки и писательницы Фриды Вигдоровой (1915–1965). Большая ее часть построена на архивных материалах – писательских и журналистских блокнотах, в которых проявилась одна из главных особенностей таланта Вигдоровой: абсолютный слух на людскую речь и способность художественно воспроизводить услышанное многоголосье. В книгу включена также глава из ее неоконченной повести «Учитель». Помимо текстов Вигдоровой, в книгу вошли фрагменты воспоминаний, статей, выступлений, посвященных ее жизни, творчеству и деятельности. Большая часть материалов публикуется впервые.

Тексты Фриды Вигдоровой публикуются с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

- Фрида Вигдорова
  - ○
  - ○
  - ○ От составителей
  - ○ Свет доброты
  - ○ Статьи, очерки
  - ○ Блокноты журналиста
  - ○ Вокруг статей
  - ○ Блокноты депутата
  - ○ Из неопубликованных блокнотов депутата
  - ○ Дело Бродского
    - ■ Предисловие
    - ■ Судилище
    - ■ О записи судов над Бродским
  - ○ Блокноты писателя. (1951–1965)
  - ○ Отрывок из повести Фриды Вигдоровой «Учитель»
  - ○ Из архива Н. Я. Мандельштам
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97

- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141

- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185

- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215

Фрида Вигдорова
Право записывать
Сборник

© Ф. А. Вигдорова, наследники, 2017
© Е. И. Вигдорова, А. А. Раскина, составление, комментарии, 2017
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Разве можно лишать журналиста его естественного права видеть, записывать, добираться до смысла происходящего?

Из письма Ф. Вигдоровой редактору «Литературной газеты» А. Чаковскому

От составителей

Более полувека прошло со дня смерти писательницы и журналистки Фриды Абрамовны Вигдоровой – она умерла 7 августа 1965 года (родилась 16 марта 1915 года). Ее книги «Мой класс», трилогия «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка», дилогия «Семейное счастье», «Любимая улица» известны читателю и переиздавались в последние десятилетия. Не затерялись в современном книжном мире и недавно впервые опубликованные материнские дневники «Девочки».

Вигдорову-журналиста знают сегодня в первую очередь благодаря ее записи суда над поэтом Иосифом Бродским. Мы стремились не только создать более полный портрет писателя-журналиста, но и помочь людям нового века увидеть непростую, драматическую, а порой и трагическую эпоху, которая вошла в историю под именем Оттепели. В книге использованы архивные материалы – блокноты, письма, публицистика Фриды Вигдоровой, воспоминания о ней современников.

Книга открывается воспоминаниями близкого друга Фриды Вигдоровой, писательницы И. Грековой, которая рассказывает о ее жизни и творчестве и при этом тщательно воссоздает ее образ: ее речь, ее смех, ее внешний облик – и читатель видит и слышит Фриду Вигдорову. С помощью И. Грековой он как бы знакомится лично с автором книги, которую ему предстоит прочесть.

Раздел «Статьи, очерки, блокноты журналиста» открывается шестью статьями и очерками Вигдоровой, которые публиковались в оттепельный период в газетах и в альманахе «Тарусские страницы»: альманах вышел в 1961 г. и в том же году был запрещен; некоторые из них даны нами в сокращении – мы хотели лишь показать читателям, с каким трудом прорывалась гласность и как звучали в то время слова журналиста Фриды Вигдоровой.

Центральное место в разделе занимают «Блокноты журналиста». Записанные без оглядки на цензуру напыщенные речи власть имущих, горькие жалобы деревенских стариков, слова горожан и колхозников, которые в начале оттепели вдруг заговорили свободно… Блокноты предшествовали статьям, и записи в них по понятным причинам были полнее, а порой – по тем же причинам – и не превращались в статью. Некоторые сюжеты мы даем только по блокнотам.

Помимо заготовок к статьям или более полных вариантов статей, блокноты включают в себя и беглые зарисовки увиденного, услышанного – как пишет сама Вигдорова, «в вагоне,

на печке, на улице». В этих неподцензурных блокнотах свободно, в полный голос говорят не только многочисленные герои, но и сам автор.

Раздел завершает очерк Александры Раскиной «Вокруг статей». В нем рассказывается о судьбах тех, о ком писала Ф.А., и о том, как происходила ее борьба за них. В очерк Раскиной включены и переписка Ф.А. с друзьями, связанная с материалами статей, и отрывки из воспоминаний Н. Г. Долининой и О. Г. Чайковской.

Следующий раздел – «Блокноты депутата». В 1963 году Фрида Вигдорова была избрана депутатом райсовета Фрунзенского района г. Москвы. Ее кандидатуру выдвинул Союз писателей, и Ф.А. согласилась баллотироваться, так как считала, что это даст ей какие-то полномочия и ей будет легче хлопотать за людей, в том числе и за Бродского, которого уже начали травить в Ленинграде. На деле же оказалось, что должность депутата районного совета никаких полномочий не дает. Просто, кроме множества дел, которыми Ф.А. занималась, на нее свалилось огромное количество жалоб избирателей на их невыносимые жилищные условия. Эти жалобы никто разбирать не хотел, и ничего, чтобы сделать жизнь людей более человеческой, не делалось. А ведь речь шла даже не об отдельных квартирах – о комнатах! И Ф.А. приходилось обивать пороги начальства, просить за этих несчастных и добиваться, чтобы их переселили. За полтора года депутатской работы она добилась переселения ста (!) семей. Она занималась этими делами почти до самого конца жизни.

Во время своего депутатства Ф.А. вела записи – монологов-жалоб избирателей, а также помпезных и одновременно безграмотных речей начальников.

Ф.А. сама отобрала самые сильные записи из своих журналистских и депутатских блокнотов и подготовила их к публикации (при этом Ф.А. изменяла фамилии людей, появляющихся на страницах этих записей). Конечно, эти «Блокноты» не могли увидеть свет при жизни Ф. А. Однако она читала их друзьям и знакомым, и сохранились даже магнитофонные записи этих чтений. В «Блокнотах» проявился главный дар Вигдоровой – абсолютный слух на людскую речь и способность художественно воспроизводить услышанное многоголосье. За последнее время накопилось множество воспоминаний – в дневниках, письмах, мемуарах – о впечатлении, которое эти записи производили. О блокнотах восторженно отзывались Лидия Чуковская, Анна Ахматова, Варлам Шаламов, Надежда Мандельштам, И. Грекова и др. А Корней Иванович

Чуковский в своем дневнике за 12 декабря 1963 года так прямо и пишет: «Была Фрида Вигдорова. Записи ее гениальны: «Блокнот журналиста» и «Блокнот депутата».» (Корней Чуковский. Дневник 1936–1969. М.: ПРОЗАиК, стр. 375).

«Блокноты журналиста» и «Блокноты депутата» были напечатаны только через 40 лет после ее смерти (в малотиражном и труднодоступном втором выпуске «Тарусских страниц» в 2003 г. и в журналах «Новый мир» и «Звезда» в 2005 г.). В эту книгу мы включили и не вошедшие в публикации записи – те, что хранятся в архиве. Мы старались не нарушать композиционную законченность «Блокнотов» и никаких записей, найденных в архиве Вигдоровой, не вставляли в подготовленные ей самой тексты. Найденные нами записи «на депутатскую тему» мы объединили в отдельную главку под заголовком «Записи, не вошедшие в блокноты депутата», а если среди архивных записей попадались записи на сюжеты из «Блокнотов журналиста», мы делали к ним соответствующие примечания.

Особое место в журналистской деятельности Фриды Вигдоровой занимает запись суда над Бродским: это первый правозащитный документ в СССР и одно из первых широко циркулирующих произведений Самиздата. Не случайно «светлой памяти Фриды Вигдоровой» посвятил свою знаменитую «Белую книгу», составленную из документов по делу Даниэля и Синявского, Александр Гинзбург. Это дело было начато через месяц после смерти Ф.А., и, защищая арестованных писателей, люди, боровшиеся с беззаконием и несправедливостью, учитывали опыт Ф.А.

На вечере памяти Фриды Вигдоровой, который проходил в «Мемориале» в июне 2015 года и был посвящен ее столетию (см. в Сети: https://www.youtube.com/watch?v=RJ88Lcpxa0c), известный правозащитник Павел Литвинов, а также педагог и литературовед Эдуард Безносов рассказывали, как в те далекие 60-е годы ее запись определила их дальнейший жизненный путь, а писатель и поэт Анатолий Найман поместил запись Ф.А. в литературный контекст, сравнив ее с античной пьесой. После самой записи мы приводим в книге тексты выступлений на этом вечере Павла Литвинова, Эдуарда Безносова и Анатолия Наймана.

Благодаря записи суда над Бродским, сделанной Фридой Вигдоровой, «дело Бродского» прогремело на весь мир. Запись эта послужила в конце концов освобождению поэта из ссылки и сыграла важную роль в его дальнейшей судьбе. Она немедленно была опубликована за границей – сначала в переводах, а потом и по-русски. В нашей же стране – лишь в декабре 1988 года в

журнале «Огонек» под названием «Судилище» (публикация А. Раскиной, предисловие Лидии Чуковской, комментарии Э. Безносова) и с тех пор никогда и нигде у нас не была напечатана в том виде, как она была написана, кроме Сети, где она помещена на нескольких сайтах. К сожалению, часто она приводится с опечатками и неточностями. В этой книге мы повторяем огоньковскую публикацию (вместе с кратким предисловием Чуковской), которую считаем образцовой.

Текст «Судилища» мы приводим после статей, «Блокнотов журналиста» и «Блокнотов депутата». Такое расположение не случайно. Дело Иосифа Бродского, оказавшееся последней битвой Фриды Вигдоровой, дело, которое она считала провалом, но которое кончилось полной ее победой (чего ей уже не довелось увидеть), было абсолютно естественным продолжением и кульминацией ее постоянной деятельности по спасению несправедливо обиженных.

Помимо журналистских и депутатских блокнотов, мы публикуем и то, что мы условно назвали «Блокноты писателя». В архиве Ф.А. хранятся эти небольшого формата тетрадочки, исписанные ее быстрым почерком. Внутри – впечатления, мысли, услышанные диалоги и реплики, курьезы, детская речь, портреты, сценки и целые монологи героев будущих книг. А еще – выписки из Толстого, Герцена, Достоевского, Ремизова, Бердяева, Ренара – часто с комментариями. И стихи, стихи, стихи… И молодых, и уже известных поэтов. В основном – неопубликованные. Всё это – строительный материал для статей и книг, отражение ее размышлений и наблюдений. Мы приводим лишь часть этих записей, но и по ним ясно, как остро Ф.А. воспринимала всё, что вокруг нее происходило.

После «Блокнотов писателя» мы помещаем последний текст, принадлежащий перу Фриды Вигдоровой, – главу из неоконченной повести «Учитель», над которой она работала до конца жизни (повесть опубликована в журнале «Звезда», № 4 за 2016 год[1]). Мы считаем возможным поместить фрагмент художественного произведения Ф.А. в книгу ее публицистики, так как глава эта, построенная на рассказе-исповеди вагонного попутчика, имеет публицистическую основу, как и многие другие «услышанные» Ф.А. монологи, диалоги, устные рассказы (ср. записанный Фридой Абрамовной рассказ М. Зощенко, помещенный ею в «Блокноты журналиста»). Про эту исповедь попутчика Фрида Абрамовна рассказывала Надежде Яковлевне Мандельштам, и та пересказала ее в своей «Второй книге» (глава «Назидательная история»)[2], так как «не хотела, чтобы эта история пропала». Но и Фрида Вигдорова не хотела, чтобы она

«пропала», и поместила ее в свою повесть, интерпретировав ее не так, как Надежда Яковлевна, а значительно жестче.

Помимо текстов Фриды Вигдоровой, в книгу включены и некоторые другие материалы. Вместо предисловия мы дали воспоминания о ней И. Грековой, а в качестве послесловия – мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам, недавно опубликованные в «Октябре». Надежда Яковлевна много внимания уделяет «Блокнотам журналиста» и «Блокнотам депутата», а также рассказывает – как очевидец и участник событий – о борьбе Ф.А. за освобождение Иосифа Бродского. Журналистский раздел завершается воспоминаниями Александры Раскиной – очерком «Вокруг статей». Ее же статья «Фрида Вигдорова и дело Бродского: мифы и реальность» завершает публикацию «Судилища» и сопутствующих материалов.

В заключение мы хотели бы от всего сердца поблагодарить:

редактора журнала «Звезда», историка Якова Гордина, чьи статьи и книги о деле Бродского являются образцовыми по верности событиям и точности изложения и кто на протяжении многих лет публикует в своем журнале как произведения самой Ф.А., так и воспоминания о ней;

мандельштамоведа Павла Нерлера, публикатора воспоминаний Н. Я. Мандельштам о Фриде Абрамовне, который подключил нас к работе с этим очерком, а также способствовал публикации неоконченной повести Ф.А. «Учитель»;

филологов, историков и архивистов Ольгу Розенблюм и Марию Майофис, чьи научные интересы включают жизнь, деятельность и литературное наследие Фриды Абрамовны, – они знают об этом подчас больше, чем мы сами, и всегда готовы поделиться этими знаниями;

сотрудницу Литературного агентства ФТМ Татьяну Соколову, без заботы которой и ее высокого профессионализма ни одна книга Ф.А. из тех, что вышли за последние 6 лет, не увидела бы свет;

нашего друга, художника Эрика Первухина, без помощи и советов которого мы не смогли бы подготовить к публикации ни одной из иллюстраций из нашего семейного архива;

всех тех наших близких – родных и друзей, филологов и не-филологов, с которыми мы постоянно советовались в ходе работы над этой книгой; и отдельно – Анну Шур, редактора издательства «Розовый жираф», чья профессиональная помощь была нам очень нужна, потому что мы хотели сделать книгу интересной не только для тех, кто помнит пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века, но также – а может быть, и в первую очередь! – для тех, кто родился и живет уже в другую эпоху;

и наконец, нельзя не упомянуть, как остро нам не хватало в работе над этой книгой Елены Цезаревны Чуковской, которая ушла от нас в 2015 г. Елена Цезаревна опекала буквально каждую книгу Ф.А. с 2011 по 2014 г. и щедро делилась с нами своими обширными познаниями, а также материалами из личных архивов К.И. и Л. К. Чуковских. Светлая ей память!

_____

Некоторые пояснения к именам членов семьи Ф.А., которые она иногда упоминает в письмах или «Блокнотах писателя»:

Шура – Александр Борисович Раскин (1914–1971), писатель-сатирик, муж Ф.А.

Галя – Галина Александровна Кулаковская, в замужестве Киселева (1937–1974), дочь Ф.А. от первого брака.

Саша – Александра Александровна Раскина (р. 1942), дочь Ф.А. и А. Б. Раскина.

Свет доброты

[3]

Это был человек необычайной, удивительной прелести. Все вспоминающие о ней говорят прежде всего о ее глазах и взгляде. Глаза были большие, блестящие, темно-карие – особенный, светоносный, полный доброты, ума и какого-то веселого понимания взгляд. Лучащиеся черным глаза…

Тепло и свет, исходившие от Фриды, ощущали все, соприкасавшиеся с нею. Товарищи по работе, писатели, журналисты, все люди, обращавшиеся к ней за помощью, угнетенные, притесненные – «имя им легион». И те, кто помогал ей самой, врачи, сестры, санитарки в больнице. И просто соседи по дому, лифтеры, уборщицы. «Какого обаяния женщину я сегодня прооперировал!» – сказал своим коллегам знаменитый хирург, оперировавший Фриду во время ее последней, смертельной болезни.

Пытаясь о ней писать, я всё время сознаю бессилие слов. Слова остаются по одну сторону, а Фрида, какая она была, – по другую.

Счастлива она была или несчастна? Как посмотреть… Если для счастья нужно, чтобы тебя любили, – Фрида была счастливейшим человеком. Ее любили все: родные, близкие, знакомые, полузнакомые. Даже те, кто никогда не видел ее в лицо, только читал ее книги. Сотни читательских писем приходили к ней постоянно.

Если же для счастья нужен покой, то Фрида Вигдорова была несчастнейшим человеком: у нее никогда не было покоя. Ей были близки злоключения, беды и страдания такого широкого круга людей, что трудно понять: как она ухитрялась всё это в себя вместить? Работа журналиста, а в последние годы и депутата районного Совета сталкивала ее со множеством людей, их судьбами, заботами. Скажем, деревенские старики, которым председатель колхоза не давал соломы на прохудившуюся крышу. Калеки и слепые в инвалидном доме. Учительница музыкальной школы, чуть не погибшая от бессердечия, ханжества, лицемерия. Подросток с тяжелой судьбой, сбившийся с пути, попавший в колонию. Всех не перечесть! И все эти судьбы Фрида Вигдорова собирала в свою душу. Приезжала с корреспондентским билетом на место происшествия. Смотрела, что к чему, кто виноват, кто прав, разбиралась, заступалась, ходатайствовала… И часто ей задавали один и тот же вопрос: «Кем вы ему (или ей) приходитесь?». Да никем она им всем не приходилась.

Человеком…

Множество людей выручала, опекала, поддерживала Фрида Вигдорова. Главным для нее была подлинность страдания, а этого не подделаешь. Всё время она за кого-то заступалась, что-то отвоевывала… Звонила по разным инстанциям, ходила лично, просила помочь… Вот где ей служило добрую службу ее обаяние: человеку с такими глазами, с такой улыбкой, как у Фриды, трудно было отказать! Как она радовалась при удаче, а при неудаче как близко и горько принимала происшедшее к сердцу!

Ее доброта отнюдь не была беззубой, неразборчивой. Встречаясь со злом, бюрократизмом, подлостью, она вступала в борьбу. Но и борясь – не ожесточалась. Вера в человека, в человечное всегда брала в ней верх над горечью и разочарованием.

А разочарования бывали, и связаны они были с ее заступнической деятельностью. Случалось, объект защиты оказывался недостойным ее. А то еще и другие сложности: ревность, взаимные обиды. По свойству характера Фрида каждому делу, которое она вела, отдавала всю себя, всю душу. Но вот проходила эта беда, на горизонте появлялась новая, и Фрида с той же самоотверженностью и увлеченностью бросалась на помощь. А тот, кто был раньше в центре внимания, теперь оказывался на периферии и не всегда помнил, что подопечных много, а она – одна. Некоторые начинали ревновать, обижаться, видя Фридину поглощенность уже другими судьбами… Неразумные люди! Несправедливая горечь таких обид была единственной тенью в мире светлой, всеобщей любви, окружавшем Фриду.

«Нет для меня чужих» – вот что было важнейшей заповедью, под знаменем которой она жила. Характерен эпизод из ее повести «Семейное счастье». Война, эвакуация, Ташкент. Старшая дочка героини повести Саши Москвиной (в ее образе немало автобиографических черт) лежит в больнице, в скарлатинозном бараке. Саша тайком, украдкой пробирается в этот барак. Прорвавшись к дочери, Саша целует ее, обнимает, ласкает, кормит и только потом замечает пристальный взгляд мальчика Шурки, лежащего в той же палате. Взгляд Шурки без слов говорит: «Вот у девочки есть мама, а у меня – нет…». Когда Аня уснула, Саша бросается к Шуркиной кровати, берет малыша, всхлипывая, целует его, обнимает… Потом, когда сестра выпроваживает непрошеную гостью из палаты, Саша бежит по лестнице, по темной улице, плачет. «Никогда, – говорит она себе, – ни за что, никогда. Чужих нет. Все мои. И как же я могла? Взяла Аню и хожу. Никогда! Ни за что!» И бессмысленное это

бормотание – как клятва».

Есть писатели, которые охотно и по любому поводу пускают в ход так называемые «высокие слова». Фрида Вигдорова не из их числа. И вдруг неожиданное, необычно высокое слово «клятва». Мне кажется, это не просто клятва медсестры Саши Москвиной. Это клятва самой писательницы Вигдоровой. Это – ее чувства, ее крик души: «Нет! Никогда! Ни за что не забуду: чужих нет. Все мои».

В согласии с этой клятвой Фрида Вигдорова писала, действовала, жила. Два имени прошлого, два символа деятельного добра всегда ассоциируются в моей памяти с ее образом: доктор Гааз и писатель Короленко. А из более близких времен – некоторые из тех, кого тогда называли «диссидентами», но еще не начали выпроваживать за границу…

Помню, с каким счастливым восторгом воспринимала она тогда только становившуюся известной поэзию Александра Галича. Помню наш разговор втроем, когда мы с Фридой наперебой внушали Галичу, что его поэзия – это серьезное, «гражданское» дело.

У Фриды было очень много друзей. Мне посчастливилось попасть в число тех, кого она считала самыми близкими. Память об этом живит меня и поддерживает в самые тяжелые минуты. В моей судьбе Фрида сыграла особую роль: она, можно сказать, насильно ввела меня в литературу. Если б не она, я так бы и осталась научным работником, пописывающим время от времени для себя. Когда я показала ей кое-что из написанного мной (это был рассказ «За проходной»), она загорелась идеей его напечатать, пошла сама в «Новый мир», отдала рукопись кому-то из редакторов, потом написала письмо самому А. Т. Твардовскому, усиленно прося его внимательно прочесть рассказ. Как уже говорилось, отказать Фриде было практически невозможно. Таким образом Фрида ввела меня (фактически «втиснула») в литературу. Вся моя жизнь была бы другой, если бы не Фрида…

Познакомились мы с ней в 1960 году, в Доме творчества писателей «Комарово» под Ленинградом. Я тогда еще не публиковалась, а в Комарове гостила у своей подруги, ленинградского критика Хмельницкой. Когда я впервые увидела Фриду, у меня сразу возникло ощущение: что за прелесть эта маленькая женщина! Короткая, черная с сединой стрижка (мальчишеский чубчик на лбу), яркие, светящиеся глаза, крошечные ноги и руки. Своей изящной и в то же время коренастенькой миниатюрностью она чем-то напоминала народную игрушку. И платьице на ней было подходящее: светло-

песочное, рябенькое (курочка-ряба), книзу очень широкое, сверху обтягивающее, унизанное в два ряда разноцветными (красными и синими) пуговками. В этих пуговках, как и во всем ее облике, было что-то ослепительно детское…

– Что за чудесное существо эта Фрида Вигдорова! – сказала, любуясь ею, какая-то из пожилых писательниц. – Вот кого седина делает не старше, а моложе!

Так я увидела Фриду в первый раз. Было это в столовой, на застекленной террасе. Вспоминаются какие-то вьющиеся растения, льнувшие к стеклу и подрагивающие в такт разговору. Собиралась гроза, близилась лиловая туча, потом крупно полил дождь. Пережидая его, мы плотной группой стояли у выхода.

Как мне хотелось с нею познакомиться! Но она была слишком окружена, слишком нарасхват. И все-таки я нашла повод к ней подойти. Когда-то, еще до войны, в Военно-Воздушной академии, где я преподавала, у меня был слушатель Вигдоров, чем-то, какой-то неуловимой «татаринкой», напоминавший Фриду. Только у него «татаринка» была сильнее. Я заговорила с Фридой.

– Простите, – обратилась я к ней, – ваша фамилия Вигдорова?

– Да, – как-то просто и радостно согласилась Фрида.

– У меня давно, еще до войны, был в Академии Жуковского ученик Вигдоров. Он вам не родственник?

– Он мой брат[4], – сказала она. – Младший брат. То есть был младший, но теперь я всем говорю, что старший. А что, он был хороший ученик?

– Замечательный! Во всем отделении не было лучше его! Нет, на всем курсе!

– Вот видите, – сказала Фрида, – каким же был мой брат, если его вспоминают через 20 лет!

– Он должен был остаться при Академии. Но тут – война. Как он сейчас? Жив-здоров?

– Жив-здоров, прошел всю войну. Но наукой не занимается, не вышло. Работает, женат, две прелестные девочки…

– Мне хотелось как-нибудь с вами поговорить, – сказала я, ужасаясь своей навязчивости.

– Отчего же? – сказала Фрида. – Давайте, не откладывая в долгий ящик, пойдем завтра гулять.

А назавтра – какое чудо! – назавтра мы с Фридой и с моей ленинградской подругой Хмельницкой пошли на Щучье озеро – под Комаровом, километрах в двух. День был прелестный, голубой, оживленный скольжением облаков, то скрывающих, то открывавших солнце. Дорога шла какая-то белая, скрипящая под ногами каменной щебенкой, она шла мимо зеленого кладбища, где теперь похоронены Анна Ахматова и много других писателей-

ленинградцев (тогда мы об этом будущем не знали). Дул ветер, по сторонам дороги шуршали сосны: когда нас обгоняла машина, поднимая клубы пыли, мы отходили в сторону, в лес; торфяные кочки, сизые кусты голубики с зеленоватыми, незрелыми ягодами, хвоя и болиголов… И вообще это был ненарядный, засоренный сучьями и газетами, северный лес. Но всё это было прекрасно, озарено и освещено присутствием Фриды, ее улыбкой, ее милым московским говорком (например, она говорила «тьвердо» с отчетливо-мягким «т»). Мы шли и говорили – открыто, просто, словно век друг друга знали. Она не скрывала своего критического отношения к окружающей действительности[5]; от нее мы впервые узнали, что это критическое отношение можно не прятать в себе, а говорить о нем открыто. И это – в первый день знакомства! С неожиданной откровенностью Фрида говорила обо всем: о тирании Сталина, о его патологической мстительности, о гибели всего выдающегося в нашей стране…

Вот мы уже и дошли до озерка – и стала видна его широкая, просторная, голубая вдали и торфяная вблизи гладь. Всё это я вспоминаю как несравненный по совершенству фон первого разговора с Фридой. В ее присутствии всё становилось одушевленным, осмысленным и прекрасным. Недаром ее любимым присловьем было: «Это прекрасно!»

Мы пошли в обход озера, и где-то на той стороне Фрида предложила нам: «Хотите, я вам почитаю?» Конечно, хотим! Мы сели на мох, подостлав какие-то кофточки и пыльники. Фрида вынула из сумки свой журналистский блокнот, стала читать… То, что читала Фрида, было не просто талантливо, – это было верно. Верно до одури, до сердцебиения. Это было торжество правды – неприукрашенной, любовно высмотренной, пойманной на перо. И читала Фрида без пафоса, просто, задушевно, с той точностью интонации, которая создает подлинный эффект присутствия. Мы слушали ее, раскрыв рот. Какая дерзкая, нахальная смесь смешного и трагического! То и дело мы, слушавшие, смеялись неудержимо, и Фрида, закидывая голову, смеялась вместе с нами. Она искренне была убеждена, что только записала услышанное, ничего не «создала», не «выдумала»… В этом-то и состоял ее настоящий дар: суметь услышать, вычленить, отобрать, воспроизвести самое характерное, необходимое, существенное, то, что в жизни засорено, замусорено… Как мало людей этим даром владеют!

С этой прогулки началась моя дружба с Фридой, продолжавшаяся прискорбно мало лет: с июля 1960 года до ее смерти в августе 1965 года. Эти пять лет были лучшими в моей жизни. Какие бы заботы ни грызли меня, а вспомнишь: «Фрида!» –

и сразу становится легче. Это как у Толстого в «Казаках»: «а горы!..»

Вокруг Фриды всё лучилось уютом: и книги, и вазы, и картонный абажур, и старенький японский халатик, и таллиннские пестрые чулки-тапочки на маленьких косо срезанных ступнях, и кофе, который она варила на веселом голубом газу в сосуде с высокой ручкой… Вообще Фрида умела и любила радоваться. Ее подвижническая жизнь, полная забот и хлопот о людях обиженных, попавших в беду, не была ни мрачной, ни жертвенной. Веселой любовью она любила мир: поле, речку, ягоды, зимний сад со сверкающей на солнце лыжней. Любила смеяться, праздновать, петь, танцевать, выпускать комические газеты и журналы по случаю семейных торжеств. А больше всего счастливой, серьезной, внимательной любовью она любила малых детей. Ее материнские дневники, где она шаг за шагом описывает раннее детство и подрастание двух своих дочерей, – лучшее из всего, что мне доводилось читать о детстве[6].

Часто приходится слышать: «смерть настигла писателя в самом расцвете таланта». Фриду Вигдорову смерть настигла не просто в расцвете, а на крутом подъеме таланта. За последние годы стало отчетливо видно, как от вещи к вещи росло, крепло и мужало ее мастерство.

Совсем молодой (чуть старше тридцати лет) она вошла в художественную литературу школьной повестью «Мой класс», написанной по личным впечатлениям от лица юной учительницы, мучительно и радостно ищущей свой путь. Повесть имела большой успех, была переведена на множество языков, сразу ввела Вигдорову в категорию заметных писателей. В том же ключе, но нотой серьезнее, на более высоком художественном уровне, написаны ею три повести о воспитании детдомовских ребят: «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка». Это – своего рода продолжение знаменитой «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко; недаром в качестве воспитателей здесь выступают его ученики и последователи: Семен Афанасьевич Карабанов и его жена Галина Константиновна (истинная их фамилия – Калабалины). В этой трилогии, неоднократно переиздававшейся, Ф. Вигдорова уже проявила себя как мастер занимательного, горячего и серьезного повествования, далеко не чуждого юмору, смеху. Повести читаются с увлечением, как своего рода «педагогический детектив». В них немало трудного, сложного, порой трагического, но светлая нота преобладает…

Шаг вперед сделала Вигдорова и в следующем своем произведении – сюите из двух повестей: «Семейное счастье»,

«Любимая улица».

Многие знали Ф. Вигдорову, в основном, как журналистку. Ее статьи в «Известиях», «Комсомольской правде», «Литературной газете» и других изданиях всегда вызывали неравнодушное восприятие читателей (радость у одних, гнев у других). Каждая была прицельным ударом по конкретной кривде, за каждой стоял живой человек, в судьбе которого Фрида принимала самое активное, самое деятельное участие. Та же доброжелательность, внимание к судьбам людей, их поддержка характерны и для ее деятельности как депутата. К ней приходили со своими запросами, потребностями. Один только штрих: даже в те трудные годы множество семей благодаря ее вмешательству и участию были переселены из подвалов…

Сколько было за это время – начало 60-х – сделано Фридой по-настоящему гражданственных – в высоком смысле слова – дел! Одни лишь хлопоты по прописке в Москве Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта, стоили ей, пожалуй, нескольких лет жизни. Это дело, к счастью, закончилось благополучно: Н. Я. Мандельштам прописали… Но скольких усилий потребовало это от Фриды! Она ходила по множеству инстанций, к Эренбургу и другим заметным писателям, всё больше и больше людей втягивала в эту свою деятельность. Прописали!

Множество общественных дел Фриды кончалось благополучно. И только в одном случае – суда над «тунеядцем» поэтом Иосифом Бродским[7] – никакие ее ходатайства не привели к успеху – упекли-таки парня в незаконную ссылку![8] В этом деле Фрида вела себя просто героически – делала на процессе записи, несмотря на запреты со стороны судьи, и не отдавала дружинникам своих записок («Попробуйте!»), а после процесса, приведя в порядок заметки (не случайно называемые фактической «стенограммой» процесса – так там всё было точно и верно!), широко распространила их. Ее приветствовали, поздравляли, а она упорно повторяла одно: «Мне нет до этого дела, лишь бы мальчик был цел!»

Мне пришлось провести одну ночь в больнице около Фридиной постели. Окна выходили на огромный заснеженный плац, по нему гулял ветер, задувая в окно. Казалось мне тогда, что такой же ветер гуляет по всей нашей стране, истребляя всё, что в ней замечательного… Я-то знала тогда, что Фрида обречена, она – думаю – не знала. Не знала до конца… Подзывая меня к себе, чтобы я дала ей воды, она всякий раз просила у меня прощения: «Извините, что вас зову…». А я бы делала для нее всё что угодно…

Как оценивала себя Ф. Вигдорова в литературном плане?

Очень скромно, можно сказать, смиренно. Она часто говорила: «Я не писатель, я журналист». Нет, с этим никак нельзя согласиться. Журналист – да, но не только. И писатель тоже! Впрочем, это единство – журналиста и писателя – свойственно не ей одной.

Сейчас это особенно видно: Н. Шмелев, В. Селюнин, Г. Попов и многие другие проявили себя как писатели прежде всего через журналистику. Зачастую именно черты этой другой профессии сообщают произведениям таких беллетристов неповторимый блеск живых подробностей.

Документальная точность, оперативная свежесть, публицистическая горячность – от журналистики. Строгий отбор деталей, композиционная стройность, обобщение образов, ритмика – от художественной прозы. Наивысшего выражения этот новый стиль Ф. Вигдоровой нашел в самых последних ее произведениях, из которых многие еще ждут публикации. Таковы сборники записей «Из блокнота журналиста» и «Из депутатского блокнота».[9]

Особенно примечательна оставшаяся незаконченной повесть «Учитель», над которой Фрида работала уже тяжело больной почти до последнего дня жизни. Мне посчастливилось слышать главы из этой повести в чтении автора и читать куски самой рукописи – это было лучшее из ее творчества по лаконизму, человечности, мастерству…

Из речей персонажей образуются портреты – живые, узнаваемые портреты тех, кого мы видим изо дня в день, но не слышим: чтобы услышать, надо иметь ухо и приметчивость Фриды Вигдоровой. Кто только не говорил на страницах ее очерков: и колхозники, и учителя, и управдомы, и прокуроры, и судьи… Никакие рассуждения о формализме в преподавании, об оказенивании человеческой речи не бьют в цель так точно, как, скажем, разговор учительницы с провинившимся мальчиком в статье «Пресная вода резонерства» (статья вошла в сборник 1969 года «Кем вы ему приходитесь?»):

– «Зачем ты воруешь, Николай?

– Я – Боря.

– Это неважно. Тебя Родина воспитывает, чтобы ты был человеком, чтоб ты строил новое общество, а ты воруешь, на лестницах бьешь лампочки и матом ругаешься при девочках. Обдумай свои поступки и к концу учебного года, Николай…

– Я – Боря.

– Это не имеет значения. Пусть Боря, так вот, к концу четверти ты исправишь свои отметки?

– Да.

– Станешь искренним?

– Да.

– Мужественным?

– Да.

– Так вот, Боря, ты воруешь и пишешь на стенах плохие слова. Между тем в библиотеках у нас свободный доступ к полкам. Подумай об этом, Коля!

– Я – Боря.

– Пусть Боря. В трамваях и троллейбусах у нас кондукторов нет, а ты, Николай, что делаешь?»

Поистине устрашающий разговор!

«Все высокие слова на месте, – заканчивает сценку Ф. Вигдорова. – Словам ее научили. Действию, мысли – нет. Говоря с учеником, она думает о чем-то своем. Мальчика зовут Боря Николаев, и поэтому она упорно называет его Николаем. А он не слушает, он занят одним: «Я – Боря».

А вот и другая сценка, еще короче: разговор ведется на комиссии по делам несовершеннолетних.

«А почему у тебя зуб золотой? – спрашивает один из членов комиссии провинившегося парнишку.

– Мать вставила.

– Гражданка Соскина, а почему вы вставили своему сыну золотой зуб?

– Из прынципа.

– Это как же?

– Муж утащил мое колечко, а я тогда на его кольцо понаставляла зубов себе и сыну. Прынципиально».

Удивительно схватывает Ф. Вигдорова бюрократический жаргон нашего времени. В заметках «Из депутатского блокнота» – части ее неопубликованного литературного наследия – есть, например, три речи председателя домкома – каждая из них – перл ложно-торжественного канцелярского пустозвонства.

«Остановимся на первом пункте, о количестве квартир, включившихся в соревнования за коммунистический быт.

Раньше у нас было зарегистрировано как хорошие – шесть квартир, а теперь одиннадцать. Они выполняют пункты, чтобы сберечь соцфонд и соблюдать взаимоотношения.

Есть четыре семьи в хороших взаимных отношениях, люди стали более общаться, и мы должны афишировать, когда работает клуб или кинопередвижка, а то афиш нет, и люди не знают, когда работает клуб, в котором они могут общаться.

Нам некоторые говорят разные нарекания, и, конечно, извините за грубость, мы, конечно, много набракоделили. Но есть такие, что зря злорадствуют, и если по-ихнему не вышло, то делают улыбочку. Вот Пахомова из дома шесть по Неждановой,

она вечно бегает в единственном числе и смотрит, что не так».

– Ну и что? – скажет невдумчивый читатель. – Поставили магнитофон, записали речь, только-то и всего!

Глубочайшее заблуждение! Литература, как и всякое искусство, есть отбор. Художник отбирает из окружающей его действительности черты самые характерные, самые выразительные и из них делает словесный портрет. Приведенная речь – выразительнейший портрет деятеля недавних времен, который, может быть, и хочет хорошего, но бьется в тенетах примелькавшихся штампов.

Записи, которыми заполнены оба блокнота – «журналистский» и «депутатский», – плод длящейся пристальной работы писателя, его обобщений и наблюдений. Стенограмма этого не передает (такое знает каждый человек, читавший и правивший свои стенограммы). Запись Вигдоровой так же отличается от стенограммы, как хороший портрет от плохой фотографии.

Да, это был особый дар – не только услышать, но и расслышать, передать главное. Когда-то Фрида говорила мне:

– Есть два типа писателей: «писатель-глаз» и «писатель-ухо». Вот вы, например, писатель-глаз, а я – писатель-ухо. Чуть дело доходит до описания внешности героя, я только и могу, что «лоб-глаза», «глаза-лоб».

Да, не было в ее прозе развернутых пейзажей, тщательно выписанных портретов. Но были четкие, кованные подробности зримого мира.

Вот, например, речной пейзаж в повести «Семейное счастье»:

«Река широкая, утро тихое, а над головой небо: летнее, синее.

Надо плыть медленно, чтобы успеть заметить всё вокруг. На том берегу два мальчика. Один стоит, другой сидит, опустив ноги в воду. Один в трусиках и красной майке – и отражение в воде тоже красное. А дальше гуси – раз, два, три, четыре гуся. Гусь вытянул шею, попил и задумался: хорошо».

Какое простое, точное и емкое описание! И как много оно говорит именно зрению. Это «раз, два, три, четыре» – словно глаз, перебегающий от гуся к гусю…

А вот примеры из последней, незаконченной повести «Учитель»:

«Длинный дом с клубами синего дыма за ее спиной походил на корабль».

Или:

«Прямо в окно, запутавшись в сетке черных ветвей, смотрела большая граненая звезда».

Или (раннее утро):

«Потухший фонарь стоял, свесив голову. А солнце уже показалось из-за леса, самый край. И то, что вчера тонуло в темноте, сейчас проступило, – ворота, низкий, полуразвалившийся штакетник. И стало видно старую корявую ветлу за низким забором. Она протянула толстую, суковатую руку и оперлась ею о землю».

Нет, Фрида Вигдорова отнюдь не была только «ухом». Была она и «глазом» – зорким, добрым, «ухватистым». Умела несколькими точными словами воссоздать зримое. И всегда была для меня в этом смысле образцом, примером жесткого, на грани аскетизма, самоограничения.

Вигдорова ушла из жизни, не дописав лучших своих вещей, не увидев их опубликованными. Но и то, что она сделала в писательстве, в журналистике, просто в жизни – прекрасно.

Счастливы все, знавшие ее. И за эту встречу, эту дружбу я благодарю свою судьбу.

И. Грекова

Статьи, очерки

Кем вы ему приходитесь?

«Комсомольская правда», 1959

Дорогая редакция, уважаемые товарищи, пожалуйста, помогите. Я прошу: не отвечайте по почте, позвоните, вызовите меня, сделайте это скорее. Мой ученик попал под суд и приговорен к пяти годам заключения. Я прошу вас: выслушайте меня. Я приду и всё расскажу вам. Скорее!

И. Кленицкая, учительница 527-й школы Москвы».

Было ли совершено преступление? Да, было. Виктор Петров[10], семнадцати лет, ученик девятого класса московской школы, украл из сарая двух кур, кролика и пару валенок. Незадолго перед этим он украл у жителя поселка Солнцево велосипед. Вскоре после этого Виктор гулял вместе со своим приятелем Зикуновым по улице. Навстречу им шла женщина.

Внезапно Зикунов кинулся к ней и вырвал у нее из рук сумку. Виктор не только не вступился за женщину, но бросился бежать следом за Зикуновым. Виктора Петрова предали суду. И приговорили к лишению свободы сроком на пять лет.

Итак, преступление было совершено. Виктор Петров действительно виновен.

– Да, виновен. И все-таки поверьте мне: он хороший человек. Ему надо помочь, его надо выручить. Колония его погубит.

– Кем вы ему приходитесь?

Этот вопрос Инна Яковлевна Кленицкая слышит не в первый раз: кем вы ему приходитесь? Вы столько души кладете, защищая его. Вы с таким жаром говорите о нем. Так сильна ваша надежда, ваше желание помочь. Кем же вы ему приходитесь?

Родство, существующее между Инной Яковлевной и Виктором, не всякий признает родством.

И все-таки оно есть. Оно велико и ответственно. Может быть, оно самое прочное и высокое из всех, что есть на свете. Оно самое бескорыстное.

Инна Яковлевна – Витина учительница. В течение трех месяцев она заменяла заболевшего преподавателя литературы в том классе, где учился Витя. Но трех месяцев оказалось достаточно, чтобы зацепиться мыслью за подростка, который смотрел исподлобья, отвечал неохотно, а подчас и дерзко. Инна Яковлевна помнит урок, на котором она говорила о Пьере Безухове. На перемене Виктор подошел к ней и сказал:

– Вот вы говорите, что надо жить так, как жил Пьер, – для людей, для большой цели. А я вам скажу: мне семнадцать лет, а я за всю свою жизнь не видел такого человека. Покажите мне хоть одного, который вступился бы за другого, для которого хорошее дело – главное в жизни. Таких нет. Все думают только о себе.

Учительница не услышала в этих словах вызова. Она услышала горечь. И боль. Она не стала произносить речей. Она попыталась понять, дознаться, чем вызвана эта горечь. Она хотела знать, какие у Виктора друзья. Что он любит, что ему дорого? Она познакомила его с людьми, которых любила сама. Познакомила своего ученика со своими друзьями – книгами. Она увидела, что друзей-книг у Виктора, в сущности, не было. То, что преподавали в школе, он учил, выучивал, отвечал. За это выводили отметку, но книга не становилась помощником и другом. Она узнала: два года назад умер Витин отец. У него вырвали зуб, началось заражение крови, и он умер. Из-за недосмотра. Из-за равнодушия. Из-за того, что врачи не пришли вовремя на помощь.

Так бывает: большое горе, которое пришло в твой дом, заслоняет весь мир. Оно мешает видеть и слышать. Всё

становится темным. Если равнодушие возможно в таком святом деле, как врачебное, где же правда? Где же хорошие люди? Где они – те, которые могут бескорыстно помочь? Виктор был уверен: таких нет. Он очень любил отца и никому не хотел простить его смерти. Он во всем изверился.

Но Инне Яковлевне он поверил. Он всё чаще оставался после уроков, чтобы поговорить с ней о прочитанной книге, чтобы узнать, нравятся ли ей стихи Мартынова и верно ли поступил писатель, заменив сложный и, может быть, трагический конец своей книги благополучным концом в кинокартине: он читал «Не ко двору» Тендрякова и видел фильм по этой повести. Однажды он сказал:

– Мне всё равно, а только хороших людей мало на свете.

Она ответила:

– А прежде вы говорили, что их совсем нет. И если бы вам было всё равно, вы не пришли бы ко мне и не стали бы говорить об этом.

– Да, правда, – согласился он.

…Настало лето. Виктор уехал в поселок Солнцево, в домик, который поставил еще отец, – он был плотником. Старшая сестра уехала в экспедицию. Виктор жил в домике вдвоем с постояльцем Степаном Васильевичем.

Этим летом всё и случилось. Кража. Суд. Колония.

Я хочу верить учителю, друзьям, семье. Я верю им. Но я не могу написать о «деле Виктора Петрова», если не пойму, что с ним случилось. Человек сложен. Сложен и юный человек. И ребенок. Каждый может однажды совершить такой поступок, какого от него никто не ждет. Но что все-таки заставило сына честной и доброй семьи украсть?

…Стучат колеса поезда. Ночь. Далекие огни в темноте. Сутки, другие. Поезд. Катер. Самолет. Грузовик. Дрезина. И вот передо мной бывший ученик московской школы Виктор Петров. Темная спецовка, голова обрита наголо. Глаза опущены.

– За вас вступаются ваша учительница, ваши товарищи. Они говорят, что вы хороший человек. Но всё, что они говорят, разбивается о то, что было. Помогите же понять, что это было?

– Я жил один. Без матери, без сестры… Без присмотра… – медленно, с усилием цедя слово за словом, отвечает Виктор.

– Разве семнадцатилетнему человеку нужен присмотр?

Он поднимает голову. И медленно поднимает глаза:

– Это вы верно говорите… И мне оправдания нет. Я просто считал, что все на свете подлецы. И наш постоялец смотрел на жизнь так же… Он…

Я понимаю: то, что я хочу сказать, – жестоко. И все-таки

говорю:

– Можно думать о мире всё, что угодно. Но из этого не следует, что надо сбивать замки с чужих сараев.

– Вы правы. Но я же сказал: я и не хочу оправдываться. Я хочу объяснить. Хочу объяснить вам, что мне стало всё равно. Мне жить не хотелось. Он говорил: все подлецы и сволочи. Даже про Инну Яковлевну он сказал: «Выслужиться она хочет перед начальством. А до тебя ей дела нет. Никому ни до кого нет дела, понимаешь?» Вот так он говорил. И Зикунов считал так же… Он был уже осужден условно за кражу, Зикунов. Он много пил и всегда приглашал меня. И я ходил с ним. Были у меня друзья – Зина Лебедева и Юра Громов, но я с ними в то время поссорился. И я стал выпивать с Зикуновым и с постояльцем нашим. Я знаю: я слабый, безвольный. Но, кроме того, мне всё стало безразлично. И когда меня позвали на кражу, я пошел…

Этот разговор – один на один – был долгий. Нам никто не мешал, мы могли говорить обо всем, и мы говорили.

Удивительно, причудливо, иной раз непостижимо учит человека жизнь. Когда круг замкнулся, когда жизнь повернулась к Виктору самой темной своей стороной – скамьей подсудимых, колонией, – перед ним забрезжил свет:

– Вот поверите ли, мне всё равно было: засудят, оправдают, дадут условный срок. Безразлично. И вдруг на суде смотрю – Инна Яковлевна! Откуда? Как она узнала? Ведь она давно уже нас не учила. Мы столько времени не виделись. Я никого не просил ее известить. А вот пришла. Она и в суде-то никогда, наверное, не была, долго не понимала, куда встать, уж в зале даже начали смеяться. Ну, адвокат ей помог, поставил лицом к судье и заседателям. А я смотрю на нее и думаю: пришла. Никто не звал, а она пришла. Я хотел только одного: не расплакаться бы. И, хотите верьте, хотите нет, я ушел с суда – ну, счастливый, может, и не счастливый, но с радостью в душе: я не звал, а она пришла. Просто пришла помочь. И вы скажите ей, чтоб не волновалась, – я не пропаду. Это я твердо решил. Ни на кого не хочу сваливать свою вину, ни на постояльца нашего, ни на Зикунова. В семнадцать лет надо и свою голову на плечах иметь. Я знаю, из колонии часто пишут: я, мол, всё понял и обещаю исправиться. Но я это твердо решил.

«Твердо решил…» Эти слова Виктор повторяет часто. Можно ли верить в твердость этого нового решения?

Много испытаний есть в человеческой жизни. Испытание бедой, может, и не самое страшное, но и оно велико. Оно обрушилось на слабые плечи, но человек сжал зубы и сказал себе: «Не пропаду».

Передо мной не преступник. Передо мной в темной спецовке, положив голову на руки, сидит оступившийся подросток, который давно и до конца понял свою вину и горько о ней сожалеет.

Здесь есть школа. Виктор работает и учится в девятом классе. Хорошо работает и хорошо учится. И как бы ни повернулась его судьба, сколько бы ему ни предстояло оставаться здесь, он кончит десятый класс и получит аттестат зрелости. Так он решил. Твердо.

Мы прощаемся. Я выхожу из колонии и оборачиваюсь напоследок. Только выйдя за этот забор, понимаешь слова: «воля», «на воле». Вон те сосны – это воля. Прямая, как стрела, дорога через лес – воля. Высокое небо, цветущая верба, молодая березовая роща – воля, воля, воля…

«Я не видел человека, который вступился бы за другого», – говорил Виктор своей учительнице. Он в своей жизни еще никому не успел помочь, он сам еще никогда ни за кого не вступился. Но когда он попал в беду, за него встали стеной.

В редакцию пришли Зина Лебедева и Юра Громов:

– Его нельзя, нельзя засудить, он там пропадет. Он честный, но слабый, его надо выручать.

В суд пришла Инна Яковлевна Кленицкая.

– Я ручаюсь за него, он будет хорошим человеком, я обещаю, я отвечаю за это, – говорила она.

Директор школы, где работает Инна Яковлевна, согласился взять Виктора на поруки, сказал, что зачислит его в десятый класс. Он верил, что, пережив случившееся и попав в хороший коллектив, Виктор сумеет загладить свое прошлое. Он не знал Виктора, но он знал учительницу Кленицкую и верил ей.

Кем приходятся Виктору Юра и Зина?

Товарищами.

Кем приходится Виктору Инна Яковлевна?

Учительницей.

Кем ему приходится директор школы?

Никем. Он чужой человек. Он просто человек. И он тоже учитель.

Суд вершит великое и важное дело правосудия. Он ограждает общество от преступников. Виктор украл и должен был быть наказан. Тут не может быть спора, не должно быть недомолвок. И все-таки суд должен был прислушаться к слову учителя. Учитель не хотел сваливать со своих плеч ответственность. Он готов был нести ее, готов был отвечать. Директор школы и учительница хотели взять Виктора на поруки. Это не пустые слова, и им надо было довериться. Ведь недаром с такой горячностью, с такой убежденностью встала Инна Яковлевна на защиту своего ученика:

она угадала в нем живую душу и хотела сберечь и взрастить всё доброе, что в нем увидела. Она понимала, что колония может сломать то, что только-только начало жить в этой душе. И судьи должны были прислушаться к голосу учителя, потому что всякий человек, отвоеванный у колонии, – это победа судей.

Ну, а мы кем приходимся Виктору Петрову, мы, которые живем рядом, пишем, учим, воспитываем? Мы тоже в ответе за него. Кончается ли наша ответственность за человека, когда за ним захлопнулась тюремная дверь? Нет, не кончается, она вырастает безмерно. И всем нам – каждому! – надо о многом задуматься.

Когда я спросила Виктора, как же за один месяц рухнуло всё, чему его учили школа, книги, родители, он ответил:

– Не за месяц… За семнадцать дней.

За семнадцать дней подростка, который не украл ни полушки, уговорили сбить замок с чужого сарая. За семнадцать дней подростка, который никогда не пил, споили. За семнадцать дней юношу, который никогда не просил у матери денег («не покупай мне новую рубаху, прохожу в этой»), этого юношу соблазнили чужими деньгами – он украл велосипед и продал его.

Почему Зикунов, уже судившийся человек, которому ничто не дорого, почему он оказался сильнее школы, учителя? Почему сильнее оказалась водка, соблазн легкой жизни, почему семнадцать дней, брошенные на чашу весов, перетянули семнадцать лет?

Может быть, если б сестра Валя не уехала в экспедицию, ничего не случилось бы. Может, окажись рядом мать, – ничего не случилось бы. Может, не поссорься Витя со своими друзьями – Зиной и Юрой, он не подружился бы с Зикуновым, не стал бы слушать речей постояльца Степана Васильевича, не стал бы пить с ним водку. Если бы, если бы…

Но чего же стоит чистота, которую надо так оберегать? Чего стоит твердость, которую надо так ограждать? Разве дело в том, чтобы оберегать и ограждать? Надо, чтобы яд, который источают Зикунов и Степан Васильевич, не мог подействовать на человека. Оградить хоть и трудно, но можно. Но что толку – ограждать? Надо научить сопротивляться, надо создать такую «душевную химию», чтоб само собой возникло противоядие.

Можно твердить: не водись с этим мальчиком, не водись с этой девочкой, они научат тебя плохому. Но ведь когда-нибудь человек уйдет из дому. Он будет открыт всем непогодам, на него могут обрушиться горести и беды, которых никто не в силах ни угадать, ни предвидеть. И кто же его тогда обережет, если он еще дома, еще в школе не научится понимать, что хорошо, что плохо?

Если здесь не родилась в нем та твердость, которая окажется сильнее Зикунова?

Литература не просто предмет в ряду других предметов, литература строит душу. Это хорошо, если ученик может толково охарактеризовать образ Пьера Безухова или Андрея Болконского. Но гораздо, неизмеримо важнее, чтобы персонажи, художественные образы стали друзьями или недругами, чтобы мысль писателя будила душу и совесть подростка. Тогда он будет сильнее, тогда он будет тверже. Семнадцать лет Виктор мало и плохо думал, вот почему семнадцать дней оказались сильнее семнадцати лет.

Нет поступков, не оставляющих следа. Нет и людей, которые прошли бы через нашу жизнь бесследно. Когда Виктор украл велосипед, он продал его Леониду Андреевичу Николаеву, который много лет исполнял обязанности народного судьи в солнцевском суде. Николаев – сосед Петровых. Он не мог думать, что вдова, получающая скромную пенсию, подарила сыну новенький дорогой велосипед. Он понимал, что покупает краденую вещь. Почему он не сказал мальчишке: «Ты украл. Верни велосипед. Боишься? Пойдем вместе, я помогу тебе признаться».

Но он не сказал этого. Он предпочел купить новый велосипед за треть цены.

Зикунов, вор, уголовник, тащил Виктора с собой, спаивал, хотел сделать из него подручного. Он олицетворял собой активное зло, и его вина ясна всем. Но разве не так же виноват и Николаев? В его силах было остановить Виктора, предотвратить будущее преступление. А он вместо того, чтобы вытащить мальчишку из ямы, толкнул в нее.

Были на пути Виктора люди, которые помогали ему, боролись за него. Были и другие, они толкали его вниз. Были и такие, что смотрели равнодушно, и они тоже виновны. Прислушаемся же к тем, кто не равнодушен. Прислушаемся к голосу учителя, который говорит:

– Я верю в него. Он будет хорошим человеком и работником. Ему колония не нужна, он выпрямится на воле.

…Извлекает искры

«Известия», 1964, 8/1, № 7, стр. 4

Ректор Псковского педагогического института Иван Васильевич Ковалев сказал мне однажды, что с детства не забыл,

как мужики из их села ходили в соседнее – «за ро́зумом». Видно, там жили умные люди, оттого-то к ним и ходили посоветоваться, поспорить, одним словом – за розумом. Я думаю, что в педагогический институт молодой человек приходит за тем же: за розумом. Он приходит в надежде на то, что отпущенный ему природой ум развернется, что он научится не только накапливать знания, но и широко осмысливать их. Кроме того, и это не менее важно, институт должен разбудить в студенте учителя.

Я думаю, что в каждом человеке живет учитель. Только люди не всегда это осознают. Но оно так. Ты не преподаешь в школе, но ты воспитываешь своих детей. У тебя нет своих ребятишек, но ты работаешь на заводе, в учреждении, и если в тебе жив учитель, тебе легче будет среди людей. Только условимся: учитель – это не тот, кто постоянно читает нотации и школит окружающих. Учитель – это человек, который умеет слушать другого человека и понимать каждый характер.

Я начала свою учительскую работу в Магнитогорске. Я любила свою профессию, более того – я мечтала о ней со школьных лет. Мне дали хороший, слаженный третий класс. И в первые же дни мне показалось, что всё пошло прахом. Я не могла бы сказать сейчас, какие ошибки я совершила; каждый мой шаг был ошибкой. Но почему, почему, ведь я так хорошо усвоила курс естествознания, истории, арифметики и прочих наук, которые надо было преподавать в начальной школе? Я училась в очень хорошем техникуме и до сих пор благодарна своим преподавателям. И все-таки, придя в школу, я вдруг поняла, что самая трудная задача вовсе не та, которой я боялась, и отношения ни к истории, ни к арифметике она не имеет. Одной из самых трудных задач оказался Петр Логвиненко.

В свои одиннадцать лет он считал, будто учиться ему решительно незачем. Переубедить его я не могла. Родители у него разошлись, и один месяц он жил у папы в Магнитке, другой – у мамы в Челябинске, третий – у бабушки в Златоусте… Притом и мать, и отец, и бабушка имели свою концепцию этого характера, так что задача становилась совсем неразрешимой. «Только лаской, он так раним», – писала мне Петина бабушка. «Наказывать», – был уверен отец. А мама говорила: «Не обращайте внимания, всё обойдется». Поиски ответа в книгах – даже самых лучших – ни к чему не вели. Наверное, страх перед новизной задачи мешал видеть…

До сих пор считаю себя счастливым человеком оттого, что в школе, где я работала, были люди с большим учительским и душевным опытом. Они приходили на мои уроки. Приглашали меня к себе: смотри, учись. Я смотрела. Спрашивала. Не всегда

соглашалась с тем, что видела, но и в несогласии было нечто такое, что помогало мне: я училась думать над задачей, которая называлась – дети.

Я полагала, что, еще учась в техникуме, любила учительскую работу. Нет, только придя к детям и хлебнув горечи, я поняла, что такое учительский труд. И тогда откликнулись и пришли на помощь знания, которые дал мне техникум. А беда, как я понимаю теперь, была в том, что я готовилась к теплу и безветрию. И не захватила в дорогу снаряжения на случай грозы и мороза. И конечно же я не умела думать. А умение думать в трудном учительском походе – главное снаряжение.

В педагогических вузах искренне хотят воспитать – и воспитывают – в студенте любовь к учительской профессии. Но любовь эта – умозрительная. Школой любуются, как парусником в далеком море: какая лазурь! А парус – как крыло невиданной птицы! А белоснежные облака… И всё это далеко, далеко… Поясню свою мысль примером.

К студентам Ленинградского педагогического института имени Герцена пришла учительница Наталья Григорьевна Долинина[11]. Ее пригласил клуб интересных встреч. Студенты слушали Долинину, соглашались, не соглашались, спорили, задавали вопросы, роптали, удивлялись. Всё было как в разговоре, который всех задел и никого в стороне не оставил. Преподаватели кафедры педагогики в этом разговоре участия не приняли. Но ушли они с этого диспута в большой тревоге. Тревога была настолько глубокой, что заставила их обратиться в газету. Суть же заботы заключалась в следующем: пристало ли со студентами педагогического вуза говорить о несовершенстве педагогической науки да еще заявлять: «Я – яростный противник педагогики в том виде, в каком она сейчас находится». И еще: на вопрос, как она воспитывает коллектив, Долинина ответила: «Пока я не привязалась к каждому и каждый ко мне, коллектива не будет. Чем же их объединить, если не общим интересом к себе – для начала?» Нет ли в таком ответе себялюбия, тщеславия и поисков дешевой популярности? И наконец, Долинина согласилась со студентами, что материальное положение учительства трудное и что, по ее мнению, надо работать, не рассчитывая на то, что оно скоро изменится.

Я разговаривала с преподавателями, хотела понять: что привело их в такое смятение? И что, по их мнению, должна была ответить Долинина, к примеру, на вопрос о материальном положении учительства?

– Она должна была увести студентов от этого вопроса, – сказали мне.

В одном из своих писем Боткину Белинский говорит так: «Многих людей я от души люблю в Питере… Но… я начинаю замечать, что общество Герцена доставляет мне больше наслаждения, чем их: с теми я или говорю о вздоре, или тщетно стараюсь завести общий интересный разговор, или проповедую, не встречая противоречия, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения, я с ним спорю и, даже когда он явно врет, вижу все-таки самостоятельный образ мыслей».

Проблема «собеседника», видимо, сильно занимала Белинского, потому что вскоре, жалуясь тому же Боткину на пресные, без спора и увлечения разговоры с друзьями, он особо выделяет Тургенева, «самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры». Как не позавидовать человеку, у которого были такие собеседники! И видно, не только студенты и дети ходят в поисках «розума»… Но если даже для такого ума, как ум Белинского, необходима была сшибка с чужим мнением, с чужой мыслью, то как же это необходимо для ума, который растет и развивается!

Клуб интересных встреч – превосходная вещь. Но когда приглашаешь к студентам интересного человека, надо помнить: интересный человек – своеобычен и думает не по шаблону. А раз он таков, он непременно взбудоражит своих слушателей, заставит их спорить, думать, искать. Если учителя учителей к этому не готовы, то вместо клуба интересных встреч следует открыть клуб бесспорных вещаний.

К сожалению, встречи студентов с людьми их будущей профессии нередко проходят по такой парадной схеме: «Перед вами сейчас выступит заслуженный учитель (сталевар, врач, агроном…)». Затем заслуженный учитель выходит на трибуну и говорит о счастье быть наставником юношества. А потом молоденькая учительница расскажет, как она блистательно справилась со всеми встретившимися ей трудностями. Разумеется, кто-нибудь из выступающих честно предупредит студентов, что работа учителя трудна… Ну как тут не вспомнить парусник в далеком море? Какая лазурь! Какая синева!

И вот перед студентами появился человек, который только что сошел с корабля. Его там швыряли штормы, обдувало всеми ветрами. Он знал и солнечные дни, но знал и суровую непогоду. И о ней он тоже рассказал. Он уважал своих слушателей. Он был уверен, что воспитательский шаблон, в котором самое главное – перекачка сведений и проповедь, не встречающая осмысления, продиктован глубоким неуважением к студенту, к его способности видеть и понимать.

В самом деле, неужели студенты только от Долининой узнали о том, что заработная плата учителей невелика? Думается, они знали об этом и прежде. Я, например, не согласна с Долининой и думаю, что вопрос о повышении заработной платы учителям решится скоро, не может не решиться. Но по существу Долинина сказала вот что – не ждите легкого. Это очень трудно – быть учителем.

Неужели студенты, читая учебники педагогики, не догадывались, что наука эта далеко не всегда отвечает высоким требованиям школы? Уверена: они понимали это и раньше. Откуда такое странное заблуждение, будто молодежь узнает о трудном в окружающей жизни только от неосторожной учительницы в клубе интересных встреч? Студенты, надо полагать, сами думают и размышляют.

Однажды Самуил Яковлевич Маршак сказал: «Когда ты слышишь слова «стругать», «рубить» – они вызывают у тебя ощущение топора и рубанка в руке. Когда ты читаешь, что кто-то «обрабатывает дерево», у тебя никаких ассоциаций не возникает».

Когда студент читает в учебнике или слышит на лекциях: учитель обязан… учитель должен… это – «обработка дерева». А слушая Долинину, студент ощущал рубанок в руке. Когда ее спросили: «Можно прийти к вам на урок?», она ответила: «Нет. При любовном свидании третий лишний. Урок настоящий – это с глазу на глаз с классом». Когда речь зашла о хорошем учителе, Долинина сказала: «По-моему, учитель начальных классов не бывает средним. Это или больше, чем хорошая мать, или ничто. Евдокия Терентьевна Никитина в сорок седьмом году подбирала себе первый класс, сидя в кабинете врача: если девочка золотушная, значит, моя. С горбом – моя. Заикается – моя… Несколько лет спустя я получила этих учеников. Какой это был славный, веселый, культурный класс!» Со всем этим можно соглашаться или не соглашаться. Но это не постные фразы, это не «обрабатывать дерево». Это – ощущение рубанка в руке…

Что же до уроков, на которые Долинина будто бы не велит приходить, так ведь это только слова: конечно же у нее на уроках бывают и студенты и учителя. Сидят, слушают, учатся думать. И она ходит на уроки своих товарищей и тоже уносит с собой и мысль, и сомнение, и радость открытия. Как же иначе? А урок с глазу на глаз с классом – все-таки самый лучший…

Почему я так подробно рассказала о случае в институте имени Герцена? Да потому, что он имеет прямое отношение к вопросу о том, как педагогический вуз должен воспитывать студентов. Если учителя будущих учителей станут бояться встреч своих питомцев с думающим, ищущим человеком, они не сумеют

научить студентов по-настоящему любить школу. Раз члены кафедры педагогики не согласились с Долининой, они непременно должны были с ней поспорить. Непременно должны были противопоставить ей свое мнение, свою убежденность. Тогда различные мнения сшиблись бы и возникла бы искра, без которой нельзя разбудить в студенте учителя. Они этого не сделали. Почему?

Нет, при такой постановке дела Колумба не вырастишь. Как он станет открывателем людей, если он сам еще не раскрыт как человек и учитель?

Если студент педагогического вуза покинет стены института, обладая «ро́зумом», т. е. умея думать, если он со всей отчетливостью понимает, что его ждет счастливый, но очень нелегкий труд, если он еще на студенческой скамье вникнет в работу учителей «хороших и разных», тогда в добрый час! На первых порах он всё равно будет маяться и приходить в отчаяние. Но он непременно выстоит, и никакая непогода ему не страшна. Если же его на протяжении четырех лет «уводили» от сложных вопросов, тогда… тогда беда! Он не решит ни одной из сорока задач, что будут сидеть перед ним на партах. И жалко ребят, которых начнут «обрабатывать» его механические руки, его боязливый, неразвернутый ум.

Костер без пламени

«Литературная газета», 1957, 7/3, № 29, стр. 1–2.

Дул ветер, мело снегом, прохожие ускоряли шаг. Но шесть или семь мальчишек самозабвенно вопили, столпившись на тротуаре у небольшого каменного дома.

– Сколько дал за него?

– Три рубля!

В голосе лобастого, румяного паренька восторг и нежность; он прижимает к груди лохматого щенка.

– Возьми в долю! Вот рубль! Будет общий!

Мальчишка покосился на рубль и еще крепче прижал к себе щенка.

– Хозяин должен быть один!

Все согласны с этим, но каждый хочет быть причастен к делу.

– Как назовешь? Назови Черныш!

– Лучше Карай! Есть книжка, там пес Карай, он какого хочешь преступника отыщет!

Все кричат наперебой, но больше всех разоряется смуглый,

курносый мальчик в ушанке – это он хотел вступить в долю.

Хорошо бы дослушать и узнать, как же в конце концов назовут щенка, но ровно в час начнется сбор совета дружины, а я обещала прийти. Когда я подхожу к школе, меня обгоняет парнишка в ушанке. Он мчится, как реактивный самолет, со свистом разрезая воздух.

И когда я вхожу в комнату, где заседает совет пионерской дружины одной из челябинских школ, он сидит среди других ребят, уже без ушанки, конечно, в школьной форме и в тщательно выглаженном пионерском галстуке.

– Ну вот, мы все в сборе, – говорит старшая вожатая. – Предоставим слово для отчета председателю совета отряда седьмого класса.

Встает худенькая, аккуратная девочка в очках и говорит:

– Мы провели вечер музыки и шахматно-шашечный турнир.

– А какая у вас дисциплина? – спрашивает вожатая.

– Плохая.

– Чем объяснить?

Молчание.

Встает другая аккуратная девочка, только без очков, и спрашивает:

– А что было предпринято, чтоб повысить успеваемость?

– Мы поговорили с некоторыми – не помогло.

– А какие меры были приняты к нарушителям дисциплины?

– Мы им сколько раз говорили и в «Колючке» продергивали.

– Надо говорить «писали», а не «продергивали», – поправляет вожатая. – Послушаем отчет пятого класса.

Встает мой курносый знакомый и бойко сообщает, что в пионерском отряде пятого класса провели шахматно-шашечный турнир.

– А какая работа ведется в звеньях?

– Готовится монтаж, но только ребята не остаются на репетиции. Не хотят, – угасая, отвечает мальчик.

– А план вы составили?

– Да.

– А вы его выполняете?

– Нет.

Нипочем не поверила бы, что это он вопил, спорил, мечтал о щенке. Да разве он может мечтать! Вон у него в глазах какая тусклая, привычная скука!

Вслед за ним встает председатель совета отряда четвертого класса, вихрастый мальчик. Он бойко и весело сообщает:

– Мы хотели провести шахматно-шашечный турнир, да всё никак не соберемся. «Колючку» выпустили, да никак не повесим.

Лежит себе в шкафу, и дело с концом. Иванов нарушает дисциплину, а когда мы всем звеном хотели пойти к нему на дом, он сказал вроде того, что не ходите, а то всех вас отлупим. Мы и не пошли.

Мальчик садится на место. Встают еще дети и рассказывают о том, что у них много нарушителей дисциплины и много неуспевающих. Потом старшая вожатая – совсем молоденькая и тоже похожая на аккуратную, исполнительную школьницу – подводит итоги:

– Как видите, плохое впечатление осталось от отчетов. В чем причина?

– Причина в том, что неинтересно, – говорит вихрастый – он, как видно, еще не утерял чувства юмора.

– Верно, – подтверждает вожатая, – неинтересно. А почему бы не сделать так, чтобы было интересно? Почему бы не провести викторину? Почему бы не посмотреть диафильм? Есть очень много интересных мероприятий, а вы их не используете. Если на переменах будете проводить игры, дисциплина улучшится. Вот, например, на большой перемене можно устроить конкурс на лучшего отгадчика загадок – и хулиганству не будет места.

– Ну да, станет Иванов отгадывать загадки, делать ему нечего, – говорит вполголоса кто-то позади меня.

– А кто это Иванов? – спрашиваю я.

– А такой… Лупит всех.

…На совете дружины сидел актив, то есть послушные, дисциплинированные дети, и поэтому они сидели смирно, чинно. Один зевал, другой тоскливо перекладывал ручки и карандаши в своем пенале. Все томились, но никто не шумел. Скука нависла над этим сбором, чинная, беспросветная скука. Она была осязаема, ее можно было пощупать – такая она была плотная, тяжелая, непробиваемая.

В городке Катав-Ивановске Челябинской области пионервожатая Нина Владимировна рассказала мне о сборах отрядов в своей дружине. Там тоже был сбор, на котором загадывали и разгадывали загадки… Сбор, на котором устроили шашечный турнир… Сбор, на котором поставили доклад об учебе и пьеску о вежливости… И наконец, сбор, на котором пионеры соревновались: кто скорее почистит зубы и вымоет руки.

Неужто ребята двенадцати – четырнадцати лет придумают такое? Да никогда в жизни! И, право же, не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, что все эти «развлекательные мероприятия» выдумали не дети, а заботливые взрослые.

Очень часто жизнь пионерского отряда состоит из нескончаемых заседаний, изредка перемежаемых шашечным

турниром, художественной самодеятельностью или конкурсом на лучшую елочную игрушку. Но даже если допустить, что все сборы очень хороши и очень увлекательны, то все же никак нельзя примириться с тем, что пионерская работа превращается в цепь сборов, хотя бы и очень интересных. Ребятам нужно действие – благородное, по-настоящему полезное, им нужно сознательно и с толком приложить свои силы. Пусть они что-то делают, видят плоды своего труда. Пусть почувствуют, что в меру своих сил приносят окружающим пользу.

…Сегодня в планах пионерских «мероприятий» вы непременно найдете пункт о тимуровской работе. Но, думается, из мысли Гайдара вынуто главное, она обескровлена, она увяла. Гайдар знал ребят и знал, что такое для тринадцатилетнего подростка игра, романтика, тайна. Мы же об этом забываем. Мы воображаем, что можно насытить голову и сердце подростка длинными заседаниями и пьеской о вежливости. Мальчишки покупают щенка и уже видят, как этот пес ловит преступника, охраняет границу, вытаскивает детей из огня, спасает людей в снегах, а этим мальчишкам говорят: давайте поставим пьеску о вежливости или устроим конкурс, кто скорее вымоет руки. С веселой, увлекательной и благородной игрой, которую придумал Гайдар, сделали самое плохое и непоправимое, что можно было сделать, – ее лишили таинственности, она стала такой же отлакированной, парадной, как торжественные сборы и заседания.

Представьте себе гайдаровского Тимура, который говорит на собрании: «За отчетный период мы охватили вниманием целый ряд старушек…» Нет, этого вообразить себе нельзя. А теперь активисты-тимуровцы пышно отчитываются в своей работе на пионерских сборах, им выносят благодарности, о них пишут в газетах.

…Если что-нибудь возникает новое, свежее, этому немедленно подыскивается недоброжелательный ярлычок. Если в пионерском отряде ребята работают весело и интересно, это называется «голое развлекательство». Если много занимаются спортом, есть наготове ярлычок пострашнее – «бойскаутизм». Если ребята делают что-нибудь втайне, – значит, их затея «подменяет собой пионерскую организацию».

Директор 610-й московской школы Лидия Алексеевна Померанцева рассказывала когда-то, что в одном из детских домов, которые ей пришлось обследовать, обнаружилось «тайное общество пяти мушкетеров».

Тому из мушкетеров, кто носил имя д’Артаньяна, было от роду двенадцать лет, и был он, не в пример отважному гасконцу,

курнос, белобрыс и веснушчат. Он-то и руководил «обществом».

На счету пяти мушкетеров числились подарки девочкам к 8 Марта (разумеется, тайные): в партах, под подушкой, в тумбочках девочки находили в этот день фигурки из пластилина и глины. Арамис хорошо рисовал и лепил, поэтому многие начинания мушкетеров вдохновлены были музами. Впрочем, одно их мероприятие не имело отношения ни к живописи, ни к скульптуре, ни к какому-либо иному искусству: однажды ночью мушкетеры завернулись в простыни и до полусмерти напугали кастеляншу…

В тумбочке Портоса нашли мушкетерский устав и кодекс чести. Это была неслыханная мешанина из романа Александра Дюма, «Дубровского», «Красных дьяволят» и «Макара-следопыта». Среди девизов были и такие: «Защищать слабых», «Служить народу до последней капли крови», «Бить фашистов»».

– Все взрослые были возмущены, – рассказывала Лидия Алексеевна, – много говорили об утрате бдительности, о мелкобуржуазном бойскаутизме, о политической близорукости руководителей детдома, спрашивали, почему подарки девочкам понадобилось готовить тайно, а не сообща, на сборе звена, и никому в голову не пришла простая мысль, что эти «мушкетеры» – укор взрослым. – И верно: почему никто не подумал, что работа в пионерском отряде не насыщает ребят, что им хочется живого дела, интересного, увлекательного, захватывающего?

Сколько бы ни говорилось о том, что пионерская организация самодеятельная, едва только ребята сами начинают придумывать себе дело, как появляется еще один ярлык: «Пустить всё дело на самотек».

А в сборнике «Классные руководители о своей работе с пионерами и комсомольцами» один из классных руководителей пишет: «Совместно с вожатой отряда мы проверяли планы и конспекты выступающих с сообщениями и беседами. При этом давали соответствующие указания, советы, помогали подобрать материал, сделать правильные выводы из сообщений… Яркое выступление на определенную тему… завязавшаяся… задушевная беседа являлись важным средством идейно-политического воспитания пионеров…»

Я не верю, чтобы после всех этих «соответствующих указаний», советов и проверок завязалась «задушевная беседа».

Общеизвестно, что малыш начинает ходить только тогда, когда перестают следить за каждым его шагом. Он шлепнется, всплакнет, встанет, снова шлепнется и только потом пойдет самостоятельно. Если с самого начала много придумывать за

пионеров, «давать соответствующие указания», «помогать делать выводы», инициативы от них не жди.

Скажут: что же, совсем не руководить? Не интересоваться тем, что будут пионеры говорить? Надо и руководить, и интересоваться, однако надо больше доверять ребятам. Я была на сборах, где выступали дети с речами о скромности, о дружбе, подвиге. Эти речи можно было хоть сейчас печатать, но никогда вокруг них не завязывалась «задушевная беседа», и не потому, что тут сидел посторонний человек, а потому, что всё это были отвлеченные слова, целый Монблан слов, никакого отношения не имевший ни к жизни класса, ни к самим ребятам. Это были «мероприятия», не отражавшие ни живой жизни, ни повседневных интересов ребят, ни тех горячих споров, которые вспыхивают во дворе, на чердаке, дома да и в школе, когда «задушевную беседу» не организуют, а она рождается сама.

В Ленинграде я попала на заседание совета дружины, которое вел мальчик с мягким ежиком волос и умными, острыми глазами. Он осторожно позевывал, но заседание вел очень квалифицированно. Обсуждали работу председателя совета отряда одного из седьмых классов. Этот мальчик требовал, чтобы его освободили от занимаемого почетного поста и, не жалея себя, рассказывал о том, как плохо он справляется со своими обязанностями:

– Ничего не обсуждаем, ничего не готовимся! – объявлял он победоносно.

– Почему же ты так безобразно работаешь? – спросил председатель, глотая зевок.

Обвиняемый защищался вяло:

– А раз никто не слушается.

С поста председателя его не сняли, и тогда он упрямо заявил:

– Как хотите, а я работать не буду!

Было видно, что всё это – и загадки, и отгадки, и елочные украшения – надоело ему хуже горькой редьки. Точно так же, как ребятам из челябинской школы. И еще многих школ – не только Челябинска и Ленинграда.

В одной школе пионер Саша, член совета дружины, устроил выставку ко дню 8 Марта. После выставки подводили итоги.

Одна девочка сказала:

– Саша правильно сделал, что собрал подарки наших пионеров, и подарки мамам были очень красивые. Но почему, Саша, ты не организовал дежурства у этих подарков? Некоторые из них пропали. В следующий раз нужно учесть, чтобы на выставке были дежурные.

Так и постановили: «Совету дружины учесть в будущем, чтоб

на выставках были дежурные».

Все заметили непорядок и решили этот непорядок устранить. Но никому в голову не пришло обратить внимание на то, что среди ребят есть вор и что главная забота не в том, чтоб уберечь подарки на следующей выставке с помощью стражи, а чтоб вора не было. Об этом никто не подумал.

И это естественное, неизбежное следствие холодной парадности, которая царит в работе многих пионерских отрядов. Отчего это происходит? Ведь не первый раз бьют тревогу, статьям об этом нет числа, об этом написаны тома гневных слов, но как же не писать об этом опять и опять? <…>

Наша бабка

«Тарусские страницы», Калуга, книжное издательство, 1961, стр. 13–14

Несмотря на жару, голова повязана черным платком – из-под платка глядит сморщенное, навек загоревшее лицо. Глазки – пристальные, хитрые.

– Мария Федоровна? Бычкова? Это я. Садитесь. И хорошо, что пришли. Милости прошу. Я, конечно, полы мою, но ничего. Садитесь. Из газеты? Ну, в общем, для печати? Бери тетрадку, пиши. Не стесняйся, не стесняйся, вытаскивай тетрадку и пиши. Ко мне всегда посылают. Меня тут вся власть знает. Сверху донизу. А как меня не знать – я на все руки. Я работы не боюсь. Я и с телятами могу, и с курами, и кладовщицей, и фуражиром. Раз тут приходили, чтоб меня рисовать. Нарисовали. Я насчет работы всегда впереди. Записала? Ну, всё. Больше нечего писать, всё сказала. Нет, постой, погоди. Я хоть три класса всего кончила, но я пить-есть брошу, а газетку почитаю. И книжку могу почитать. Меня тут не зря вся власть знает. Так и говорят: наша бабка. Это – я. Ты что ж мало как записала? Или памятливая? Ну-ну. Раз и так запомнила – нечего бумагу марать. Так и запомни: наша бабка в работе быстрая и никакого труда не боится.

Она вдруг поникла, прикрыла глаза темными тяжелыми веками и заговорила устало, медленно, надолго замолкая:

– Вправду запомнила? Ну и ладно. Чего ты смотришь? Небось думаешь: какой, мол, в горнице непорядок. Ничего не поделаешь… Кухня вся гнилая. Сын с женой отделился, я им горницу отдала, а сама в этой кухне осталась. Надо бы ее починить. Да ведь деньги трудно достаются. И здоровье не то, что прежде. Моя жизнь очень трудная. Хорошего-то я мало видела, а

вот плохого – у-у-у! Плохого – сколь хочешь. Я вдовой осталась лет двадцати пяти. Году в пятнадцатом, что ли… Пожила маленько одна с двоими ребятами, а потом приняла в дом плохого мужичонку, пьяницу. Помаялась с ним да и погнала вон. Ерундовый был мужичонка. И осталась одна с пятерыми ребятами. Ну, маялась, ну, натерпелась я – вспомнить страшно.

Колхозы начались – я в колхоз. Походила на курсы и стала конюхом. Я хорошо за конями ходила. Поверишь ли, мне те кони по сю пору снятся. Ну и работала я! Ну и работала! Ведь мне пятерых ребят поднимать – легкое ли дело? Вот я погляжу, как иной раз люди работают. Прошло восемь часов, а они на руку смотрят, что часы показывают – значит, подошел конец работе. А разве работе есть конец? Нет, работе нет конца.

Как мы жили, как детей растили – это ж вспомнить – и то страшно. Но подняла детей. Потому что работы не боялась. Я ведь на все руки. Я сама ребят обшивала, они у меня в школу знаешь как чисто ходили? Я сыну Сереже всегда говорила: учись, дитя, учись, ангел мой. А чем кормить? Хлеб да вода. Нет, с тех пор жизнь, конечно, далеко ушла, ничего не скажешь. Разве ж мои внуки так учатся? У них всё есть: и одеты, и обуты, и сыты. А Сережа… Его перед самой войной взяли на действительную. Он всё говорил: «Ты по мне не плачь, не плачь, мама». А я, дура, плакала. Не знала, какая беда ждет. Война – и убили. Вот когда поплакать-то пришлось.

Ивана тоже взяли на фронт, совсем мальчонка был, совсем дитя. Но, слава богу, вернулся. Раненый, но вернулся. У него сколько-то тонких кишок вырезали, но организм молодой, справился. И женился. Сноха – учительница, образованная, да и он сам не плох – электрик. Живут хорошо. Вот сейчас отделились, а я тут, на кухне осталась. А дочь Маша? Она в Москве диспетчер на автобазе. Очень ответственная работа. Еще дочка Зина – милосердной сестрой в больнице, Анна – в совхозе по нарядам – все при деле, все хорошо живут и внучат мне нарожали.

Оглянусь назад и думаю, да как же я их подняла? Наверно, я и правда морозоустойчивая. И еще я себя хвалю, что ничего не боялась. Вот в войну бомбят, а я из дому не ухожу. Есть которые боялись, а я – нет. Война – и пусть война, а я сама по себе, меня не сломать. Меня, бывало, немец пихнет, а я, думаешь, стерплю? Я его сама пихну. Я им спуску не давала, немцам. Я одну кобылу с колхозной конюшни – самую лучшую – к себе на двор взяла. Содрала ей шкуру со спины и заживать не давала, чтоб немцы не взяли, и доберегла до своих. А конь, лучший наш конь, – он такой лихой был, он им не поддался, немцы его нипочем поймать не могли, немцы его и убили. Какие кони были! Этого никто понять

не может! Я после войны в конюхи уж больше не пошла. Руки не те. Но я все работы превзошла. Я могу и дояркой, и телятницей, и фуражиром, и кладовщиком. А косить? Марина – первая, а я вторая. Я стога хорошо кладу. Все стога мною сложены, лучше никто не кладет. Я вот только кур не люблю. От них дух тяжелый. И после коней мне с курами дело иметь ни к чему. Но и то, когда птичница наша сына выдавала – кто ее подменял на птичнике – опять же я! Я работать люблю. Мы все у матери такие, работящие. Моя мать умерла – восемь человек сирот оставила, но мы все в люди вышли. А одна моя сестра – лучше всех – работает в Кремле курьером.

Ты думаешь мне сколько годов? Шестьдесят девять. А если спрашивают: бабка Маруся, сколько тебе годов, я говорю: «Годы мои назад пошли. Раз Марусей зовут – значит, молодею».

Доктора говорят: побольше сахару ешь. Я и ем. Я себе какава варю, молочка подолью – и пью. Мне сейчас совхоз молоко выдает. Раньше не давали, а я говорю: «Товарищ директор, что ж такое, неужто у совхоза для меня молочка нет?» И мне сразу двадцать литров – бултых!

А главное дело, я работу люблю. И люблю я хорошо сделать. И хоть я сейчас на пенсии, отдыху мне всё равно нет. Чуть что – ко мне. В телятник, в курятник, к коровам – где наша бабка? Это – я. Зовут – иду. Ну, раз за ради бога просят – как не пойти? Вчера пришли – зовут хлев чистить. Неужели, раз меня нарисовали, я должна дерьмо убирать? Но пошла. Потому что если не работать…

Она снова поднимает глаза, смотрит пристально. И говорит:

– А горя я хватила – на десять жизней…

И чуть погодя:

– И правильно, что ничего не записываешь. Что тут записывать? Живу. Работаю. Вот и вся история…

Глаза пустые и глаза волшебные

«Тарусские страницы», Калуга, книжное издательство, 1961, стр. 150–158

Выйдя на привокзальную площадь в Серпухове, я поискала глазами автобус на Тарусу. Вон она, очередь. Народу собралось много, видно, автобуса давно не было. Взяла в кассе билет и пристроилась последней.

Люди стояли не цепочкой, не по одному, как полагается в очереди, а по двое, по трое и разговаривали между собой.

Накрапывал дождь, ветер был холодный, автобус всё не шел и не шел. А главное, не было уверенности, что попадешь в него: народу собралось много, пожалуй, машина всех не возьмет.

Передо мной стояла старушка в аккуратно повязанном синем платке, сером чистеньком ватнике. Резиновые черные сапожки тоже были ладные, чистые, по ноге. Голубые блеклые глаза смотрели без привычной для стариков усталой печали. Говорила она улыбаясь, и голубые глаза ее глядели добродушно, а маленький курносый нос придавал лицу что-то детское.

– Смотря какой водитель приедет. Тут есть такой один – он всех нипочем не возьмет.

– Что ж так?

– Жалеет. Много народу для машины непосильно, вот он и бережет. – Она сказала это одобрительно и еще раз пояснила: – Жалеет, понимаешь? Транспорт жалеет.

– А чего его жалеть, транспорт? – сказал сивый старичок, стоявший подле. – Нас с тобой надо жалеть, а не транспорт. Машина, она что? Машину – ее под пресс и переплавят. А нас с тобой хрен переплавят. Понятно?

– А чего же тут не понять? Понятно. А только транспорт тоже…

– Идет! – сказал кто-то.

И правда: к остановке подходил автобус. На минуту все разговоры умолкли, все мгновенно забыли друг о друге, каждый был поглощен тем, как бы поскорее влезть в автобус. Но, усевшись, тотчас снова заговорили. Водитель был тот самый, что жалел транспорт, но на этот раз он взял всех. Автобус не быстро, но упрямо одолевал дорогу, подскакивал на ухабах.

– Повезло, повезло! – говорила старушка, расправляя на коленях юбку.

– Это я вам всем счастье принес, – опять откликнулся давешний старик, – я везучий. Вот уже третий день после Дня Победы, а я всё гуляю и гуляю. Родичи, все, как один, бывшие фронтовики. Первый день, девятого, – у сына в Серпухове, второй – у племянника в Тарусе, третий – опять тут, то же самое у фронтовика, у зятя. Сильно накачался. Сына школьники приходили поздравлять. Вы, мол, были на войне, и очень радуемся, что вернулись живой и невредимый. Очень торжественно было. Почет!

– Ко мне тоже школьники приходили, – сказал мой сосед, человек лет сорока. Загоревшее еще на зимнем солнце лицо, коричневые руки с короткими загрубевшими пальцами. На нем была видавшая виды короткая куртка и темные, потертые на коленях штаны из чертовой кожи. – Да, и ко мне приходили. Я в

Тарусе недавно, а вот узнали, что был на фронте, и пришли поздравить. Но только почета никакого не получилось.

– Это почему же?

– А вот посудите. Входят три девочки. Одеты аккуратно, в руках цветы. Мне жена говорит: «Коля, к тебе пионеры». Ну, я приосанился, приглашаю: садитесь. А они – нет. Одна вынимает бумажку и читает: «Поздравляем защитника Родины, желаем успеха в мирной жизни, в трудовой деятельности», и пошло, и пошло! Защитник Родины!

– А ты разве не защитник? Ты и есть защитник. Чего же ты обижаешься? – удивилась старушка.

– Ну, не могу объяснить. Плохо говорили. Больно красиво.

– Так и нужно было, – сказал старик, гулявший на трех праздниках. – Вот ты сидишь сейчас, штаны на тебе заплатанные и куртка не так чтоб новенькая. А в праздник ты небось приоделся? Есть у тебя парадный костюм? Вот и слова есть парадные, на торжественный случай. Высокие слова. Так уж полагается.

– Есть у меня выходной костюм. Но если б он мне под мышками тянул, в плечах жал, на животе не сходился, а воротник если б, как петля, шею стянул, я б такой костюм носить не стал. Пускай слова будут торжественные, не возражаю. Не пусть они будут… Ну, живые, что ли. А то ведь насыпали слов на бумагу – и читают. А что моя мамаша тут же больная лежит – не поглядели. Знай, сыплют слова «трудовой подвиг», «трудовая деятельность», сунули цветы и пошли вон. Правда, у самых дверей одна задержалась, самая из всех маленькая. Поглядела на мамашу и говорит: «Выздоравливайте, – говорит, – поскорее». Я не против торжественных слов. Пожалуйста, пусть будут торжественные. Так ведь тут не торжественные слова, а деревянные, понимаешь?

– Так ведь они от души говорили. Хотели порадовать.

– Нет, – упрямо ответил мой сосед, – от души так не говорят. Если от души – слова не такие…

Но откуда же они берутся, эти слова не от души? Почему слова поздравления показались человеку пустыми, округлыми, ничего не выражающими?

Эти слова были присыпаны пеплом других слов: чужих, невыношенных. За ними ничего не стояло, вот почему даже лучшие из них потеряли свой жар, свой цвет, свой запах…

… Однажды, когда я пришла в Дом-музей Поленова[12], дочь художника Ольга Васильевна сказала мне:

– Когда в музей на экскурсию приходят ребята, я с первого же взгляда понимаю, какой у них учитель. Я узнаю по глазам. Иногда приходят веселые, горячие, а в глазах – любопытство: «А ну,

покажите, что у вас тут есть?» А иногда приходят такие… Ну, как вам сказать! Пустоглазые, что ли… Вот по этим пустым глазам я понимаю, что и учитель у них пустоглазый. Такие ребята ходят за мной лениво, вяло. И сами ни о чем не спросят и на мои вопросы отвечают зевая. Скучно им. Таких бывает трудно расшевелить. А бывают… Ах, какие бывают ребята!

И Ольга Васильевна рассказала, как однажды она подвела группу третьеклассников к картине Коровина «За чайным столом».

– Ух, как он их посадил! – радостно воскликнул один мальчик. – Колесом!

Почему он сказал – колесом? Ведь стол, за которым сидят люди на картине Коровина, – квадратный. А как точно сказано, как точно увидено: колесом!

Картина Коровина – торжество белого цвета: тут кружат все оттенки белого – бело-кремовая скатерть, бело-желтое молоко, белая блузка отливает голубизной, бело-синий кувшин, белый солнечный луч на самоваре, белая тарелка на белой скатерти, белый блик на спинке деревянного стула, белая фуражка, белый бант в волосах. Белый – ослепительный. Белый – осторожный. Белый – сияющий. Белый – строгий. Белый блеск, белое кружение – и мальчишка увидел, почувствовал это и воскликнул: «Колесом!»

И дочь художника – она вела экскурсию – не удивилась: услышала и вместе с мальчиком обрадовалась. Она знала: меткое слово не рождается на пустом месте, оно всегда отражает мысль, чувство. И напротив, человек с пустыми глазами никогда не подарит горячим словом. Пустые рыбьи глаза хотят, чтобы слово было, как пустой орех: скорлупа есть, ядра нет.

Однажды я была на обсуждении пьесы, которую поставил Московский детский театр. На трибуну вышла девочка лет тринадцати и сказала:

– Экспозиция тут несколько затянута… Кульминация искусственно задержана… Урбанистические мотивы, пронизывающие спектакль, не кажутся мне здесь оправданными.

По одну сторону от меня сидел представитель Мосгороно. Он одобрительно кивал и был очень доволен выступлением девочки:

– Культурно… Начитанная…

Соседкой моей по правую руку была Александра Яковлевна Бруштейн[13]. Она слушала, приставив к уху слуховой аппарат, и лицо ее выражало страдание.

– Когда дети матерно ругаются, – оказала она вдруг, – это очень плохо. Но это не так страшно: они подрастут, войдут в ум и перестанут. А «экспозиция» и «кульминация» – это страшнее,

гораздо страшнее. Это как парша, от нее никак не избавишься.

Верно: страшнее. А почему? Да потому, что внешность невыразительных, пустых слов обманчива. Это не слова – это маски. Они учат ребят не выражать свои мысли, а замораживать их. Или попросту скрывать. Они учат неправде.

Однажды учительница сказала своим ученикам:

– Сейчас вы будете писать сочинение о первомайской демонстрации.

– А если я не была? – спросила одна девочка. – Шел дождь, а у меня калоши прохудились.

– Ты говоришь неправду, – ответила учительница. – Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение «Как я ходила на первомайскую демонстрацию».

Девочка покорно взяла ручку и, склонившись над тетрадкой, довольно быстро написала так:

«Утро было солнечное. Трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок».

Тут всё было неправдой: первого мая шел дождь. Небо было затянуто тучами. Девочка сидела дома.

– Ведь ты же не была на демонстрации? Зачем же ты наврала? – спросили ее домашние.

– Да где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение.

Частный случай? Нетипично? Нехарактерно? Нет, такая узаконенная неправда встречается нередко.

– Я хочу вас спросить, – сказала Ольга Васильевна Поленова, – вот однажды в «Пионерской правде» была анкета: «Что бы ты сделал, если бы тебе было всё позволено?» Редакция некоторые ответы напечатала. Ответы были хорошие, но только очень между собой похожие. Я бы очень хотела знать, а были другие, непохожие? Вы не знаете?

Случилось так, что я знала. Да, однажды «Пионерская правда» предложила своим читателям анкету, совсем короткую, в один вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было всё позволено?»

Некоторые ответы газета опубликовала на своих страницах.

«Сначала я купил бы маме стиральную машину, – писал один мальчик, – потом завел бы двадцать кроликов и развел бы большой сад. Я уничтожил бы все болезни».

«Я спасал бы поля от вредителей, лес от пожаров», – писал другой.

«Я освободил бы негров, которые находятся в рабстве у капиталистов», – сообщал третий.

Дети хотели лечить, помогать, строить, открывать новые страны. Это неудивительно. К доброму открытию, к подвигу – спасти, вытащить из огня, прийти на помощь отважным путешественникам, погибающим в полярной ночи, – к этому стремится каждый мальчишка. Но, веря благородным ответам, которые опубликовала «Пионерская правда», Ольга Васильевна Поленова, человек, от журналистики далекий, но детям близкий, твердо знала, что были – не могло их не быть – другие ответы.

Она не ошиблась. Они были. Олег Осинин ответил на вопрос анкеты странно. У него был какой-то свой, таинственный ход мысли. Он писал:

«Я был тогда маленький. Я встал в семь часов утра. В этот день мне исполнилось восемь лет. В этот день мне очень хотелось разных игрушек, и вот я иду в школу. Начались уроки, и вот остался последний урок – чтение. Все ребята слушают и читают. А я сижу и думаю: хоть бы быстрее урок кончился. В это время вызвала меня учительница читать новый рассказ. А я и не знаю, какой. Она спросила: «Ты слушал?» Я сказал: «Нет». Тогда она взяла дневник и поставила «два» и сказала: «Садись». Я сел и думаю: «Хоть бы она ушла совсем. Я бы тогда не ходил в школу и мама не смотрела бы мой дневник. После школы я пришел бы домой и пошел бы в кино на четыре часа и вечером на восемь часов».

Это написал одиннадцатилетний Олег. Он рассказал об одном дне, воспоминание о котором жило в нем и мешало, как заноза. Потому что день рождения – это день мечты, день больших ожиданий, день больших надежд. А вместо подарков, игрушек, кино – двойка. И дома возьмут дневник и увидят эту двойку и будут ругать. И день потемнел, и тень от него протянулась из первого класса в четвертый, и на вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было всё позволено?» – Олег ответил рассказом об этом дне: «Я сел и думаю: хоть бы она ушла совсем…»

Ответ Нади Розановой тоже не был опубликован. Она написала так:

«Если бы мне было всё позволено, я пила бы по ящику лимонада. Когда бы не было мамы и папы дома, я включила бы телевизор и специально легла бы спать, не выключив его. Если бы я еще ходила в детский сад, я выливала бы под стол молоко, не спала бы в тихий час. А когда бы я пошла в школу, мне подарили бы на день рождения ручку, которая решала бы все задачки. Я бы побольше спала. Уроки я бы не делала. Я пропускала бы занятия в

кружках. Побольше бы ела мороженого. Когда бы я пошла работать, я выбрала бы работу полегче или совсем бы не работала. Если бы я стала летчиком или парашютистом, я побывала бы в больших городах Советского Союза».

Лентяйка? Индивидуалистка? Эгоистка? Бездельница? Я думаю, ни то, ни другое, ни третье. Просто замученный воспитанием человек, человек, который по горло сыт всякими запретами: не тронь, не шуми, не сиди без дела, садись за уроки, пей молоко, не ешь мороженого, убери, отойди, замолчи… И человек взбунтовался, хоть на бумаге, а взбунтовался.

– А ведь она превосходно понимала, чего от нее ждут, – сказала Ольга Васильевна. – Она знала, что надо написать, чтоб ее ответ напечатали в газете. Но у нее накипело на душе. И она решила выложить всё начистоту. Верно?

Верно. А ведь Надин ответ никак не зачеркивает тех высоких и благородных, которые напечатаны. Но половина правды, три четверти правды, девять десятых правды – не есть правда. Так же как и не было бы даже намеком на правду, если бы напечатали только ответ Нади или, к примеру, Оли Панкратовой: «Я ходила бы в кино бесплатно. Поехала бы в Ленинград бесплатно и осмотрела бы Зимний дворец. Каталась бы на каруселях бесплатно. Целый день. Облетела бы весь мир на самолете, бесплатно. И еще полетела бы на Луну».

Правда – это всё разнообразие ответов, желаний, стремлений. И зачем пугаться таких ответов, как Надин, Олин, Олегов? Испуг этот ведет к одной очень страшной вещи: ребята заранее знают, чего от них ждут. Им кажется: они усвоили «как надо» и, не раздумывая, не размышляя, не пишут – катают – «как надо». Они знают правила игры, они знают, что от них ждут не правды, а сочинения. А что такое узаконенное вранье безнравственно и наносит непоправимый ущерб, это остается за скобками.

– Я хотела бы, – говорит Ольга Васильевна, – чтобы люди навсегда сохранили волшебные глаза. Волшебные глаза всё видят будто впервые: свежо, чутко. И насквозь. Это очень понимаешь, когда смотришь на детские рисунки. <…>

Ольга Васильевна по глазам узнает, какой у ребят учитель. Думаю, еще хорошо узнавать это по ребячьим сочинениям.

Восьмого марта в шестом классе дали тему сочинения «Моя мама». Боря Б. написал:

«Я очень люблю свою маму. Она веселая, добрая, никогда не ругается. Вот наша соседка ругает своего сына и обзывает его всякими словами. А мама ей говорит: «Ну за что ты его! Ты что, себя маленькой не помнишь? Так же делала, и еще похуже».

Учительница на полях написала: «Ты не отметил таких

качеств характера своей мамы, как трудолюбие и принципиальность».

Рядом с этими словами рукой Бори написано: «А моя мама непринципиальная, но всё равно я ее люблю».

Под этой строчкой рукой учительницы поставлена двойка. И всё же я думаю, что в этом поединке победителем остался Боря.

В тарусской школе я тоже читала сочинения о мамах. Володя Д. написал так:

«Я пришел домой и задумался: я сам не знаю, за что я люблю свою маму. Люблю, и всё».

Спасибо учителю: он оценил Володину сдержанность и не поставил ему двойки.

В тарусской школе много хороших сочинений. Вот сочинение «Первый снег».

«Начались первые холода. Вечером не выйдешь без варежек, так тебя мороз и начинает за пальцы щипать, по щекам шарить. И вдруг пошел первый снег. Он шел, как дождь – наискось. И люди говорили: «Вот и зима пришла!»

Коротко. Выразительно. Эти глаза не утеряли умения видеть, потому и слова нашлись непустые. А учительский красный карандаш не подчеркнул слова «шарить», не нашел его нелитературным или неуместным.

Вот несколько строк из сочинения «Мой характер».

«Я иногда говорю неправду. Например, когда я пролила бидон подсолнечного масла, то свалила свою вину на кошку. Знаю, что поступила неправильно, но сделать с собой ничего не могла».

И это сочинение убеждает: учитель не ждет стандартного ответа, и ребята пишут то, что им хочется. <…>

Среди разных тем для сочинения была и такая: «Через двадцать лет». Старшеклассники писали о том, как они приедут в Тарусу в 1980 году. Одни к тому времени собирались стать замечательными учеными, изобретателями, другие – врачами, архитекторами, третьи – конструкторами самолетов. Конечно, очень многие возвращались в Тарусу прямо с Луны, куда летали запросто.

«А потом мы все пошли в школу, чтобы встретиться с Мишей: он приехал в родной город, чтобы рассказать о своем полете на Луну. Все мы слушали его с большим интересом. Он, когда был школьником, уже мечтал летать на другие планеты. И вот его мечта исполнилась. Он говорит, что пейзаж на Луне – безрадостный – мертвые скалы, высохшие озера. На Земле гораздо лучше».

Одна из девочек кончала свое сочинение о 1980 годе так: «Целый день я ходила по родному городу и повторяла про себя:

здравствуй, мой дорогой город, милая моя Таруса! Сколько стран я повидала, в каких только городах я ни была, а лучше тебя нет. Ты изменилась за двадцать лет. Улицы твои стали шире, зелени еще больше, летом ты, как один большой букет сирени. А вот и мой палисадник, дом, где я родилась и провела свое детство. Тут всё по-прежнему, всё как было тогда, ничего не изменилось».

Это очень точно по чувству: пусть уголок моего детства останется нетронутым, таким, как он мне запомнился и полюбился…

Есть сочинения лучше, есть хуже. Но в них нет стандарта, в этих сочинениях. И этим они привлекают больше всего. <…>

– Я вас узнала, – сказала мне в тарусской столовой молодая женщина, – вы часто приходили к нам в школу. А один раз пришли, когда выступал перед нами летчик. Не помните? Он только приехал с фронта. Вспомнили?

Я вспомнила. Я очень хорошо помнила этот день.

В самом конце войны в родной город на короткую побывку приехал молодой летчик. Времени было в обрез, но ему очень хотелось забежать в школу, где он еще так недавно учился. И, взяв за руку свою племянницу, которая поступила в первый класс той самой школы, куда он ходил десять лет, молодой летчик повел ее знакомой дорогой.

Он довел ее до самых школьных дверей, и тут им повстречалась руководительница первого класса.

– Зайдемте к нам, – сказала она молодому летчику, – встреча с фронтовиком – это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас уже были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный сталевар… А фронтовика еще не было. Пойдемте!

Он согласился. И вошел в класс.

– Вот, девочки, знакомьтесь, – сказала учительница, – к нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта. Он учился в нашей школе и был всегда примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила внутреннего распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был вежливым учеником, он не грубил учителям, он…

Я взглянула на летчика. Он стоял красный как рак. У него было скуластое лицо и чуть раскосые глаза. И по взгляду этих глаз – веселому, чуть диковатому, было ясно: облик идеального школьника, который сейчас рисовала учительница, не имел к нему никакого отношения. Было очевидно: ему случалось нарушать правила школьного распорядка. Бывало, он опаздывал на уроки, бывало, не слишком аккуратно выполнял домашние задания. И то ли еще бывало!

– Все эти качества помогли ему стать настоящим воином, – продолжала учительница. – Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях.

Летчик смотрел на девочек, словно размышляя, что бы такое им рассказать? И что будет им интересно? Если бы среди них сидел хоть один мальчишка, какой-нибудь веснушчатый, курносый Петька, какой-нибудь любопытный Ленька… Ну, пусть бы они не так уж хорошо соблюдали режим дня, не были бы такими чистенькими и аккуратными, как все эти девочки в коричневых платьицах и черных фартуках. Летчик-фронтовик – он попросту боялся этих девочек. И вдруг, решившись, будто прыгнув с моста в воду, он заговорил.

Он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у врага. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, летчик увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя стояла уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза, ее давно не стригли – в доме не было ножниц. В доме не было ничего: ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла, чтобы умыться.

– А мать у девочки лежала больная, – рассказывал летчик, – она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девочка – голодная, холодная, грязная. И мы с товарищем моим Серегой вскипятили воды, посадили девочку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Серега на гражданке был сапожником. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмаки. Руки у меня видите, какие большие? – Летчик растопырил руку. – Как лопаты! А у девочки ножки вот какие, ну, прямо как у куклы. Потом из Серегиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. А потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки, а за волосами не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Ведь мы никогда этому делу не учились. И вот, послушайте, как мы сообразили: я взял горшок, небольшой, глиняный, ну, обыкновенный горшок, в котором варят кашу, картошку, молоко кипятят, и надел девочке на голову – и постриг по краешку ровно-ровно! В кружок постриг!

Молодой летчик смотрел на девочек, и видно было, что все эти аккуратные первоклассницы больше не пугают его. Они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, учительница

смотрела на него недоуменно и строго. Пробормотав:

– Ну вот, какое было дело, – летчик умолк.

– Мы поблагодарим товарища фронтовика, – сухо сказала учительница, – и займемся устным счетом!

Когда летчик вышел в коридор, учительница шагнула вслед за ним и сказала с укором:

– А я надеялась, что вы расскажете детям что-нибудь поучительное, воспитательное! А вы…

– И знаете, что я вам скажу, – произнесла та, что семнадцать лет назад, в сорок четвертом году, маленькой девочкой вместе со мной слушала летчика, – знаете что… Вот странная вещь: сколько я с той поры слушала разных знаменитых людей – и артистов, и ученых – и не так чтобы много запомнила. А всё, что тот летчик рассказывал, помню как будто вчера. Всё помню, и девочку с горшком на голове, и как он ее стриг, и как она смирно сидела, и как он кормил ее шоколадом. Ну всё, всё, как будто видела своими глазами…

– Нарисуйте зимний лес! – сказала учительница.

Зашуршали листы альбомов. Девочка с туго заплетенной косой взяла желтый карандаш и первым делом нарисовала большое круглое солнце. Ее сосед решительным взмахом зеленого карандаша изобразил нечто такое, что без особого труда можно было принять за елку. Начало было положено. Минут через десять рисовали все. Все, кроме мальчика, сидевшего у самого окна. Зажав щеки ладонями, он задумчиво глядел перед собой.

– Тихомиров Коля! – позвала учительница. – Почему ты не рисуешь?

Коля Тихомиров встал. Ростом он был меньше остальных третьеклассников и очень худ. Смуглое большелобое лицо было усеяно коричневыми веснушками.

– Почему ты не рисуешь? – Голос учительницы звучал нетерпеливо.

Глубоко вздохнув, Коля ответил:

– Мне бы лист черной бумаги…

– Черной? Вечные фантазии! Пожалуйста, не выдумывай! Садись!

Мальчик сел и открыл коробку с цветными карандашами. А учительница, проходя мимо молодого журналиста, присутствовавшего на уроке, наклонилась к нему и сказала:

– Это очень отсталый мальчик. Вечно ему в голову приходит что-нибудь несуразное.

А Коля стал рисовать. Он взял зеленый карандаш и нарисовал ровный ряд зеленых елочек. Потом, скосив глаза, взглянул на рисунок девочки, сидевшей неподалеку, и

пририсовал рядом с елочкой желтое солнце. Потом взял белый карандаш и попытался изобразить снег. Он провел по зелени елок длинные белые полосы. Вздохнул и положил карандаш в сторону.

После уроков журналист увидел, как Коля шел из школы. Он ускорил шаги и, поравнявшись с мальчиком, спросил:

– Зачем тебе понадобилась черная бумага?

Коля поднял на него глаза и сказал:

– Я придумал картину: идет снег, а в лесу ночь. Всё черное – и небо, и всё, понимаете? А снег белый. Мелом! Вот если бы мне лист черной бумаги, я бы нарисовал… Здорово? Или нет?

– Здорово! – согласился его собеседник.

Он сказал это совершенно искренне. Потому что увидел всё: и ослепительно черное небо, и ослепительно белую снежную мглу, белую землю в черной ночи. Да, тут пригодился бы лист черной бумаги. Ничего не скажешь… <…>

Газета «Литература и жизнь» однажды поместила статью под названием «Лицо писателя»[14]. Там было сказано:

«Сейчас в литературе толчется кучка пижонов. Пишут они о том… что увидели из окна троллейбуса на московских тротуарах, о том, как пушист снег на Никитском бульваре, – чирикают, выходят со своим чириканьем на подмостки «творческих вечеров», аплодисменты девиц со средним образованием принимают, как знаки всенародного признания, и, упоенные дешевым успехом, всё дальше отстраняются от большой народной жизни».

Когда не знаешь, о ком идет речь, не можешь ни спорить, ни соглашаться с тем, справедливо ли названы пижонами литераторы, о которых идет речь в статье. Одного нельзя понять: если литератор не видит, как пушист снег на Никитском бульваре, то какой же он литератор? Если он не умеет увидеть ничего интересного из окон троллейбуса, он тоже не литератор. И настоящий писатель, не пустоглазый, во всем, всегда, где бы он ни был: в лесу, на целине, у реки, на заводе, в троллейбусе, в Москве или в Братске, – увидит жизнь, ее свет, ее тени, ее людей. Кто это установил, что именно должен, а чего не должен видеть художник – писатель ли, живописец? Всё он должен слышать, всё видеть – и снег на Никитском бульваре, и московские тротуары.

Учитель тоже должен видеть и слышать. И думать. Если слышит он, что мальчишке нужен лист черной бумаги, пусть не спешит объявлять его умственно отсталым. Пусть попробует понять, что за этим кроется. Пусть не устанавливает, каким положено быть ответу на вопрос, который задаешь детям. Потому что как только дети сообразят (а соображают они быстро), что положено, а что не положено, так тотчас возникнет стандарт. Свои истинные мысли они оставят для себя, друг для друга, а

учителю выдадут «сочинение»: «Утро было солнечное. В голубом небе был слышен рокот самолетов», или «Экспозиция тут несколько затянута».

Воспитывать – это значит рассказывать людям правду о жизни и о них самих. Воспитывать – это значит помочь человеку найти себя, помочь развиться всему, что в нем богато и причудливо. Было бы слишком легким делом вкладывать в детей готовую душу и готовый разум.

Воспитывать – это значит открывать детям глаза на мир, огромный, прекрасный и многообразный. Учить видеть, слышать. И если человек научится видеть и слышать, он никогда не скажет пустого, рыбьего слова. Всё в нем воспротивится стандарту, пустому штампу.

Детское время, как говорит Житков, идет плотнее, чем в шекспировской драме. Да, именно так. Всё, к чему мы привыкли, всё, что перестали замечать, для детей – впервые и полно загадок. Каждый ребенок – творец, первооткрыватель. И как только взрослый об этом забудет, он тотчас станет тем садовником, который выращивает не фруктовые деревья, а телеграфные столбы.

Двойка по истории

Сборник «Минуты тишины», М., «Дет. лит.», 1967 [15]

В январе пятьдесят второго года я получила письмо. Помню, как раскрыла конверт, как вынула грубый, потершийся на сгибе листок и прочла: «Здравствуйте, Марина Николаевна! Прочитал сейчас книгу «Мой класс». Называю Вас так, как в этой книге называют Вас Ваши ученики. Марина Николаевна, я заключенный. Зовут меня Борис Корниенко»[16].

Это было длинное письмо. Его писал молодой человек, самостоятельная жизнь которого началась трагически: он совершил кражу и был заключен в тюрьму. В лагерях, где он отбывал срок наказания, ему попалась моя книга – повесть о молодой учительнице и ее учениках. Рассказ в ней ведется от первого лица, вот почему в те дни, вскоре после того как книга вышла в свет, я получала письма, которые неизменно начинались словами: «Здравствуйте, Марина Николаевна», – читатели называли меня именем моей героини.

Меня обычно спрашивали, как я писала свою книгу, где сейчас мои ученики, продолжаю ли я работать в школе. Но это письмо не походило на другие. Это было письмо-исповедь. Борис

Корниенко ни о чем не спрашивал. Он рассказывал о себе. Рассказывал о детстве, о раннем сиротстве.

«Мне кажется, – писал он, – я походил на Вашего ученика Диму Кирсанова. Нет, я не был таким способным, я не так хорошо учился. Но я был так же самолюбив, так же застенчив, и у меня не было друзей. И потом, знаете, я очень некрасивый: рыжий и в веснушках. Я чувствовал себя одиноким. Но Ваш Дима – настойчив, у него сильный характер. А я уже в детстве был слабым человеком. Я хотел стать инженером, изобретателем. Но я пошел кривым путем, я хотел избежать трудного, я стремился к тому, что дается легко. Может быть, я и выправился бы и стал настоящим человеком, но тут началась война, эвакуация, скитания, погиб на фронте отец, и это меня окончательно подавило. Семнадцати лет я ушел в армию. Думаю, что она повлияла на меня хорошо, но привычка судить о людях плохо в свое оправдание, замкнутость и недоверчивость – всё это оставалось во мне.

О своем преступлении скажу коротко, в двух словах: я увлекся радио и украл часть радиоаппаратуры.

Конечно, настоящий человек не так добивается осуществления своей мечты. Но я хотел достичь своего быстрее, легче, я пошел кривой дорогой, а она никогда не доводит до добра. Мне никто не пишет. Ни один человек. Года два назад я послал письмо в один московский институт, а после слов «кому» написал: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке». Но мне никто не ответил».

Я читала и думала о том, что отвечать Борису Корниенко мне будет трудно. Советовать всегда трудно. Советовать человеку в неволе – просто стыдно. Ведь я-то на свободе, и многое, если не всё, в моей жизни зависит от меня. А он не свободен в своих поступках. Взяться за письмо мне помогло одно обстоятельство. Во всем, что написал Борис Корниенко, были и горечь, и тоска. Но не было озлобления. Когда человек озлоблен, до него не достучишься. По тому, как Борис писал об окружающих его людях, я поняла, что он не оглох, не ослеп.

«Есть у нас в бригаде один человек, Михаил Голицын, парень не то что ограниченный, а просто неразвитый и малограмотный. Характер у него несамостоятельный, легкий, переменчивый и безобидный. Так вот этого Михаила, пользуясь его слабостью, сделали у нас бригадным посмешищем. Я к этому привык, а другой раз и сам посмеюсь, когда выходит остроумно. Мишку этого я не люблю, считаю, что человека из него не выйдет. У него самолюбия нет. Оскорбят его страшно, позорно, а он через полчаса уже всё забыл. И вот нашелся человек, который встал на его защиту. Нет,

не я. Владимир Чумаков. Он сказал ему: «Неужели ты не видишь, что над тобой издеваются?» А другим сказал: «Если еще раз увижу, что издеваетесь, будете иметь дело со мной». Вот какой человек этот Чумаков. В лагере все стремятся отбыть свой срок и сохранить свое здоровье. Неписаное правило говорит: добивайся этого любыми путями, но только не во вред товарищам по несчастью. Но не все этому правилу следуют. А Владимир выполняет его, как закон. И он никогда ни перед каким начальством шею не гнет, чем бы это ему ни грозило. Нет, и здесь есть у кого поучиться честности».

Вот это место из письма Бориса и помогло мне ответить ему.

Я написала, что понимаю: ему трудно, очень трудно. Но пока человек живет на земле, никакое его одиночество нельзя считать окончательным. И сегодня и завтра могут встретиться на нашем пути люди, которые станут нам близки и дороги. Ведь и в лагере он сумел найти людей, о которых рассказал с уважением и любовью, – всюду нас окружают люди, и это очень хорошо, что он научился их видеть: «Я гораздо старше Вас и поэтому имею право посоветовать, сказать Вам – не надо жить тем, что будет когда-нибудь потом. Вы пишете: годы уходят. Нет, не уходят. Я по Вашему письму вижу, что они оставляют глубокий след в Вашей душе. Что Вы научились видеть и думать. И как бы ни было трудно, живите не только мыслью о том, что с Вами станет, когда Вы отбудете срок, но и сегодняшним днем – этот сегодняшний день еще очень много может дать Вам: и друзей, и книги, и мысли, и умение, которое потом очень Вам пригодится».

Трудно разговаривать с человеком, которого никогда не видел. И я не знала, не была уверена, поймут ли меня, услышат ли.

Но Борис понял и услышал. Скоро пришло ответное письмо – он снова рассказывал о людях, которые его окружают. О прочитанных книгах. О своем детстве. И с чуть меньшей горечью и безнадежностью говорил о будущем. Он писал, что каждую свободную минуту посвящает занятиям: «Я не хочу забывать то, что проходил по математике, физике, химии. Может, и правда я когда-нибудь смогу наверстать упущенное? Не очень-то я в это верю. Но Вы правы: не надо помирать раньше смерти. Не сердитесь, я хочу попросить Вас – не пошлете ли Вы мне учебник английского языка?» <…>

Отвечать на письма становилось всё труднее. Мой корреспондент спрашивал о тысяче вещей – он хотел знать, свободна ли человеческая воля? Сможет ли он наверстать потерянное? Как я думаю, кто выше – мужчина или женщина?

Я ответила, что у меня нет привычки делить людей в первую

очередь на мужчин и женщин. Для меня есть глупые и умные люди, хорошие и дурные, честные и бесчестные, – и среди тех и других есть мужчины и женщины. Я – человек. И, как человек думающий, работающий, равен другому человеку – думающему и работающему, независимо от того, мужчина или женщина этот другой человек.

Эти слова вызвали целый поток новых вопросов. Как человек становится дурным или хорошим, честным или бесчестным? От чего это зависит? Почему есть много книг о хороших людях и мало – о плохих?

«Можно ли выразить душу человека языком цифр? – спрашивал Борис. – Вот сейчас поясню свою мысль. Кончает подросток школу, уходит в самостоятельную жизнь. Какой он человек, хороший или плохой для общества, для нас с Вами? Это будет видно по его влиянию на жизнь, и миллионы таких подростков, входя в море жизни, вносят каждый по капельке своего влияния в него, изменяют это море.

Разве учителям не интересно знать, какова доля их влияния на сознание людей, а значит, и на жизнь? Разве учителю не интересно знать, что сталось впоследствии с каждым из двадцати учеников его класса? Не анкетные данные, которые можно толковать по-разному, а действительное отношение человека к жизни? Действительно ли со временем из каждых в среднем двадцати бывших учеников выходит всё большее число людей честных и действительно ли они живут лучше и счастливее? Разве это учителю всё равно? Разве ему не надо находить всё новые доказательства в оправдание своей деятельности и в своих глазах, и в глазах других людей? А доказывать и проверять надо неопровержимым и бесстрастным языком цифр».

Иногда письмо Бориса начиналось словами: «Я в себя верю». Другое было полно горечи: «Что мне делать? У меня такая тревога, и тяжесть, и тоска на сердце. Сделайте так, чтобы мне было легче, я больше не могу, не верю в себя. Как мне быть? Помогите мне не сердечным советом, помогите мне понять жизнь. Я предпочел бы оказывать поддержку, чем самому в ней нуждаться. Но я в ней очень нуждаюсь».

Нередко в письмах Бориса звучала чужая, не свойственная ему мысль, но поневоле он возвращался к ней: «Здесь говорят, что быть честным глупо и ненужно. Сам я тоже никак не могу решить: есть ли заслуга в человеческой стойкости? Если нет заслуги, то, значит, не от человеческой воли, не от своеволия человека зависят его поступки. А раз так, значит, пропадает смысл таких слов, как «стойкость», «выдержал испытание». И значит, за свои преступления человек тоже не в ответе».

Отвечать на такие письма было труднее всего. Ведь самое худшее и непростительное, что мы можем сделать со своей жизнью, – это вообразить, будто наша воля не свободна и каждый шаг предопределен, и поэтому мы уже ни за что не отвечаем – ни за хорошее, ни за плохое. <…>

«Как трудно быть кузнецом своего счастья! – писал Борис. – Для этого надо быть очень умным и очень сильным. А что, если я начну читать «Диалектику природы» Энгельса и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина?»

Вот тут я твердо была уверена в справедливости своего совета: «Для Вас сейчас самое главное, самое насущное – программа средней школы. А Ленина и Энгельса Вам не одолеть, вы заплутаетесь в этих книгах, они Вам еще не по плечу».

Борис продолжал заниматься. Читать. Работать. Думать. И когда в пятьдесят третьем году была объявлена амнистия, он получил свободу. И, приехав в Москву, пришел ко мне. На пороге стоял высокий худой юноша. Он описал себя беспощадно правдиво: веснушчатый, некрасивый. Но глаза у него были умные, пытливые.

– Я еще не верю… не верю, что на свободе… Что дома, что буду учиться!

Через неделю Борис уже работал электротехником на маленьком пригородном заводе. А еще через десять дней сел за учебник.

– У меня впереди целое лето, я буду готовиться к экзаменам в десятый класс вечерней школы, – сказал он. – Как вы думаете, выйдет из этого что-нибудь? Примут меня?

Иногда он звонил и просил разрешения прийти. Он бывал разный – как в своих письмах: то уверенный в успехе («Решил очень трудную задачу по физике!»), то печальный, поникший («Нет, сегодня я понял: ничего не получится!»).

…Пришел август, наступили дни экзаменов. Борис написал толковое сочинение по литературе. Справился с алгебраическими задачами, очень хорошо отвечал по физике. Но по истории он получил двойку. Ему попался билет, которого он совсем не знал. После экзамена по истории он пришел к нам. Лицо его было бледно, губы крепко сжаты. Но он старался держать себя в руках.

– Что ж, – сказал он, – попробую в будущем году… Не всё сразу, правда?

А завтрашний день принес неожиданную весть: Бориса приняли в десятый класс.

Учителя в этой школе были умными людьми. Они знали: есть случаи, когда строго формальный подход будет несправедлив и бесчеловечен. И если юноша с такой судьбой стремится в школу,

к книге – надо помочь ему. Бориса приняли с условием, что в конце первого семестра он сдаст курс истории за девятый класс.

Он работал. И учился.

Он работал и учился со страстью. Он жил нелегкой, но счастливой жизнью. «Я боялся, что меня попрекнут прошлым. Ведь все знают, что́ у меня за спиной. Нет, никогда никто ни словом не обмолвился!»

Если бы стали попрекать, он оставил бы школу. Но никто не коснулся прошлого. И все дружно помогали ему.

– У тебя был большой перерыв. Хочешь, помогу тебе по математике? – говорил кто-нибудь из учеников.

– Я вижу, у вас большой интерес к радио. Зайдите ко мне, дам вам интересную книгу, – сказал преподаватель физики.

– Успел приготовить уроки? А то отпущу пораньше, – часто говорил мастер в цехе.

…Борис кончил десятый класс вечерней школы рабочей молодежи. Через год он держал экзамен в институт. Тот самый, куда он написал когда-то письмо: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке».

Он поступил на заочное отделение и закончил радиофакультет. Теперь он инженер. Он женат, и у него есть дочка Наташа.

…Если бы Борис, вернувшись на свободу, встретил равнодушие, отчуждение, его жизнь сложилась бы иначе – и кто знает, какие пути легли бы перед ним. Они могли привести его назад – через злобу и одиночество – к преступлению. Если бы двойка по истории лишила его школы в тот первый, самый трудный год, может статься, он не сумел бы справиться с собой. Может быть, он надолго бы разлучился с ученьем, не вошел так скоро в товарищеский круг.

Да, были люди и в школе и на заводе, которые помогли Борису на первых порах. И это, конечно, облегчило ему первые шаги в новой жизни, породило ответную добрую волну, всколыхнуло всё человеческое, что было в характере юноши.

Но я уверена: никто не смог бы ему помочь, если бы он сам не задумался над своей жизнью, не постарался бы понять ее. Самуил Яковлевич Маршак сказал мне однажды: «Если человек сызмальства не поймет, что есть нечто более драгоценное, нежели золотые часы, он непременно украдет их. Непременно. Страшный удар в легкие не так страшен, если у тебя легкие полны воздухом. И он может быть смертельным, если легкие пустые. Жизнь без высокой мысли – это улица без фонарей. На ней возможен всякий разбой».

«Помогите мне понять жизнь», – писал Борис когда-то. Но

нельзя ни думать, ни понять за другого. Каждый должен сам задуматься над своей жизнью, над тем, что низко, что высоко, что подло, а что по-человечески.

Способность думать над своими поступками, думать над своей жизнью – вот достояние, которое оберегло Бориса от злобы, от одиночества в лагере и от крутых поворотов в новой жизни…

Плохой студент?

«Известия», 1961, 27/6, № 152, стр. 4

На третьем курсе физического факультета Московского университета каждый год проходит распределение студентов по различным специальностям: одни идут на кафедру физики твердого тела, другие – на кафедру теоретической физики, третьи решают посвятить себя геофизике – на физическом факультете около двадцати кафедр.

…На кафедру биофизики принимали всего десять студентов, а желающих было около восьмидесяти. Пришлось устроить конкурс. Собеседование было трудным: при таком наплыве желающих можно было выбрать самых подготовленных. И первым прошел Слава Цуцков. По единодушному мнению сотрудников лаборатории, он обнаружил блестящие математические способности, глубокое знание биологии, физики, химии, способность творчески мыслить.

В списке, который подала в учебную часть лаборатория биофизики, Слава был на первом месте. Деканат утвердил всех. Всех, кроме Славы Цуцкова. Почему?

– Он плохой студент, – последовал ответ. – Он пропускал занятия, он опаздывал на лекции, у него есть выговоры, он не ведет общественной работы.

– Как не ведет? Он руководит математическим кружком для школьников на мехмате!

– Но он это любит!

Дважды ходил профессор, руководитель лаборатории, к заместителю декана.

Оба раза заместитель декана, ссылаясь на авторитетное мнение инспектора курса, отказывал профессору в его просьбе.

Слава Цуцков молчал. Он не умел хлопотать за себя, не умел просить и настаивать.

– У тебя что, постановление такое – всегда молчать? – спросила его одна девушка.

– Почему? Когда мне есть что сказать, я говорю, – ответил

Слава.

А тут ему нечего было сказать. Трудно обивать пороги и говорить о себе: я способный. Меня отметила комиссия. Я хочу быть ученым. У меня есть для этого все данные. Но об одном он все-таки попросил: он попросил у заведующего лабораторией биофизики разрешения посещать эту лабораторию.

Полтора года Слава был, в сущности, при двух кафедрах: на кафедре физики твердого тела – по закону, по обязанности, потому что его туда зачислил деканат. В лаборатории биофизики – по любви, по неодолимому желанию, потому, что избрал биофизику делом своей жизни.

Перед зимней сессией к заместителю декана пришла сотрудница лаборатории биофизики Галина Николаевна. Она сказала, что Цуцков блестяще работает в лаборатории. Что, по существу, он выполняет небольшие научные исследования. Что у него замечательные способности и редкое соединение математического склада ума с глубоким увлечением биологией, наукой описательной. Но заниматься при двух кафедрах – нагрузка непосильная. Лаборатория снова просит перевести Цуцкова к ним.

Галина Николаевна ушла из деканата, заручившись обещанием заместителя декана: если Слава хорошо сдаст зимнюю сессию и добьется того, что с него снимут выговоры, он будет переведен на кафедру биофизики.

Подошла сессия. Слава хорошо сдал все экзамены и тотчас стал ходить только в лабораторию биофизики: наконец-то сбылась двухлетняя мечта! Но оказалось, что он поспешил. Выяснилось, что он не подал заявления о снятии выговоров. Выяснилось, были случаи, когда он пропускал занятия на кафедре физики твердого тела (ведь иногда часы занятий на двух кафедрах совпадали). Следовательно, должен понести наказание: нельзя переводить его в лабораторию биофизики.

И опять начались хлопоты. Теперь за Славу хлопотали уже обе кафедры. Преподаватели кафедры физики твердого тела ценили в Славе способного студента, однако понимали, что он должен быть там, где его интересы, его увлечение, его любовь. После длительных споров Славе разрешили, оставшись на кафедре физики твердого тела, заниматься по индивидуальному плану, включающему и предметы, которые должен изучать биофизик. Однако разрешения перевестись в лабораторию биофизики Слава так и не получил.

Случалось ли вам составить представление о человеке, которого вы никогда не видели? По письмам, по рассказам друзей? Наверное, случалось. Ну, а если вместо писем – аттестат

зрелости и личное дело, точно такое же, как заведено на всех студентов университета, а вместо рассказов друзей – выписки из приказов о выговорах?

Аттестат зрелости рассказывает о юноше, который был кандидатом на медаль: только две четверки. Экзаменационный листок скупо сообщает, что юноша принят на физический факультет университета. Никому не пришлось хлопотать за него: он с честью прошел по конкурсу. Ну, а если бы сам за себя не постоял, никто бы, пожалуй, и не помог: Слава Цуцков – сирота. Мать умерла, когда ему было девять лет. Отец снова женился, и мальчик жил с бабушкой-пенсионеркой.

Вот обо всем этом сказано в короткой автобиографии, написанной отчетливым детским почерком: Вячеслав Сергеевич Цуцков, русский, год рождения – сороковой. В 54-м вступил в комсомол. Летом 57-го года кончил школу, осенью поступил в университет.

Личное дело рассказывает, что юноша хорошо учился в первом семестре и гораздо хуже – во втором. На третьем курсе – пестрые отметки, а на четвертом – только хорошие и отличные.

Почему он стал учиться хуже? Почему стал получать выговоры? Личное дело этого не рассказывает. Оно немного может, в его распоряжении только факты и цифры, этим человека не исчерпаешь. Люди – вот люди могут рассказать больше. А самого Славу Цуцкова уже ни о чем не спросишь: третьего мая он покончил с собой.

Когда человек кончает с собой, оставшимся в живых нелегко назвать настоящую причину, то единственное обстоятельство, которое заставило его это сделать. Даже когда человек в предсмертной записке называет того, кого он считает виновным в своей смерти. Даже тогда. Потому что поступок этот безумен, потому что только в слепом, нечеловеческом отчаянии можно оборвать свою жизнь. Но одно бесспорно: принимая это безумное решение, человек или на самом деле одинок, или кажется себе непоправимо одиноким, и в ту последнюю, черную минуту не находит ни в ком опоры, не видит просвета. Слава в своей смерти никого не винит. Но мы обязаны сделать попытку понять, разобраться в том, что случилось. Тем более что, бывая в эти дни в университете, мы столкнулись с вопросами, которые выходят за пределы этого трагического случая.

Он был плохой студент, говорит инспектор курса. Не признавал никакой регламентации. Поверите ли, никакого проблеска.

Профессор дает такую характеристику: «Мощные способности, незаурядное дарование».

Деканат заявляет: «Недисциплинированный студент».

Аспирант мехмата, который знал Славу еще школьником, вспоминает: «Я гордился тем, что у меня в кружке такой мальчик».

Я была на заседании комиссии, которой было поручено разобраться, что же произошло со Славой Цуцковым и почему он покончил с собой. По одну сторону длинного стола сидели студенты той группы, где учился юноша. По другую сторону – члены комиссии.

Студенты не очень хорошо знают Славу – они ведь при кафедре физики твердого тела, а Слава всё время пропадал в лаборатории биофизики. Нет, он не был замкнутым, говорят они. Он был просто немногословным. Нет, он не был недисциплинированным – он, правда, пропускал занятия, но ведь он работал на стройке. И кроме того, он учился, в сущности, сразу при двух кафедрах. А это очень трудно…

– А почему он получил выговор за неявку на самообслуживание? – спрашивает доцент, один из членов комиссии, и добавляет, не дождавшись ответа: – Всех вас избаловали мамушки и нянюшки. А что до кафедры биофизики, то ведь это главным образом вопрос моды…

Ни один из членов комиссии никогда не видел Славу. Доцент считает, что у деканата были все основания не зачислять Славу на кафедру биофизики «потому, что деканату надо выполнять план, и потому, что разгильдяев и бездельников надо воспитывать». И всё время он возвращается к своей главной мысли: «А почему это конец света, если Цуцкова не зачислили на кафедру биофизики?»

Вот и заместитель декана говорит: «Любовь Цуцкова к биофизике переходила все границы здравого смысла!»

И это говорят физики, это говорят ученые! Да что было бы с наукой, если бы любовь к ней всегда находилась в пределах здравого смысла? А какое чувство вело мальчишку из Архангельской губернии пешком в Москву? С точки зрения здравого смысла многие поступки Ломоносова, Эдисона, Павлова были просто нелепы. Когда человек избирает в любимые какую-то область науки, то это тем сильнее, тем глубже, что здесь в избрании, в предпочтении участвует разум. А преданность, верность – безрассудны. И все слова о том, что другие области физики не менее прекрасны, почтенны, необходимы, не доходили до Славы. Скажем прямо: он избрал не самый легкий путь. Выбирая кафедру биофизики, он, по существу, выбирал вторую специальность. Оставаясь физиком, он должен был пройти сложный курс другой трудной науки и стать хозяином в биологии. Мода? Можно ли называть это модой?

Но, может быть, деканат факультета и инспектор курса правы в другом, в том, что Слава был человеком антиобщественным?

Думается, человек, так преданный науке, уже не может быть назван антиобщественным. И неужели его горячая любовь к кружку школьников дает право считать, что он не вел общественной работы?

Студенты рассказывают, что Слава охотно помогал товарищам:

– Он знал больше нас, но мы не стеснялись спрашивать его. Он никогда не относился свысока к самым примитивным вопросам.

– Когда мы работали в совхозе, все очень не любили мыть бидоны из-под молока. И мальчишки обычно сваливали это на девушек. И Слава один из всех мальчиков всегда помогал им.

Пустяк? Конечно. Но этот пустяк говорит о том, что юноша не был белоручкой и не по барству не явился однажды на самообслуживание. И стыдно было слышать от члена комиссии: «Вас мамушки и нянюшки испортили», – нельзя так говорить о человеке, который рос сиротой.

Да, когда человек кончает с собой, не всегда мы можем уверенно назвать ту единственную причину, которая заставила его совершить этот страшный и непростимый поступок. И здесь мы не знаем всего… Но одно мы знаем твердо: многое, многое в последние два года нелепо и бессмысленно осложняло Славину жизнь. Препятствия, которые приходилось ему преодолевать, были искусственными и нелепыми, созданными чьей-то злой и неумной волей. Тратить на них силы было горько и трудно.

По свойству своего характера, целеустремленного, сдержанного, по образу жизни – трудному, сложному, по своей незаурядной одаренности он заслуживал самого пристального внимания, самого доброго попечения. А вместо этого придумали схему отвлеченного хорошего студента без плоти, без крови, без единого проступка и в прокрустово ложе этой схемы уложили живого человека. Зачем? Кому от этого стало лучше? Науке? Педагогике?

В эти дни мне не раз пришлось слышать в университете:

– Стоит ли об этом говорить? Мальчика всё равно не воскресишь.

Да, не воскресишь. А говорить, а писать надо, необходимо. Чтоб беречь живых, чтоб растить их для жизни, для науки…

Блокноты журналиста

Дело Бориса Журавлева[17]

Июнь 1955 года, Москва

На скамье подсудимых – пятнадцатилетний Борис Журавлев, ученик 660-й московской школы. Два месяца назад он вместе со своим приятелем Олегом Крымским явился на вечер самодеятельности в школу рабочей молодежи. Оба были пьяны и ходили по залу, сквернословя и задевая всех. Студент Виктор Кузьмин, приглашенный на этот вечер, сделал им замечание. В ответ послышались брань и угрозы. Не желая, чтобы его спутница выслушивала всё это, Кузьмин попросил ее подождать, а сам вышел с Журавлевым и Крымским на лестничную площадку. Здесь Журавлев вынул из кармана револьвер и, выстрелив в Кузьмина, убил его наповал.

Бориса Журавлева вводят в зал суда, он не смотрит по сторонам, прячет глаза и старается побыстрее пройти на свое место. Но ответы его неторопливы и спокойны:

– …Ну, мы с Олегом выпили немного и пошли на вечер. На вечере находился также позднее убитый Кузьмин. Во время перерыва я допускаю, что наступил ему на ногу. Потом я вышел из зала, а Кузьмин пошел следом и сказал, что выведет меня из школы. Ну, я решил его попугать и наставил револьвер. Он прижался к стене, а я спустил курок и раздался выстрел. Я ушел.

Судья: Зачем у вас был пистолет?

– Цели не было. Я просто интересовался устройством пистолета.

– Если вы интересовались только устройством пистолета, зачем вам были нужны боевые патроны?

– Я хотел съездить за город и пострелять.

– Почему вы остались на второй год в восьмом классе?

– Я уже два раза отвечал на этот вопрос, чего это я буду отвечать в третий. Так случилось – и всё.

– Вы грубили педагогам?

– Бывало.

– А почему?

– Они сами вынуждали на это.

– Кто вас учил не слушаться родителей?

– Этому никто не учит.

– Да, не учит. Почему вы так себя вели? Курили, пили.

– Что я, алкоголик, что ли?

– Ваше поведение обсуждали на комсомольском собрании?

– Да.

– Вы ответственно отвечали?

– Да.

– Когда это было?

– Восьмого апреля.

– А десятого застрелили человека! Вы любите читать книги?

– Люблю.

– Читали «Как закалялась сталь»?

– Читал.

– Почему не взяли себе за пример Николая Островского?

– Время не соответствует нашему. Тогда было одно, сейчас другое.

– Чем вы увлекались, кроме выпивки и хулиганства?

– Книги читал.

– Музыкой занимались?

– Было такое дело. Выступал. Получал удовольствие.

– Вы хорошо знаете правила поведения учащихся?

– Хорошо знаю.

– Почему же вы пошли на такое преступление?

– Я не шел. Я хотел попугать. Цели убить у меня не было.

Свидетель Потапов, ученик 9-го класса той же школы:

– Когда мы пришли на вечер, я увидел, что ребята собирают деньги на водку. Но я с ними не пил и ни в чем участия не принимал.

Судья: Вы знали, что у Журавлева пистолет?

– Знал.

– Говорил он, что хочет в кого-нибудь выстрелить?

– Говорил.

– Что же вы молчали?

– А что я мог сделать? Если б я что-нибудь сказал, он в меня бы и пульнул.

Свидетель Целинский, девятиклассник:

– Журавлева я впервые увидел на этом вечере. Он хорошо танцевал и был под мухой. Вообще сказать, для трезвого он вел себя, может, и не нормально, а для пьяного – вполне нормально.

– Убитого вы видели?

– Нет, не поинтересовался. Журавлев говорит: я убил человека. Ну, я проводил Журавлева в подъезд на улице Алексея Толстого, а сам вернулся и слушал концерт.

– Беседовали с вами учителя о правилах поведения в школе?

– А как же? Конечно, беседовали.

– Почему же вы так равнодушно отнеслись к тому, что ваши товарищи пьянствуют?

– Так я же с ними не пьянствовал!

Свидетель Новиков, девятиклассник:

– Журавлева я увидел в перерыве между первым и вторым отделением – его администратор выводил за хулиганство. Потом я зачем-то пошел в раздевалку, а меня догнали Журавлев и Крымский, и Журавлев сказал, что он убил человека. Но я не поверил, раз он пьяный.

– Был ли Журавлев встревожен? Расстроен?

– Нет, ничего такого не проявлял. Я лично ничего такого не заметил.

Поликашкин, девятиклассник. (Глаза раскосые, пустые, дикие.)

Судья: Расскажите о событиях в 187-й школе.

– А чего рассказывать? Дали нам билеты на вечер, мы и приехали. Делать было нечего, а деньги были. Мы купили вина.

– Водки?

– Да, водки. (Небрежно.) После этого стали смотреть первое отделение. Посмотрели. А после выхожу я в раздевалку, встречаю

Журавлева, а он говорит: я выстрелил в человека. Но я не поверил, раз он был пьян.

– А вы слышали, что Журавлев говорил Кузьмину?

– Ну, что говорил? Как все пьяные. Ничего особенного, в нормальном тоне. Тот ему: «Надо быть повежливее!» А Журавлев отвечает: «Ты мне не указчик». Ну, как пьяные говорят? Так и он говорил.

– А где вы выпивали? И как?

– Ну, как? Из горлышка. Тут же, в зале.

– Ну, а потом? После того, как узнали про убийство?

– А чего? Проводили Журавлева и вернулись смотреть второе отделение.

– Почему вы не вступили в комсомол?

Долго молчит. Потом:

– Собирался подать заявление. Но были кое-какие срывы. Двойки. Случайные, правда, не в четвертях, а за ответ. Но могли за это не принять. Вот я и не подавал.

Лида Зуева, 18 лет. Работает на швейной фабрике.

Судья: Не плачьте и расскажите всё, как было.

– Я пришла на вечер по приглашению Кузьмина. Мы с ним стояли у окна и разговаривали. Вдруг, к нам подошли два парня, оба пьяные. (Плачет.) Стоят, качаются. Кузьмин попросил их отойти в сторону. Тогда они стали к нему приставать, выражаться. Один парень сказал Кузьмину: «Выйди. – Потом подошел ближе, положил ему руку на грудь и говорит: – Боишься?» Тогда Кузьмин с ним вышел. Он, видно, не хотел, чтобы я всё это видела и слышала. Вот он и вышел. И не вернулся. Сказал: «Я сейчас вернусь», – и не вернулся.

Олег Крымский, девятиклассник:

– С Журавлевым я познакомился в третьей четверти этого учебного года. Однажды он мне сказал, что у него есть пистолет. Я спросил: откуда? Он ответил, что взял у генеральского сына. Так как у Журавлева были плохие отношения с его отцом, он дал пистолет на хранение мне. Мы с ним дружили и, когда были деньги, устраивали выпивки.

Судья: Разве прилично пить молодым людям?

– Так ведь не так, чтоб на ногах не держаться.

– Расскажите про вечер в 187-й школе.

– Борис был пьян. Его попросили выйти. Он вышел, а я остался танцевать. Но потом попросили выйти и меня. Я вышел и на третьем этаже увидел Бориса. Он сунул пистолет мне в руки и сказал: «Бежим!» Потом сказал: «Давай обменяемся пальто». Потом мы поехали на чью-то дачу в Рублево. Борис знал, где лежит ключ. Дача оставалась совсем пустая, мы были там одни.

– Ваше поведение в школе и дома было плохим. Почему?

– Не знаю. Так уж получилось.

– А мать указывала вам?

– Указывала. Но я считал, что она просто мораль читает, и не слушал.

– Кто на вас влиял?

– Никто.

– Почему вы так распустились?

– Мне скучно было учиться.

– Какие у вас были отношения с отцом?

– Так ведь он с нами давно не живет. Ну, конечное дело, позвонит иной раз по телефону – почему, мол, плохо себя вел? И опять про меня забудет. Сам он инженер, кончил два института, а мне говорил: «пастухом будешь».

Крымская Александра Федоровна, мать Олега:

– Отец Олега ушел от нас лет восемь назад. Олег, пока маленький был, учился на «отлично». Но потом покатился по наклонной плоскости. А отец говорил: ну и пускай его исключают из школы и пускай этот мерзавец сам зарабатывает себе на хлеб. Я говорила, что сын может попасть на скамью подсудимых. Он отвечал: а я, как народный заседатель, постараюсь, чтобы он заживо сгнил в тюрьме.

Когда пришел в наш дом Борис Журавлев, мой сын сказал: «Мама, это сын замминистра, он из очень хорошей семьи». Но я вскоре узнала, что у Журавлева не очень-то хорошая автобиография, и хотела изолировать своего сына от Бориса. Кинулась к мужу; муж опять: подите вы к черту, у меня своя семья. Говорила с матерью Бориса. Она: а что мне делать, запирать его, что ли? Утром, в день, когда случилось убийство, я разыскивала сына и нигде не могла его найти. Я попросила у матери Журавлева дать мне адрес их дачи, думала, может, мальчики там. А она: зачем я буду давать вам адрес, вас всё равно туда не пустят, наша дача правительственная. Так я и не попала в тот день на дачу, а вечером случилось несчастье.

Судья: А материально вам муж помогал?

– Только по суду. Два года я не подавала в суд и он не платил ни копейки. Он хотел, чтобы Олег не учился, а работал, чтоб не платить алиментов. Про меня он говорил: я большой человек, два института кончил, а она кухаркой осталась. Еще он говорил: ты заплесневелая женщина, а моя новая жена – член партии. Партбилет он называл билетом, который поможет ему далеко уехать. Сына он однажды позвал и говорит ему: видишь, мы едим «Наполеон», а вы едите батон. Переходи ко мне жить. А сын сказал: я буду есть батон, да зато вместе с матерью. Я считаю,

гражданин судья, что мой сын прежде всего жертва отца, а потом уже Журавлева. Может, я своим архаичным умом неправильно рассудила, но я так думаю.

Иван Иванович Крымский (румяное, моложавое лицо, почтенная седина, отличный серый костюм. Отвечает спокойно, отчетливо, с достоинством).

Судья: Крымский Иван Иванович?

– Так точно.

– Работаете в Министерстве тяжелого машиностроения?

– Так точно.

– Крымская Александра Федоровна – ваша бывшая жена?

– Так точно.

– Расскажите, как случилось, что ваш сын попал на скамью подсудимых?

– Мое воспитание складывалось из советов сыну. Я был за то, чтобы сын не учился, а работал, так как труд – наилучший воспитатель в нашей Советской стране. А вообще, что я могу знать об Олеге, когда я уже восемь лет с ними не живу. Я просил учителей проявить побольше внимания к моему сыну, но они этого не сделали.

– Вы платите алименты?

– Так точно.

– А помимо алиментов – помогали?

– Купил коньки, давал на кино.

– Вы считаете себя ответственным за сына?

– В известной степени – да.

– В какой же степени?

– В той, какое позволяет мне мое здоровье, мое время, мои средства.

– Что же вы собираетесь делать дальше?

– Я жду, что решат судебные органы Советской власти, за которую я голосовал.

Милованова, работник детской комнаты при 9-м отделении милиции:

– Впервые с семьей Журавлева органы милиции познакомились в марте 54-го года. Мы вызвали отца; предупредили: вашему сыну грозит опасность, он не только грубит учителям, не только пьянствует, он связан с преступным миром, среди его приятелей есть такие, что осуждены за грабеж и хулиганство. Журавлев сказал: «Вы беспокоите меня зря. Я только что явился с курорта и занят серьезными государственными задачами. И Борис не такой уж плохой мальчик. Ничего особенного в моем сыне нет. Вот у такого-то (я не хотела бы здесь называть эту фамилию) сын сидит, у такого-то туза! А мой сын

еще не преступник».

Я спросила: откуда у мальчика деньги? Он ответил: «Дома счета деньгам нет». Он сказал это с гордостью. Явился отец Журавлев в милицию в генеральском мундире со всеми регалиями. Моим, говорит, сыном занимаются мать и няня, а я не особенно вникаю.

Ну, я оружия не сложила: обратилась в Главное управление милиции – как, мол, быть с мальчишкой, ведь если так пойдет дальше, он кончит скамьей подсудимых? Там посоветовали отправить Журавлева в исправительную колонию. Но отец отказался: неудобно в глазах начальства и в глазах подчиненных: у Журавлева сын в колонии – не звучит! Тогда я дала ему совет – вырвать Бориса из среды приятелей-хулиганов, отправить его из Москвы куда-нибудь в более сельскую местность. Но как понял Журавлев-отец этот совет? Он отправил сына к своему дяде в Калининскую область и не с матерью, а одного, в надежде, что здесь можно откупиться деньгами, которые он посылал дяде на содержание сына, тысячу рублей в месяц. Но Борис и в новой школе пил, играл в карты, не желал учиться. Директор Спировской школы написал отцу, отец не ответил. Тогда Бориса отправили обратно в Москву. И опять: деньги без счета, отдельная комната, хотел – ночевал дома, не хотел – на даче. Накануне убийства он тоже не ночевал дома вместе со своим приятелем Олегом Крымским. На квартиру Журавлевых позвонили из школы: Бориса не было на занятиях. Но дома никто не обратил на это внимания: то ли еще бывало! Мать Олега позвонила матери Бориса. Та ответила: «А что особенного? Пошатаются и вернутся». Крымская попросила дать ей адрес дачи – она съездит, привезет мальчишек. Адреса ей не дали. А ведь преступление можно было предотвратить, если бы отец и мать Журавлева прислушались к просьбам Крымской и тревожному звонку из школы. Но они были спокойны: пошатается и вернется! И Борис вернулся – для того, чтобы, не заходя ни домой, ни в школу, явиться на вечер и убить человека.

Юра Сусайков, девятиклассник, сын генерал-полковника. Отец живет в Ташкенте.

Судья: Подсудимый сказал, что он убил человека из пистолета, взятого у вас. Так ли это?

– Да… Я нашел пистолет случайно, в шкафу у отца. Взял, чтобы познакомиться с устройством.

– На каком основании вы взяли оружие, вам не принадлежащее?

– Оснований, собственно, никаких не было.

– Вы, шестнадцатилетний юноша, жили в квартире вместе с

сестрой. Кто же за вами наблюдал?

– Мама, уезжая к отцу в Ташкент, попросила понаблюдать за нами лифтершу.

– И что же, следила она?

– Да.

– Почему же она разрешала вам устраивать попойки?

– Не знаю.

– Почему ваш отец не взял вас с собою в Ташкент?

– Хотел, чтобы я кончил школу в Москве.

– А разве в ташкентских школах другая программа?

– Такая же.

– Или, может, у вашего отца-генерала нет квартиры в Ташкенте?

– Есть.

– А в Москву он часто приезжает?

– В отпуск и на сессию.

– Сколько комнат в вашей московской квартире?

– Пять! Не считая, конечно, кухни и ванны.

– А в Ташкенте у отца сколько комнат?

– Четыре.

– А дача?

– В Москве дача своя, в Ташкенте – государственная. (Отвечает холодно, лениво, небрежно.)

В публике: Да, генеральское воспитание! И ефрейтор такого воспитания не даст!

Судья: Вы давно научились пить водку?

– Недавно. И немного.

– Вы дружите с Журавлевым?

– Нет.

– А разве дают пистолет первому встречному?

– Нет.

– Бывал ваш отец у вас в школе?

– Был с год назад. После того, как Борис Журавлев угрожал Галине Иващенко.

– Чем он угрожал?

– Пистолетом. Но тот пистолет был, кажется, игрушечный.

– И после того, как Журавлев угрожал вашей подруге пистолетом, вы дали Журавлеву пистолет своего отца?

– Да.

Сусайкова Ирина Петровна, генеральша.

Судья: С какого года ваш муж в Ташкенте?

– С пятидесятого, уже пять лет.

– А вы?

– В Москве.

– Всё время?

– Нет. Либо здеся, либо тама.

– А дети?

– В Москве.

– А в Ташкенте большая квартира?

– Нет.

– Но достаточная для семьи?

– Но ведь его временно туда перевели.

– С пятидесятого года – временно?

– Его по состоянию здоровья должны бы перевести обратно. Обещаются.

– Как случилось, что ваш сын взял отцовский пистолет?

– Муж оставил оружие здеся второпях.

– Как вы наблюдали за воспитанием своего сына?

– Я с ним разговаривала.

– А еще?

– Всё ему было предоставлено. Учеба, и всё.

– С кем он дружил?

– Приятели его непостоянные.

– Как учился ваш сын?

– Были двойки. Но вообще он мальчик неплохой.

Прокурор: Неплохой? А вот что сказано в школьной характеристике: «Бездельничает, пьет, учится плохо, равнодушен ко всему, кроме попоек» – видите, какова плата за московскую квартиру? А как же ваш муж может воспитывать тысячи солдат и офицеров, если он не смог воспитать единственного сына?

– Об этом не вам судить, об этом уж как-нибудь будет судить военный министр.

Прокурор: Аудитория считает, что лучше бы вашего мужа судил обыкновенный суд.

Журавлев Александр Федорович, генерал; с 1930 года член партии (толстый, – в три обхвата… Лицо как блин, глазки – свиные):

– В Москву я приехал из Ленинграда в 1951 году. Сын в Ленинграде учился удовлетворительно и в Москве поначалу удовлетворительно. А с восьмого класса стал учиться плохо. И год назад меня предупредили в девятом отделении милиции о случаях, когда он напугал девочку пугачом, и еще сказали, что он знается с уголовным элементом. Ну, тогда я послал его к своему дяде в деревню Спирово Калининской области. Но и в Спировской школе его перевоспитать не сумели.

– Значит, вам было известно про связь сына с преступным миром?

– В девятом отделении милиции мне говорили, но

достаточных фактов не привели.

– Известно ли вам, что ваш сын пил водку?

– Мне лично известно четыре случая.

– Какие же меры вы принимали?

– Я лично этим вопросом занимался. Я всякие меры принимал. Я его контролировал. И когда из Спировской школы сообщили, что он и там хулиганит, моя жена лично сама туда поехала. Я и сам лично хотел туда съездить, но его как раз прислали сюда. Я считаю, что школа поторопилась, могли бы подождать с присылкой.

– Какие же меры приняла ваша жена?

– Она, конечно, сделала соответствующие выводы, так как он и там сильно напивался.

– Ну, а вы?

– Я как раз собрался туда поехать.

– Зачем тянули? Надо было сразу на поезд и туда!

– Я считаю, я сделал соответствующие выводы.

– Сказали вы работнику детской комнаты Миловановой, что деньги у вас бессчетны?

– Нет, я такого заявления не делал.

Милованова: Я спросила, как вы контролируете средства своего сына, а вы ответили: деньгам у нас счета нет.

Журавлев: Я такого заявления не делал. Заявляю это ответственно и партийно!

Судья: Что же вы до сих пор говорили тихо, вяло, а теперь вдруг так возмутились и заговорили с такой энергией? Отвечайте, как случилось, что ваш сын лишил жизни человека, которого родители воспитали по-хорошему, довели до пятого курса – отвечайте, как случилось это, отвечайте при всем народе!

Журавлев: Да, тут я лично допустил ошибку… Я за ним контроль осуществлял… Я ему говорил… И советовал… Я стремился… Но у меня не вышло…

Прокурор: А почему это вышло у рабочего-полировщика Кузьмина, который воспитал прекрасного, честного сына?

Журавлев: А почему я воспитал хорошую старшую дочь?

Прокурор: Вы хотите пятидесятипроцентной скидки?

Журавлев: Но я его воспитывал. Я с ним беседовал и запирал его на три дня в комнате.

Прокурор: Да, вы держали перед ним речи и подвергали его домашнему аресту. Вполне по НКПСовски[18]…

Журавлев: Я награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, я отдавал все свои силы партии и народу.

Прокурор: Откуда у вас такие методы: отец товарища вашего сына генерал Сусайков поручает воспитание своего мальчика

лифтерше, а вы, генерал Журавлев, поручаете воспитание своего сына старому дяде – откуда такие методы?

– Нет, я сам лично принимал участие.

Прокурор: Понимаете ли вы, что вы тоже подсудимый? В полутьме отдельных квартир и казенных дач вы растили негодяев и убийц.

Журавлев молчит.

* * *

Суд приговорил Бориса Журавлева к десяти годам лишения свободы, потому что нельзя расстреливать человека, не достигшего восемнадцати лет. Он слушал приговор и улыбался.

Из публики: Знает, что освободят досрочно!

– Знает, что выкупят!

– Сукин сын!

Переделкино 58 г.

1-го апреля за именинным столом у Корнея Ивановича [Чуковского] было решено, что каждый из присутствующих расскажет о подлоге, который ему в жизни пришлось совершить. Дамы поступили просто: они рассказывали случаи из жизни своих приятельниц. Как выходили из положения мужчины, я забыла – они рассказывали после Зощенко, и я попросту их не слушала. А Зощенко рассказал вот что:

– Я расскажу вам сейчас, как впервые возник мой конфликт с обществом и государством…

Я не совершал подлогов… Нет, я не обманывал людей… Даже женщин. Но вот что случилось со мной однажды. Это было в начале тридцатых годов. Я полюбил одну женщину. У нее был муж. И любовник. И она их боялась – и мужа, и любовника. Но всё же, узнав, что я еду в Сочи, Сухуми и Ялту, она сказала, что напишет мне в Ялту до востребования. И сообщит, где мы встретимся. И вот я подумал: я приду в почтовое отделение, назову свое имя, девушка небрежно переберет конверты и скажет: вам письма нет. А я, чтоб попросить ее посмотреть внимательнее, должен быть уверен, что письмо есть. И я решил, что сам напишу себе письмо до востребования. А два конверта труднее будет не заметить, чем один.

Я выдрал какой-то кусок из газеты, положил в конверт и

написал: «Ялта, до востребования Михаилу Михайловичу Зощенко». Потом я уехал в Сочи, в Сухуми. Приехав в Ялту, я тотчас направился в почтовое отделение, нашел окошко «До востребования» и назвал свое имя. Девушка перебрала почту и протянула мне письмо – то самое, что я сам себе послал. Я спросил:

– А больше писем нет?

Она ответила:

– Нет.

Я уехал в Одессу и узнал от общих знакомых, что та женщина в Ялте не будет, что мы не встретимся. А если увидим друг друга, так только в Москве. Когда я вернулся в Москву, она уже была там. Вместе с мужем и любовником…

Прошло одиннадцать лет. Я был увлечен одной женщиной. Она пришла ко мне в гостиницу. Мы сидели на диване и разговаривали. И вдруг зазвенел телефон. Говорил директор Зеленого театра. Он просил меня выступить. Мне не хотелось расставаться с этой женщиной, которая была у меня, и я отказался. Он настаивал, но я согласия не дал. Когда я положил трубку, женщина сказала, смеясь:

– Вы, со своей любовью к славе… Как вы могли отказаться выступить перед двадцатью тысячами зрителей? Вы, который так любите свою славу?

Я сказал:

– С чего вы взяли, что я люблю славу?

Она ответила:

– А письмо, которое вы сами себе послали в Ялту?

Я остолбенел.

– Откуда вы знаете? – спросил я.

– Мой муж работал в те годы в Ялтинском НКВД. Письмо на ваше имя было вскрыто, сфотографировано, и все долго ломали голову над тем, что может означать обрывок газеты, который вы положили в конверт. Наконец, было решено: вы послали себе письмо в надежде на то, что работники почты обратят внимание на фамилию и расскажут всем, что в Ялте находится Зощенко. И таким образом все в городе будут знать о вашем приезде. Вот как вы любите славу.

Я не смог ее разуверить. Я не смог ее убедить, что посылал письмо совсем с другой целью. И не раз в моей жизни случалось так, что самый простой мой поступок воспринимался людьми совсем иначе. Не раз еще самым моим простым словам и действиям приписывали смысл, которого они совсем не имели. Так возник мой первый конфликт с обществом… И государством…

Дорогая редакция[19]

Село Ивановка, Избердеевского района, Тамбовской области. Январь 1959 года

«Дорогая редакция!

Моя мать тяжело больна. Болезнь такая: очень тяжелое дыхание, кашель. С наступлением зимы ей очень трудно. В этом году я был в отпуске после трех лет службы и не узнал своей матери, так состарили ее эти годы. Обняла она меня при встрече, заплакала. Никогда не забуду ее слов, которые она вымолвила со слезами: «Сынок, Петя, как не хочется умирать».

Как я понял, этими словами она просила помочь ей, вылечить ее. Не мог я этого сделать и не мог также сделать и того, что, казалось бы, проще простого.

Как только я приехал, то сразу заметил, что нашу крышу надо перекрыть, так как солома сгнила и во время дождя в крыше вода. Я поинтересовался у отца, почему такая плохая крыша, неужели нельзя попросить в колхозе соломы? Он мне ответил, что не дает соломы Утешев Петр Иванович.

Когда я пришел первый раз к Утешеву, он сразу сказал, что вопрос о соломе решает председатель колхоза «Россия» Соколинский и что надо обращаться к нему.

Соколинский оказался хорошим, внимательным человеком. Он выслушал меня и посоветовал, чтобы я от своего имени написал заявление в правление колхоза «Россия». Так я и сделал: написал заявление, передал его Утешеву и стал ждать результатов. А дни идут, отпуск приближается к концу. Потом, после заседания правления, Утешев сообщил, что мое заявление рассмотрено, солому дадут. Я попросил: нельзя ли пораньше, ведь я помог бы отцу перевезти солому с поля. На это Утешев ответил, что сейчас он не может заниматься соломой, что у него дела поважнее.

После, когда я уже приехал в часть, то решил еще раз написать письмо Утешеву и Соколинскому. Думал, в конце концов, они пойдут навстречу. Но безуспешно, как говорится, ни ответа, ни привета. И пока изба осталась неперекрытой. А пройдет зима, настанет весна, оттепель, снег будет таять, и в избе вода, а как это для больного человека? Да и для здорового нехорошо. А ведь Соколинский говорил мне: «Езжай, матрос, служи спокойно, а мы поможем твоим старикам».

Дорогая редакция, по-моему, в тех краях никогда не приходилось бывать кому-либо из вас, а как мне хотелось, чтобы вы сами убедились, прав я в вышеописанном или нет, и заодно

побывали у моих родителей. Моя мать Голышкина Марфа Андреевна и отец Голышкин Александр Васильевич живут по адресу: Тамбовская область, Избердеевский район, Ново-Ситовский сельсовет, село Ивановка.

До свидания.

П. Голышкин».

* * *

Ново-Ситово. Сельсовет. Темно. Грязно. Мышь то выглянет из-за печки, то спрячется.

Утешев – огромный, широкоплечий, устрашающе-черный, охрипший. Мог бы играть гангстера в американском фильме. Или, скажем, у нас – кулацкого сына. Меня презирает глубоко:

– И вы из-за этого сюда приехали? Я думал – вы из-за чего… А вы… Эх, товарищ, товарищ! Всех не обеспечишь, всех болящих не ублаготворишь. А морячок, между прочим, врет: я старикам соломы дал, а они ее корове скормили.

* * *

Хата Голышкиных. Пол земляной. Дыра в крыше заткнута тряпьем.

Марфа Андреевна Голышкина про Утешева:

– Вран, вран он, вот он кто!

Александр Васильевич Голышкин:

– Я советский человек, и ты меня не прижимай. Я так Утешеву и сказал! А он живет за счет народного достояния. Его поведения несознательная! несоветская!

Соломы, если хочешь знать, у нас уйма… рожь уродилась хорошая и соломы много. Он, если хочешь знать, соломы пожег на пятьдесят крыш – из одной самодури пожег – вот он какой! Сын пишет – сходи, папа, к Соколинскому, а зачем я пойду, когда у них с Утешевым одна согласия. Утешев – он коварный. Он коварничает…

Как тебя зовут? Запомню! Ничего не трудно! Запомню! Фрид Абрамовна! Милок! Дочка моя ненаглядная! Думаешь, солома мне нужна? Абрамовна, вот те крест, плевал я на солому, пускай Утешев ею подавится! Пускай опутает ею жану свою! А мне важна любовь! Милок мой, дорогая гостья! Мне человек важен! Что ты приехала, это я век не забуду, и плевал я на солому! Эй, Марфа, старуха, куда стаканы́ убираешь: я еще пить хочу.

Абрамовна! Милок! Я в Германии был! Я в Венгрии был! Во всех странах был! И мне все люди равны! Всех люблю! А ты, Абрамовна? Правильно! Есть плохие, а есть хорошие, вот и вся деления! И другой разделении не признаю!

Марфа, дура, зачем водку убрала! Я еще пить буду! Абрамовна! Дочка моя золотая! Милок! Я в Германии был, в Будапеште был, в семи странах побывал и был у меня друг, ну – невозможный друг! Родная кровь! Жданов фамилие! А где он сейчас? Потерял… не найду… А Петя – мой сын – воспитанный, ну невозможно, ну сильно воспитанный, ну, нет сил, какой воспитанный!

Эй, старуха, куда водку уносишь? Кто в доме голова – я или ты? Как ты смеешь меня обманывать и водку тайно уносить?

Абрамовна, милок мой, а на войне я – веришь ли – никого не убил! Вот крест! Никого не убил!

Дочка моя золотая, что я тебе скажу! Дети мои заняли все центральные города – дочь в Москве, сын в Казани, другая дочь в Липецке, другой сын в Ухте, ну, а Петя, сын, – моряк! Собой видный – моряк! Ну, такое дите – таких нету больше! Говорит – отслужу, женюсь. А на ком ему жениться? Если ему в пару себе, такую же невозможно-хорошую, то им только и останется не по земле ходить, а на аэроплане летать.

Милок, дочка золотая, я воевал, в семи странах был, но убивать – никого не убивал. Зачем мне людей убивать? Было дело, мне в Германии один сказал: смотри, домишко какой аккуратный, а живет в нем один дед. Давай этого деда убьем и домишко очистим. Я ему: разве так ученые люди поступают? Как так – взять да убить? Нет, я не убивал! В Германии был – не убивал! В Будапеште был – не убивал! В семи странах был – не убивал! Вот я какой!

* * *

«Привет дедушке и бабушке от внуков Лени, Саши и Коли.

Дедушка и бабушка, я живу плохо, потому, что мамка получает с папы алименты и пропивает. А мне приходится воевать с кобелями. Выгонять их из дому. Мое здоровье хорошее и Шурика с Колей.

Папа тоже пьет водку. Но папа живет хорошо. Тетя его нас не обижает. Дает нам денег на кино.

Жду ответа.

До свидания, дедушка и бабушка. Желаю Вам жить хорошо.

Ваш внук

Голышкин Леонид Николаевич».
(тринадцать лет)

Бочаров, первый секретарь Избердеевского райкома комсомола:

– Вот вы на Утешева обижаетесь, что он старикам соломы не дал. Разве ему до соломы? С него требуют поголовье скота, нам Америку догонять, он на это нажимает!

– Но поголовье-то скота – для кого? Для людей! Значит, про поголовье людей тоже надо думать.

– Это вы хорошо сказали – поголовье людей. Но надо, чтоб сверху указали. Обязательно надо, чтоб указали! Без этого дело не пойдет.

Она трудолюбивая…[20]

Май 1959 г. Свердловская область, Сосьва, Гари, Линтовка. Уголовные лагеря

Лозунги: «Выполним решения XXI съезда», «Труд – дело чести, дело доблести и геройства». Доска передовиков производства.

Нары в два этажа. Серое белье. Тяжелый кислый запах. Из-за одинаковой одежды все сначала кажутся на одно лицо. Я не очень-то поднимала глаза, но потом огляделась и стала различать. Все отвечают очень внимательным и пристальным взглядом.

Библиотека. Книга отзывов: «Прочитав роман «Сын рыбака», мне очень понравилась идейность романа. Действия героя, мужество, справедливость, твердость Аспера являются поучительными».

Про «Войну и мир» написано кратко: «Война и мир – глубоко волнующая книга».

Витя Петров, паренек, к которому я приехала, читает «Подростка»:

– Достоевский – ох и нервный тип! Его сразу много не прочитаешь: душу переворачивает и жить потом не хочется.

При библиотеке выпускается литературный журнал. Там печатаются лирические стихи, там есть свой Журавлев (прежде чем попасть в лагерь по указу 49-го года – изнасилование, он преподавал электротехнику в Краснодоне).

Тихо, тихо вокруг,

Всё чарует весна.
Мы с тобою, мой друг,
И над нами душа.
В этот вечер златой
Ты прижмешься ко мне,
Я скажу, что судьбой
Предназначена мне.
Очи ярче твоих
В жизни я не встречал.
Ты взглянула – и в миг
От любви запылал.

Есть у него и гражданская лирика:

Если враг задумает нарушить
Мирный труд и счастье матерей,
По приказу партии обрушим
Мы огонь прицельных батарей.
Эй, солдаты,
Бравые ребята,
Выправка гвардейская,
Четкие шаги.
Мы верны присяге,
Мы полны отваги,
В бой идти готовы,
Берегись, враги!

В лагерной многотиражке опубликовано письмо крупнейших воров страны:

«Мы даем обязательство бороться с такими фактами, как воровство, картежная игра, паразитический образ жизни, промоты вещдовольствия, а также с унижающими честь и достоинство советского человека фактами мужеложества».

Лунатиков, Ласточкин, Рулев – всего 21 подпись.

* * *

Когда моя командировка окончилась, начальство пригласило меня на уху (что на уху вы приняли приглашение, мы так оценили, так оценили, вы даже представить не можете).

Весь вечер начальник лагеря майор Манухин был угрюм. Встретился со мной взглядом и, словно услышав вопрос, сказал:

– Я такой мрачный потому, что предчувствую: будет неладное. Вот знаю, готовится что-то, замышляется. Меня интуиция никогда не обманывает.

Наутро подполковник Шимкевич, сильно возлюбивший меня потому, что я его землячка (родилась в Орше), сказал:

– Эти уголовники народ такой… как бы вам сказать… не члены профсоюза, одним словом. А тот, что устраивает побег – это отпетый, пропащий. Я говорю: ну, куда бежишь? Зачем бежишь? Далеко ли уйдешь? А он отвечает: «День – да мой!»

Вот он как рассуждает. Вырвется на волю и считает: всё мое. Вот человек идет – хочу убью, хочу зарежу – его жизнь моя, и одежка моя, и сапоги то же самое. Не пожалеет, убьет. Потом разденет, разует… Эх, что говорить, одно слово: отпетый. А еще раздобудет у вольных горошину из конопли и всякой такой дурманящей всячины – анаша называется. Один покурит – и давай рыдать, цельный день плачет, заливается. А другой – вот веселится, хохочет. А третий – глядит, на дороге спичка, а он перешагивает через нее, как будто она не спичка, а бревно. Одно слово: наркотик. Такое с людьми делается, даже вам не описать. А вот тот, что нынешней ночью подорвал, так я думаю, что он по той причине, что проигрался. И ему сказали: беги, а то убьем. На побег играл, понятно? А карты что делают, это неописуемо. Один старик ночью пришел, стучит, плачет. Что с тобой? Я, говорит, зубы проиграл. Да, было у него шесть золотых зубов, а он их, прошу прощения, проиграл и вот боится идти в барак, а другой проиграется, от злости руку себе прокусит, а иной от злости как трахнется с верхней нары на пол, в кровь разобьется. А играть не перестает. Нипочем. Ну, что вам тут рассказывать? Одно слово: карты!

Вот поглядите на того человека – он вольный, видите, всё озирается, озирается, чего-то боится, да? У него затмение ума. Был здоровый, хороший. Кончил Лесотехнический институт, работал с заключенными. И вот один заключенный его напугал, схватил за горло. Ведь им, заключенным, что муху убить, что человека – всё одно. И вот он теперь навек больной, напуганный, всего страшится. Ну, что говорить? Одно слово: паразиты! А еще лучше: сволочи!

* * *

Начальство поминает политических добрым словом – с ними не было хлопот, с ними легче было выполнять план. Один майор (он твердо усвоил мое отчество и никак не мог запомнить имя)

произнес о прежнем населении лагеря целую речь:

– Поверите ли, Фаина Абрамовна, такой культурный народ, такой вежливый. Нет чтобы схамить или там выругаться. И не устраивали никаких хаотичных безобразий. С ними куда легче было работать, которые по 58-й статье осу́ждены.

– Теперь их у вас нет?

– Нет, Антонина Абрамовна. Выпустили. Конечно, некоторые, может, и зря сидели. За разговор, например. Конечно, разговоры тоже поощрять не надо, и острастка, безусловно, нужна. Но не десять же лет давать за разговор, верно я говорю, Серафима Абрамовна?

Помолчав, мечтательно добавляет:

– 58-я – она трудолюбивая… (Умолкает.) 58-я – она вежливая… (Мечтательно умолкает.) 58-я – она не грубит, нет, это я вам верно говорю, Анфиса Абрамовна!

Теперь ты поняла, как у нас?[21]

Белоруссия, сентябрь 1960 года

Заседание исполкома в деревне Масоны

Председатель: Исполком считаю открытым. Слово даю Степаненко, бригадиру полеводческой бригады. Он нам расскажет о ходе уборки картофеля и поднятия зяби. Давай, Степаненко.

Степаненко: Ну, что сказать? Дела наши поганые. Все государственные сроки прошли. Трактор день проработает, три стоит. Картоплю посеяно 21 га, выкопано 10. Пока, конечно, колхозник свое не выкопал, на общее поле не пошел. Несознательность! Теперь, конечно, свое выкопали и каждый день по 30 человек на поле, на уборке картопли. Есть такие женщины – Вильбой, Бриль, – что выкапывают по 600–700 килограмм. А есть, конечно, такие женщины, которые тормозят. Ну, конечно, трошки школа помогла, но мало.

Председатель сельсовета: Предупреждаю последний раз: семячек нельзя. У кого назрел вопрос?

– Есть хоть один справный плуг?

– Все три плохи.

– Почему тракторы стоят?

– Запасных частей нет. Гоняем по всей Белоруссии, на Украину заглядывали, нет шестеренки – хочь плачь, хочь помирай.

Встает сивый старичок по фамилии **Давыденков**:

– Погано работаете! Уже не первый раз слышу: части нас угробляют. Сегодня в Белоруссии нет частей – так что ли? Шестеренку достать – целое дело! А ты езжай в Чернигов! Из-под земли достань! С неба бери! Нэма частей? Не хочу того слушать. Нэма частей? Безобразие! А только бригадир сам не зробит! Надо помогать! Дело погано, и стыдно нам. Усе.

Боянок, бригадир тракторной бригады:

– Вот ты не веришь, что нет в Белоруссии запасных частей. А я тебе гово́рю: за три года не удовлетворили ни одной моей заявки – понимаешь, ни одной! Этому винту – пять рублей цена, а я за него сто заплачу, триста заплачу, у меня трактор пойдет, – а винта нет, понимаешь, нет? Ни в райбазе, ни в области.

Еще ты нас срамишь, что мы бригадиру не помогаем. Так в это ж надо вдуматься: для него люди – кто? Для него люди – серая скотина. Пускай выполняют, а на остальное ему наплевать. Для него колхозник – крепостной. Он на людей плюе, он людей нисколько не жалее. До меня ему рукой не достать, я – тракторист, и я сам на него плевать хотел, но я вижу, как он до людей. К нему приходят попросить, а он, как глухой, – не слышит. Я тебе сколь хочешь примеров приведу!

Панченко, молодой колхозник:

– Я не тракторист, я пастух, но и я могу пример привести. Да, я должен копать картошку. Но когда моя жинка пришла до бригадира попросить лошадь, привезти дрова, он ей сказал: «Сама здоровая как лошадь, вози сама».

Чи шо я – дачник? Чи курортник? Нет, я робить не отказуваюсь, но пускай будет справедливость. Вот и Омельченко Антону надо было хлев покрыть, он к бригадиру, а бригадир его… к такой-то матери. А вы слухайте, и не надо насмешки делать. Зачем к матери посылать, если к тебе твой брат колхозник подошел дело попросить? Зачем ты некультурно поступаешь и посылаешь к… такой-то матери? Ну, и на этом я кончу! (Гордо.) Смейтися!

Колхозник **Кравченко**: Я тоже приведу пример. Про Василенка. Кто про него худо скажет? Никто! У него жинка дояркой, дите малое, хлопчик Петро. Сломал он ножку. На медицине гово́рят: сейчас же к хирургу. Василенко к бригадиру – дай, мол, коня, – а бригадир и бровью не повел. Василенко хороший колхозник, и Василенко хлопчика своего на плечах 15 километров тащил. Это как? Надо делать так, чтобы было добре! А не добре – не надо! Ты, Степаненко, в сторону не гляди! Ты слухай!

Председатель колхоза: Нельзя так уж очень говорить! Не так уж дело! Не вполне верно! А устав требует! Забывать нельзя! И

бригадир работает как следует, как полагается, и ты, Омельченко, не ори! Тише, тебе говорят, а то пойдешь из зала! Вот как будет! На исполкоме так не ведут! И выступают одни лодыри!

Колхозница, **Надя Шуман**: Вот у нас завсегда так: скажем, что погано, а на нас орут. Я доярка, меня в колхозе все знают. Я работать уходила, дитя малое к люльке привязувала, он у меня раз через это чуть не задохся. Но что мне было делать? Робить надо, вот я и ходила. И вот седьмого июня надоила я сто одиннадцать литров молока, побачила, а мне записали сто пять! Как это вышло, а, бригадир Степаненко? Если ты так хорошо робишь, как председатель говóрит, почему такое происходит? А, нечего сказать? А почему? Потому, что дисциплина зажата! И критика зажата!

Колхозник **Клименок**: Это кто же лодырь? Я, например, в год тысячу сто трудодней зарабатываю. Я честно работаю, вон еще год не кончился, а у меня – я подсчитал – уже восемьсот наработано. А Степаненко мне: «Иди, борони собой».

А почему? Машины колхозные и все хозяйство колхозное, а не только Степаненкино. Он плуги у себя во дворе держит, он всё хочет в своем сарае запрятать. А он не понимает, что это наше, а не только его. Ты будь с людьми по-хорошему, больше от тебя ничóго не треба.

Колхозник **Сурко**: Всё, что говорили здесь про Степаненко, – чистая правда. Ему бы помещиком быть, а не бригадиром. Вот выкопали мы картошку, сложили где попало, и ее половину уворовали. Я сказал про то старшине. Степаненко спрашивает:

– Ты донес?

– Ну, я.

– Поплачешься, я тебе это вспомню.

Да что я, крепостной у него? Он об скоте думае, об скоте он плаче, а за людей у него душа не болит. Ну, а на дворе, конечно, глыбокая осень и если мороз грянет, картошка замерзне, поэтому надо ее убирать скорей, и это бригадир казав правильно!

Председатель сельского совета **Сергей Андреевич Войтович**: Какие вы имеете возможности? Вы имеете прекрасные возможности. Вот. Это надо понимать. На это нельзя закрывать глаза. Вы должны прислушиваться к критике. И если что не так, можно поправить. Надо было мобилизовать. Принять меры. А меры не были приняты. Надо сделать выводы. А вы выводов не сделали. Это не секрет. И надо прямо сказать. И кое-что правильно в адрес сказали! И надо смотреть правде в глаза! Надо было это учитывать? Надо! Данный участок не был обеспечен? Не был! И это вопрос колючий, скрывать не приходится. Мы примем решение и обяжем, и взыщем. Мы должны выполнять свой устав и

показывать пример. Массовая работа в колхозе запущена! И это надо учесть! И не забывать! И доказать своим личным трудом! Не мешайте говóрить! Не компроментируйте! А то и вывести не долго! Мы здесь будем проводить больше агитации. Поэтому иногда бывают разные случаи, которые! И я надеюсь, что данная бригада скоро озимый сев закончит. И выполнит! Надо обязать! И оказать практическую помощь! И давайте в этой части дело наладим! А если народ ошибся, мы поправим! Усе!

* * *

«Товарищ корреспондент, здравствуйте! Это мое маленькое письмо, которое я пишу вам, есть конечная часть того исполкома, на котором вы присутствовали 30 сентября в деревне Масоны.

На другой день снова было назначено бригадное собрание. Информирует председатель колхоза – Кончис Иосиф Степанович. После краткой информации, касающейся непосредственно уборки картофеля, перешел к вопросу исполкома и заявил, что исполком и выступающие товарищи собрались не поправить дело в данной бригаде, а разложить трудовую дисциплину и опозорить меня в присутствии постороннего человека. Но, говорит, мы об этом поговорим в другой раз и в другом месте, на бюро райкома партии. И еще, говорит, вы специально сговорились, чтобы снять бригадира, а это не входило в повестку дня и в обязанности исполкома. А когда был задан вопрос: а сегодня входит? – ответил: нет. Колхозники спросили: а когда же? Никогда! – последовал ответ. Он говорил еще долго и угрожающе, а кончил так: «Это был не исполком, а концерт умалишенных». И тогда все присутствующие встают и в один голос уходят: «Нам здесь делать нечего!»

Он видит, что дело приняло негодующий оборот и пахне бензином, давай кричать и со слезами: «Товарищи! Товарищи! Товарищи! Стойте, погодите, вы же люди, я извиняюсь, товарищи, я не так выразился!» Но, конечно, многие ушли, и только после этого он стал внимательно прислушиваться к голосу выступающих, а их было много.

И далее: «Ну вот, товарищи, мы и разрешили все вопросы, до десятого октября правление изберет более честного и настоящего бригадира. Всё! Можете расходиться!»

Вот что было у нас на другой день после исполкома, дорогой товарищ корреспондент.

Остаюсь с приветом

Николай Василенко».

* * *

Николай Ганюк: Абрамовна, теперь ты поняла, как у нас? Он так считает: ему одному жить, а всем дру́гим пропадать. Что захочет, то и зробит.

Я – Петя…[22]

Ленинград, январь 62-го года

Детская комната при милиции. Ленинград. Ленинский район.

Большая, просторная комната. Обои веселые – по голубому полю серебристые лилии. Низкий детский столик, белые детские стульчики. На столике кубики, волчок, пучеглазая целлулоидная кукла.

На стенах плакаты: «Водитель! Осторожно, пешеход!», «Транспорт работает для вас, берегите его!», «Ребята, не выбегайте на мостовую!» – кажется, будто единственная опасность, подстерегающая ребят, – трамвай, троллейбус, такси.

В шкафу – толстая тетрадь. Графы: дата, фамилия, имя, что произошло, меры.

Записи: «Моя дочь Ларчина Галя 47-го года рождения, пионерка, не хочет учиться, подделывает отметки, украла у матери два рубля».

* * *

«Сын наших соседей по квартире Волин Коля 11 лет безобразничает: сорвал замок, а в кусок туалетного мыла воткнул лезвие от бритвы».

* * *

«Дочь Лена 15 лет ведет себя плохо, начала, видимо, дружить с мальчиками».

* * *

В графе «меры»: «Проведена беседа воспитательного характера», «Была проведена внушительная беседа».

* * *

Семья Зориных. На них поступила жалоба от соседей: муж – дежурный монтер, жена – продавец в магазине. Оба пьют, дерутся («нарушают общественное спокойствие»). Дети – Надя восьми лет, Оля – тринадцати. Зориной лет тридцать пять. Лицо со следами былой свежести и привлекательности. Сейчас оно опухло, на щеках сизый румянец, глаза красные.

Зорину тоже лет тридцать пять, но он уже лысый. Тощий, дергается, глаза маленькие и бегают. Руки нервные, беспокойные.

Комната – метров тридцать. Высокие ленинградские потолки. Посередине комнаты – большой круглый стол, на нем всякая снедь. Надя (младшая – светловолосая, с двумя косичками) сидит за столом и спокойно ест, не обращая на нас никакого внимания. Старшие настороженно молчат.

Нина Зиновьевна, заведующая детской комнатой при милиции (мне в гороно сказали, что она – замечательный воспитатель и прекрасно работает с семьей) с ходу обращается к Зорину:

– Ну что, по-прежнему пьянствуете?

Зорин: С чего вы это взяли?

Нина Зиновьевна всем телом повернулась к девочке, спрашивает:

– Наденька, а ты что скажешь?

Надя, намазывая хлеб маслом, спокойно и не глядя на Нину Зиновьевну, отвечает:

– Пьет, чего там. Вчера пьяный пришел.

Н.З. Видите. Ребенок не даст соврать. Объясните, почему вы пьете?

Зорин: А как же мне не пить, когда она гуляет (кивает на жену) с мужиками? И сама пьяная является?

Н.З. Почему вы приводите мужчин? Как вам не стыдно?

Зорина: Врет, никого я не вожу. А он меня третьего дня ошпарил кипятком.

Зорин: Врешь! Я нечаянно плеснул.

Зорина: Нет, нарочно!

Н.З. Наденька?

Надя, спокойно, наливая в чай молоко: – Чего там, конечно, нарочно. Взял да и плеснул.

Н.З. Вот видите, что ребенок говорит? И на какие только деньги вы пьете?

Зорин, угрюмо: На свои.

Наденька, наливая чай в блюдце, откликается по собственному почину:

– Какие там свои. Дружка встретит, дружок его и угостит. Чего там…

Н.З. – Зориной: А вы по-прежнему обвешиваете покупателей?

Зорина: И совсем я не обвешиваю. Это я в том магазине обвешивала, а здесь фрукты-овощи, чего тут обвешивать.

Н.З. А домой фрукты таскаете?

– Не таскаю.

Н.З. Наденька?

Наденька не отвечает. Тянет чай из блюдца и молчит.

(Курляндская ул., д.27).

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
(13 января 1962 года)

Небольшая комната в райисполкоме набита людьми: представители гороно, милиции, общественности.

Председатель – Лидия Ивановна Павлова.

Перед комиссией Петя Борисов – четырнадцати лет. Мать – швея в детской больнице. Отчим – старший лаборант в морском инженерном училище.

Поднимается **оперуполномоченный милиции**: Борисов Петр учится в седьмом классе. Летом на даче, гуляя в лесу, нашел ржавый револьвер. Почистил его, привел в боевую готовность. Выстрелил. Зимой хранил револьвер под шкафом. Второе нарушение имело место в школе: из незапертого шкафа взял соляную кислоту и во время перемены выплеснул на ученицу. Привел в негодность одежду и причинил легкое телесное повреждение. Дома ведет себя неважно: на лестницах бьет лампочки. Уроков не готовит.

Председатель, **Лидия Ивановна**: Ну, теперь послушаем Бориса. Борис, говори, как ты дошел до жизни такой. Ну, Борис!

– Я – Петя.

– Это неважно! Говори, Петр!

Петя что-то очень тихо бормочет – слов разобрать нельзя.

– Ты лучше скажи, зачем ты взял кислоту?

– Сводить чернила.

– Образно говоря, хотел подчистить дневник?

– Да.

– Так. Хорош, нечего сказать! Ну, теперь послушаем твою маму. Что вы можете сказать, гражданка Борисова?

Мать (личико востренькое, носик птичий, лоб большой, но не умный): Я его воспитывала. Я его наказывала и ругала. Я ему говорила: Петя, учись, Петя, иди в кружки, Петя, не хулигань.

Карманы проверяла, но ничего такого не находила. Муж мой ему отчим и когда трезвый – тоже воспитывает, а когда пьяный, то стыдно сказать, какими цитатами выражается.

– Так. Теперь послушаем отца. Пожалуйста, товарищ отец!

Отчим: Помимо этого у меня еще дети есть, дочь тридцати лет и сын двадцати четырех. Это мои личные дети. Но я не разделяю – чужой или родной. Старших я не мог толком воспитывать из-за войны. А этот был при мне. Но как его воспитывать, если мать его прикрывает?

Купила ему часы, фотоаппарат, лыжи, коньки, а за какие такие заслуги? Ведь учится плохо. Ну, думаю, не пощажу своим здоровьем и буду летом с ним заниматься. Какое! Мать отправила его на дачу. Там совершается факт выстрела. Зная мой крутой нрав, жена от меня этот факт скрыла. В отношении последнего поступка с соляной кислотой, то это, конечно, безобразие. В отношении учебы видим его явное нежелание. Это направление у него явно выработалось. Ну, думаю, в зимние каникулы я с тобой позаймусь. Какое! Шесть раз на елке, два раза в театре, на катке – несчетно! Это уж мать позаботилась. Это тоже до некоторой степени фактор, но я его любил до прошлого года, пускай он подтвердит. Ну, верно, факт, что я бываю пьян. Не часто, но бываю. Будучи пьяным, у меня появляется придирчивость, не скрою. Я тогда придираюсь и требую. Но я ведь пришел в семью, когда ему было два года. И я не отказываюсь, что я ему самый родной отец.

Лидия Ивановна: Расскажи Борис, как ты оцениваешь свое поведение. Исходя из этого будем принимать решение. Думай скорей, не задерживай! Смотри мне в глаза! Это тебе не шалости то, что ты сделал! Гляди в глаза, говорят! Не притупляй свой взгляд! Герой! Оружие носил, соляной кислотой плескался! А комиссии не отвечаешь! Смотрите, молчит. Дошло до холодного оружия, а мужества, чтоб сказать – «да, я был гадким, плохим», у тебя нет. Ну, говори же!

Петя (тихо). Я исправлюсь.

– С кем дружить будешь? Смотри, дружи с тем, кого тебе посоветуют учителя. К концу четверти, Борис…

– Я Петя.

– Это не имеет значения. Пусть Петя – так вот, к концу четверти ты исправишь свои отметки?

– Да.

– Станешь искренним?

– Да.

– Мужественным?

– Да…

– Так вот, Борис…

– Он Петя!

– Так вот, Петя, ты взял из шкафа соляную кислоту. Говоря образно, ты украл ее. Между тем мы идем к коммунизму. В библиотеках у нас открытый доступ к полкам. У нас принят моральный кодекс, подумай об этом, Боря!

– Я – Петя!

– Пусть Петя. Одумайся! Посмотри мне в глаза! В трамваях и троллейбусах у нас нет кондукторов, а ты, Борис, что делаешь? Если ты себя не исправишь, то будет плохо! Мы будем осуществлять контроль над твоим воспитанием, и твоим родителям мы подскажем, как тебя воспитывать. Запомни это, Борис! Мы выносим тебе предостережение, а также испытательный срок.

Ну а вы, родители, выглядите не в том плане, в каком нужно. Ваша семья готовит моральных калек. Он – уже моральный калека. Предлагаю оштрафовать родителей на 10 рублей и сообщить на работу. Кто против?

Принято единогласно!

Введите следующего!

* * *

Входит Олег Грибов со своей матерью. Мать в модной сиреневой кофточке, на плечах голубой шарф. Рот полон золотых зубов, лицо гладкое – и вообще про таких говорят – гладкая. На руке обручальное кольцо. Мальчишка явился сюда прямиком из самого плохого фельетона Шатуновского: брюки дудочкой, ворот небрежно расстегнут, держится развязно, отвечает нелепо. Во рту тоже блестит золотой зуб.

Оперуполномоченный милиции докладывает:

– В августе этому оболтусу будет восемнадцать. Мать у него продавщица в специализированном военном магазине. Отца нет, отчим – шофер такси. Кончил ремесленное училище, электромонтер, с работы был уволен за прогул. Устроился в ремонтно-строительную контору, но и там прогуливал, предпочитал проводить время на голубятне. Он – праздношатающийся, тунеядец и бездельник. Мать и отчим бессильны на него повлиять. Мы его вызывали, направляли, устраивали. Но толку нет, и нет, и нет!

Лидия Ивановна: Отвечай, почему не работаешь?

Олег: А чего, чего? Куда ни придешь, всюду отказ.

– А почему ты прогулял?

– А чего?.. погода была хорошая… Лето. Все едут за город…

(Чистый Митрофанушка. Глупейшая улыбка, нелепая, развязная манера, говорит в нос, с усмешкой.)

– Ну, а на другой работе заставили бетон долбить, пылища, в глаза летит. Ну, я и не стал ходить… Прихожу через месяц – меня уже уволили по статье 47-Б.

Члены комиссии наперебой: Загнать его в тайгу! К поморам! Туда, где пыль! Грязь!

Кто-то спрашивает: А почему у тебя зуб золотой?

– Мать вставила.

– Гражданка Грибова, зачем вы ему вставили золотой зуб?

– Из прынципа.

– Это как же?

– Муж утащил мое кольцо, а я на его кольцо понавставляла зубов – прынципиально.

– Ну, а что вы скажете насчет своего сына?

– Если можно было бы его убить, я бы его убила. Вот и всё, что я могу сказать.

Наступает тишина. Все несколько подавлены таким заявлением.

Слово берет **зам. председателя домового комитета** – краснолицый, апоплексического вида седой человек, грузный, говорит с одышкой:

– С Грибовым мы вплотную занялись с апреля месяца. Мы ему всё разъяснили, и он вроде бы очухался. Наведались к нему, смотрим – он в кровати с девушкой. Правда, кровать застелена и оба они одетые, однако с девушкой.

Начинается шум:

– Безобразие!

– С таких-то лет!

На лице Олега по-прежнему нелепая улыбка. Мне становится тошно, и я украдкой поглядываю на часы – удрать бы, что ли.

– Как зовут твою девушку?

– Надя.

– А фамилия!

– Не скажу!

Вот тут я подняла ухо. И поглядела на Олега. Улыбку словно смыло.

– То есть как это не скажешь? Сейчас же говори! Мы сообщим куда надо про такую девушку. Сейчас же говори!

– Не буду я ее впутывать.

– Говори сейчас же!

– Не скажу!

(Отвечает без улыбки, спокойно, серьезно.)

– Э, – говорит работник милиции – толстогубый и толстощекий, – на лестнице какая-то деваха стоит – не она ли? Сейчас приведу.

Он выходит. Я от всей души надеюсь, что девушка убежит, не войдет. Но вот открывается дверь, и толстогубый вводит девушку – хорошенькую, с челочкой. На голове пушистый лиловый шарфик.

– Чем же это вы занимаетесь наедине с молодым человеком, а? Не стыдно?

Крепко сжав губы, девушка молчит.

– Вот сообщим вашим родителям, тогда узнаете! Как вас зовут?

– Надя, – отвечает она спокойно.

– Фамилия?

– Кузнецова.

– Где работаете?

– На заводе…

– Адрес, где живете?

– Ул. Моисеенко, д. 8б, кв. 42.

– И не стыдно вам с тунеядцем водиться?

Молчит.

– Ну, уж раз вы дружите, почему не уговорите его работать?

– Я хотела его устроить на завод, да не вышло, завод военный.

Что-то в ее спокойных ответах обезоруживает комиссию. Ее оставляют в покое и кидаются на мать:

– Вы же член партии? Куда вы смотрели? Золотые зубы вставляете, а на работу устроить не можете?

И вдруг **мать** кричит:

– Не буду я его устраивать! Не буду! Если б моя воля, я б его на дубу повесила! Мне надоело с ним возиться, я еще сама жить хочу!

И с горьким плачем выскакивает за дверь.

Олег: Зачем вы нападаете на мать? Ведь это я виноват, я не слушался. Она воспитывала меня как надо, а это я плохой, а вовсе не она.

И помолчав, добавляет:

– Ладно, чего там! Буду работать!

– Ну, смотри! Ждем тебя во вторник в 10 утра.

* * *

Во вторник в 10 утра я тоже прихожу в райисполком. Первая,

кого я вижу на лестнице, – Надя. Оказывается, встала ни свет ни заря, поехала к Олегу, подняла его и привезла сюда к назначенному часу:

– Вы не знаете, он очень, очень хороший. Не курит, не пьет. Он две вещи на свете любит: читать и голубей. Он рос, как беспризорный. Мать его не обижала, но и не касалась. Отчим тоже не обижал. Но и не касался. Он с шести лет к голубям, как безумный, привязался. Ему только и свет в окошке, что голуби. Вот он идет!

Мы разговаривали втроем часа полтора, он поначалу мялся, отвечал односложно. Потом вдруг спросил:

– Вы «Звездный билет»[23] читали?

– Читала.

– Понравилось?

– Очень.

И он тотчас заговорил так, будто мы век знакомы. Как будто услышал пароль. Я сказала, что ответы его на комиссии были нелепы («лето, хорошая погода» и пр.)

– Никому неохота вставать в 7 часов, – говорю я.

Он откликается очень живо:

– Нет, есть такие, что ходят на работу как на праздник.

– Вот и вы найдите такую работу.

– Вот никак не найду.

– Послушайте, – говорю, – вот собаку можно научить – она будет поводырем у слепого, или поноску станет носить, или воров искать. А голуби? Можно их к делу пристроить?

– Нет, голуби – для радости.

И заговорил о голубях:

– Есть голубь – дурак дураком. На чужую будку садится. А есть такой, что скорее умрет, а на чужую будку не сядет. Один такой, его Арго звали, через океаны перелетал. Ах, какие есть голуби, если б вы знали.

* * *

Письмо от Нади

«Привет из Ленинграда. Здравствуйте, Фрида Абрамовна! Извините, что долго не писала, хоть я обещала написать сразу, как Олег устроится на работу.

Олег устроился на завод, правда, ездить на работу ему очень далеко. Не знаю, что дальше будет, но пока он работает.

Мы с Олегом часто ругаемся, но я хочу только одного, чтобы он не сбился с дороги. Одно только от него и надо, чтобы работал.

Если до сентября не разругаемся и дальше будет с ним всё хорошо, то в сентябре пойдем в школу – я в 10-й, а он в 7-й. Надо закончить школу – мне и ему тоже. Хотя бы 7 классов иметь. Даже не знаю, что еще и написать. Если бы были вопросы, то на них легче отвечать. А так кончаю писать.

До свидания.

С приветом Надя.

Жду от вас хороших советов».

Аморальное поведение[24]

Тула, декабрь 1962 г.

Тула. Музыкальное училище им. Даргомыжского. Маленькое, облупленное здание напротив такой же старой облупившейся церкви с куполом без креста. В училище чувствуешь себя, как внутри музыкальной шкатулки: откуда-то доносится вой трубы, где-то поют: «На заре ты ее не буди».

Директор **Евгений Константинович Федоров**:

– Насчет Петровой? Да-с… некрасивая история. Аморальное поведение. Если кратко рассказать, то сообщаю: в прошлом году мы обнаружили ее сексуальную связь с педагогом вокалистом Литвиновым. И поскольку она проштрафилась в сексуальном отношении, мы за ней приглядывали.

Предместкома **Крылов**:

– А почему вы приехали? Мы как будто никого на помощь не звали… хе-хе…

– Корреспонденты не ждут приглашения, сами приезжают.

– А что же вы такая скованная. Посмелее ведите себя! Попроще надо! Пообщительней!

– У каждого свой характер. Я слушаю вас, товарищ Федоров.

Федоров: Да, так насчет Петровой… Занималась она со студентом механического института Жоховым. Готовила в наше музучилище. И всё по вечерам, всё по вечерам… Бац! В какую-то ночь этот самый Жохов не ночует в общежитии. Товарищи заволновались. Ну, а мы его сюда вызвали, поговорили по душам. Он язык развязал, а потом и с письмом явился. Ознакомьтесь…

«Жохов А. А. – учащийся вечернего отделения.

Весной этого года после непродолжительного знакомства Петрова предложила мне помощь в занятиях фортепьяно. Мне эта помощь была необходима, т. к. я хотел поступать в данное муз. училище. Я согласился с благодарностью. Занимались мы почти ежедневно. И каждый раз после занятий я провожал ее домой, по ее

просьбе, т. к. она якобы боялась возвращаться домой одна поздно вечером. Отказать в такой просьбе я не мог, т. к. занималась она со мной совершенно безвозмездно и с моей стороны это было бы просто неблагодарностью.

Однажды она попросила меня зайти к ней. Я поднялся. Я не знал, какую делаю ошибку и, конечно, не думал, к чему это приведет. Так или иначе, эти полчаса превратились во всю ночь, первую ночь, когда я не ночевал дома.

Зная, насколько дорога для меня музыка, насколько я ею увлечен и хочу заниматься, она впоследствии стала играть на этом, используя это в своих целях. Она пугала меня тем, что уходит из училища и уже подала заявление (чего не было, как показал Федоров Е. К.). При этом она говорила, что ни один из педагогов не захочет со мной заниматься, как это делает она. Я по наивности и доверчивости верил ей и убеждал ее не делать этого.

Заявляю со всей искренностью: как педагога я очень ценил и уважал ее, как к человеку, как к женщине я не испытывал к ней никакого чувства и не раз заявлял ей об этом.

Чтобы скрыть эту позорную связь и продолжать учиться музыке, я пошел на обман своих друзей и педагога Крылова В. А., которые высказывали догадки в этой области и предостерегали меня. Однажды на уроке она сказала мне, что она от меня отказывается и чтобы я искал другого педагога. Вы, вероятно, понимаете, что после этого продолжать какие-либо музыкальные занятия невозможно, ибо я к этому человеку потерял всякое доверие. Всё это я высказал ей лично.

Я признаю, что сделал большую ошибку, совершив такой поступок и не сказав об этом раньше. Но прошу понять, что сделал это несознательно, не зная, к чему это может привести. Мною двигало доверие и человеколюбие. Я верил всем ее словам.

Прошу принять во внимание всё сказанное выше и перевести меня к другому педагогу.

Этот случай не убил у меня любви к музыке и веры в лучшие качества человека.

21 ноября 62 г.

ЖОХОВ».

Федоров: И еще прибавил письмецо нашему предместкома Крылову. Вот, полюбопытствуйте… «Уважаемый тов. Крылов В. А., прошу вас извинить меня за то, что в октябре сего года вместе со своими друзьями сказал Вам неправду, скрыв от Вас тот факт, о котором я писал в своем заявлении. И о котором Вы догадывались. Прошу поверить, что сделал это по настоятельной просьбе Петровой Н. С.».

– Мы не так уж домогались, был он у Петровой в ту ночь или

нет, но судя по всему был. И не одну, конечно.

Я вызвал Петрову, чтоб дала объяснение насчет письма Жохова. При этом были Крылов Василий Александрович, парторг Касаткин Николай Иванович, завуч Долгов Александр Васильевич. Она и говорит: нельзя ли наедине поговорить? А я ей отвечаю: не вижу, мол, необходимости. Она прочла письмо и побежала травиться. Ну, через неделю Петрова является. Мы ее сразу вызвали на местком, поскольку бюллетень кончился, а в заключении больницы сказано: «Сознание ясное, вполне ориентируется во времени и в окружающей обстановке». А она опять: я еще не в силах разговаривать. Не в силах – ладно. Проявили чуткость, дали ей отсрочку. Послезавтра местком.

– Могу я присутствовать?

– Отчего же? Пожалуйста.

* * *

Заседание месткома. (Кабинет директора. Преподаватели чинно сидят на диване, в креслах. В стороне на стуле – Петрова.)

Крылов: Мы уже назначали местком, но т. Петрова не сочла возможным пребывать на этом заседании. Мы дали ей четыре дня, которые она неизвестно зачем просила. Сегодня мы должны обсудить вопрос об аморальном поведении Петровой… Я считаю, что письмо Жохова есть продолжение истории о сексуальной связи Петровой с преподавателем вокала Литвиновым. Я считаю, что она дискредитировала себя и больше не может преподавать в Тульском музыкальном училище. Говорите, товарищ Петрова, мы вас слушаем.

Петрова (ей двадцать четыре года, она высокая, черноглазая, очень бледная. Говоря, смотрит вниз): Я взялась подготовить Аркадия Жохова в наше училище. Он очень способный, даже талантливый человек. Но потом он перестал заниматься, потом пропустил занятия, и я сказала ему, что больше с ним работать не могу. И велела поставить об этом в известность завуча.

Всё, что он написал в письме, – неправда. Что его толкнуло на такое письмо – не знаю. Мне очень трудно говорить обо всем этом. Всё!

Крылов: Что-то коротко очень!

Федоров: Мы просим вас ответить прямо: что толкнуло студента написать такое письмо! Надо отвечать прямо, а то придется сидеть здесь десять часов.

Бочарова, хоровой дирижер: Если студент не занимался, вы должны были его заставить!

Петрова: Может быть, я виновата в том, что не сумела его заставить. Но мне нечего добавить к тому, что я уже сказала.

Крылов: Нина Сергеевна, уважаемая, от вашей откровенности будет зависеть ваша дальнейшая судьба.

Бочарова: Зачем нам ваши сказки?

Долгов: Про белого бычка!

Кассирша (поводя плечами): Чего-то я недопойму. Надо бы послушать молодого человека. (Томно.) Какие-нибудь подробности.

Завуч: Почему вы назначали Жохову такие поздние часы для занятий?

Крылов: Да, почему вы назначали ему в девять вечера?

Бочарова: То, бывало, вы давали уроки по пятнадцать минут, а тут вдруг на Жохова вам мало сорока пяти минут стало?

Завуч: Товарищи! Мы отклоняемся. Эдак мы будем сидеть до двенадцати ночи! Стоит вопрос об аморальном поведении, а мы уклоняемся!

Математик: Я считаю, надо позвать Жохова.

Кассирша, проснувшись: Да, да, позвать молодого человека! Подробности надо узнать! Что это, какие дела стали твориться в нашем училище!

Физкультурник: Я все коридоры обегал, нет этого Жохова.

Кто-то: Он в шесть тридцать будет.

Бочарова: Все мы знаем: в таких делах третьего не бывает. Он будет говорить – да! Она скажет: – нет! Чего же мы добьемся?

Математик: Нет, мне все-таки хотелось бы услышать откровенность!

Крылов: Петрова! Есть такая просьба к вам: рассказать всё по существу дела. Если вы коллективу признаетесь, будет лучше. Ваше поведение – это своего рода оборона!

– Это детская игра! Стыдно! Стыдно сказки выдумывать!

Петрова (тихо): Мне нечего добавить.

Кассирша: Нет, пускай молодого человека приведут. Я его желаю послушать.

Бочарова: Дайте мне слово, а то никогда не кончим. Я не верю, чтоб наш советский комсомолец мог написать такое письмо, если бы не было причины. У меня опыт, я таких, как Петрова, насквозь вижу! Сидит в коридоре на диване в юбке с начесом, понимаете, нога на ногу, в зубах, понимаете, папироса – хи-хи-хи да ха-ха-ха. То она в Москве, то она в Тбилиси, то она на экскурсии, то она на Стравинском, то она на Чайковском, и еще студенток за собой таскает! Как вы смели в прошлом году посягать на советскую семью? За такие вещи у нас в Казанской консерватории студентов вышвыривали вон, а тут педагога не

вышвыривают.

Математик (косая сажень в плечах, рубашка красная): Я здесь новый товарищ. Но у меня есть соображения. Педагоги занимаются формированием и воспитанием. Коммунистическая мораль – прогрессивная, жизнеутверждающая. А с Петровой произошел самый низкий, самый отвратительный поступок. Этот поступок ложит на нас темное пятно. Это поступок крайне низкий. Петрова отвергает этот свой поступок, но если Жохов подал такое заявление, значит, этот вопрос назрел. Преподаватель вокала Литвинов защищал нашу Родину, проливал свою кровь, а вы его соблазняли, так мне товарищи рассказали. Нехорошо! Ох, нехорошо! Вы этим толкаете своих студенток на путь разврата. Этот ваш случай ошарашил нас полностью с головы до ног. Поступок крайний, из рук выходящий!

Физкультурник **Злобин**: Уточненный факт: роман с Литвиновым. Это уже само говорит за ее неспособность к воспитанию. Она и к работе относится недобросовестно, я сам у ней на уроках не был, но мне в один голос говорили: Петрова не хотит признаться. Не хотит! А что получается? Жохов увидел в вас не учителя, а… не буду говорить этого слова, вы его сами знаете.

Завуч **Долгов**: Неприятно сидеть на таком месткоме. Нам читают такую сказку про белого бычка и про золотую рыбку. Класс Петровой держится чересчур сплоченно, он сорганизовался в какой-то нездоровый коллектив. После болезни Петрова жила у одной из своих студенток. Вы что – приживалка?

Петрова: После болезни мне было трудно оставаться одной в четырех стенах. И я приняла приглашение матери Тани Репневой побыть у них некоторое время.

Физкультурник, ликуя: Товарищи! Да ведь она призналась! Слышите, говорит, мне одной в четырех стенах неохота!

Женщина из Управления культуры (чуть улыбаясь, протяжно): Ну что ж, человек молодой, ей это не возбраняется, но зачем же со студентом…

Завуч: Вы панибратски обращаетесь со своими студентками… Кто вам дал право устраивать классные собрания у себя на дому? Это непедагогично! Нам надоело нянчиться с вами!

Бочарова: У нас своих дел, что ли, нет? Давайте, зовите Жохова!

Все, хором: Да, надо кончать! Жохова!

Физкультурник: Сейчас сбегаю!

– Идите!

Он кидается к дверям.

Я, тихо:

– Товарищи, опомнитесь!

(Пауза.)

Директор: Да, особой необходимости нет. И так всё ясно.

Крылов: А что, товарищ Вигдорова, вы с нашим коллективом не согласны?

– Да, не согласна. Моя обязанность как журналиста молчать, но…

Крылов, ободряюще:

– Говорите, говорите, мы на вас жалобу писать не станем.

– Пишите. Я привыкла. Что до моего мнения, я считаю: когда Жохов принес такое письмо, ему следовало объяснить только одно: что это – подлость.

Крылов: Э-э, товарищ Вигдорова, вы не правы. Я не вижу ничего такого предосудительного в его письме. Не вижу! Жохов – честный, порядочный человек. Когда он сказал, что ночевал в аудитории, я решил расследовать, где же он ночевал? И он принес это письмо. И здесь всё сказал без обиня́ков. Если мы Петрову оставим, что мы будем говорить студентам? Что мы будем объяснять, раз Жохов такое письмо написал? Вот вы были на уроках у Петровой, какое ваше впечатление?

– Это были замечательные уроки, артистические.

Завуч: Ну, а я на уроках Петровой не был. Неприятно мне было ходить к ней. Нам этот всякий артистизм не нужен. И я считаю, что педагоги увидели подлинное лицо Петровой. Уволить – и всё.

Петрова: Я очень прошу вас: дайте мне возможность довести моих девочек.

Парторг: По существу вы вели себя аморально… Да… По существу… Уволить…

Петрова: Я не дам повода ни к какому новому замечанию, дайте мне только довести моих девочек!

Голосуют.

Все за увольнение, кроме одного человека, кассирши.

– Меня товарищ корреспондент переубедил… – объясняет она.

Директор: Ну что ж, осталось написать приказ. С управлением культуры вопрос согласован.

Письма, январь 1963 г.

«Т. Вигдорова, я один из многочисленных поклонников вашего таланта и вашей жизненной философии.

Но сегодня прочел статью об энском музыкальном училище, и она меня совсем не удовлетворила. Слишком мягко вы обошлись со

всеми этими подлецами.

Хочу рассказать вам случай из жизни. Дело происходило в 1940 году. Я тогда работал защитником при одном из судов Воронежской области.

На одном заседании суда (дело происходило в самой глубине Воронежской обл.) слушалось дело об изнасиловании. Такие дела в нашем суде решаются просто и скоро. Имелось заявление потерпевшей, не отрицал своей вины и обвиняемый, и последовал приговор, насколько мне помнится, 5 лет. Я на суде присутствовал как зритель и как слушатель, активно в этом деле не участвовал. Но что-то в этом деле мне показалось неясным. После приговора подошел к осужденному и спросил, не хочет ли он обжаловать приговор суда. Он мне коротко ответил – «нет».

В зале было много народу – местных жителей этого небольшого села.

Потерпевшая была молодая замужняя женщина, было у нее двое детей. На суде присутствовал и ее муж – в качестве свидетеля.

Дело излагалось так: муж был в поле, на работе, неожиданно возвратился домой и застал жену в растрепанном виде, а навстречу ему выскочил знакомый парень. Жена бросилась к мужу с криком, что этот парень пытался ее изнасиловать. Так было заведено это дело. Все трое были моложе тридцати лет.

После суда, здесь же, в зале, я разговорился с одним из парней, который сказал мне, что это дело совсем не просто, что осужденный парень жил с этой женщиной и, не желая позорить ее перед мужем и селом и спасая ее и ее семью, решился на тюремное заключение.

Не хочу вдаваться в оценку поведения женщины, но этот парень по-настоящему понимал мужскую честь.

Село было небольшое и, наверно, ни для кого не были тайной отношения этих двух людей, но никто в суде не счел возможным заступиться за парня.

Как в свете всего, что я рассказал, выглядит Жохов и местком музыкального училища?

Вот почему я считаю, что с Жоховым и ему подобными надо более жестко обходиться. Ничего хорошего такие люди в жизни не заслуживают и ничего хорошего не сделают.

Самая низменная разновидность шкурников и фарисеев.

М. Малецкий.

Москва, Хользунов пер. д. 18, кв. 205».

* * *

«Не понимаю, тов. Вигдорова, как Вы можете так писать? Чье Вы лицо спасаете? Неужели Вы думаете, что мы поверим Вашей мнимой флегматичности при описании сцены заседания месткома? Эдакой Вашей шалой одеревенелости?

Можно подумать, что Вы находились в состоянии шока, когда описывали эту сцену, а особенно когда еле-еле выдавливали из себя свое отношение к этому безобразному скопищу чудищ XVII-го века! Создается впечатление, что Вы находились в каком-то трансе. Никто не поверит Вам, если Вы нормальный человек, что Вы не возмущались, что Вы не кричали, что Вы не топали ногами при виде этого скопища интриганов и злопыхателей. Уж лучше бы Вы совсем не писали об этом. Кому нужно такое описание? Читателю дорого, читая Вашу статью, разделить с Вами всю глубину возмущения. Поскрипеть зубами вместе с Вами при мысли, что не провалился сквозь землю весь местком этого училища. А директор? Только он и он виноват в том, что, читая Вашу статью, мы, читатели, получили лишнюю моральную травму и испытывали нервное потрясение. А члены месткома, эти ублюдки? Напрасно Вы мечете бисер перед свиньями – обращаетесь к ним с человеческими словами назидания. Надо требовать сейчас же, сию минуту, чтобы в три шеи прогнали с позором директора училища.

Вам я хочу вот что сказать: или Вы неправильно технически, стилистически или художественно описали существо происшедшего момента, или у вас замедленная реакция восприятия! Так же нельзя писать! Нельзя же так беззубо отнестись к этому явлению! И откуда это у вас, журналистов, манера такая – оболванивать читателя! Напрасно Вы думаете, что Вам поверят читатели, что описанный Вами факт – исключительное, из ряда вон выходящее явление! Не заблуждайтесь! Не поверят! А раз так, то ничего не дает вам права считать конфликт исчерпанным в таком плане, в каком вы его преподнесли. Нельзя ограничиться разбором и назиданием. Нет! Вы должны встать и потребовать позорного удаления директора с пожизненным запрещением занимать руководящие должности!

Вот и всё, что я не мог не высказать Вам, просто физически не мог не высказать Вам – иначе бы меня, наверно, хватил бы удар по прочтении Вашей статьи в «Лит. Газете» от 22 января 63 г.

Остаюсь с приветом

Конашов А. Д.

Если хотите, можете высказать, в чем я не прав!

Мой адрес: Сестрорецк, Хлебзавод (Заречная ул., д.5).»

* * *

«Я иногда читаю вашу газету, и вот мне привелось прочитать очерк Вигдоровой.

Мне за 50. Я всегда считал, что на свете дороже всего правда, и придерживался этого. Этому нас учат книги, газеты. Поэтому разоблачен культ личности Сталина. Правда – это компас человечества. А вот у Ф. В-вой сказать правду – это значит сделать подлость. Что же, совершить гадость можно, а говорить, признаться в этом нельзя? Вигдорову беспокоит, что соучастник Жохов нарушил мужскую честь, сказал правду.

Это значит, на мой взгляд, поощрять распущенность. У нас поощряют распущенность в книгах и фильмах.

Известный Нехлюдов всю жизнь терзался ошибкой юности по отношению к Масловой, а теперь люди разрушают семью и всё безнаказанно. В одноименной комедии коммунист разбил семейную жизнь. В к/к «Наш общий друг» семейный парторг спутался с девушкой и т. д. и т. п.

В вашей газете была опубликована автобиография Хикмета, где прямо в стихах сказано: «иногда обманывал женщин, никогда друзей». Вот вам тоже проводник высокой морали.

Нет, надо вмешиваться в чужую жизнь, семью, если там неладно.

А Ф. В-ва со своим глупым превратным очерком потворствует распущенности тем более недопустимой педагога со студентом.

Просьба Петровой к директору поговорить с ним наедине подтверждает письмо Жохова.

Правильно, что уволили Петрову за аморальное поведение.

Очерк Ф. В-вой – вредный.

В. МАЗОВ

М-ва, В-218 ул. Профсоюзная, 31, кв.167»

* * *

«Несколько слов о себе. Я старый, измученный человек, отбыл в тюрьмах, лагерях и в ссылке почти 18 лет. Теперь я реабилитирован.

Много я видел на своем веку, встречал разных людей, встречал и похожих на Жохова, а больше встречал оскорбленных женщин, оскорбленных Жоховыми. Их много – жертв Жохова, есть они и в лагерях.

Про месткомовцев и говорить тошно, очень уж от них пахнет ладаном.

Ведь в сущности что произошло? Жохов предал близкую женщину, как только над его карьерой нависла опасность. К

счастью, жертва не нашла в себе силы уйти из жизни. А если бы, к нашему несчастью, она не выдержала бы «искренних» показаний Жохова?

Право, мы уж очень распустились, никаких обязательств, никакой ответственности, особенно в отношениях к женщине.

Если бы такой Жохов разыграл подобную историю с моей дочерью, с моей сестрой, я бы убил его, как паршивую собаку!

А знаете (а это нужно знать и помнить), как защищались от такого несмываемого оскорбления сами женщины попроще и за которых вовремя некому было заступиться. Я их видел в лагерях, среди бытовиц-преступниц, а герои Жоховы на свободе с обожженной мордой и с черной повязкой над выжженным глазом. Это женщина отомстила за себя, как могла, плеснув в обидчика серной кислотой.

Не отмахивайтесь, не упрощайте этот случай. Женщине трудно. Война, сталинская эпопея многих женщин оставила без друга в жизни. Этим и пользуются Жоховы, устраивая свое музыкальное благополучие.

Женщины в своей тоске по любви, в тоске по своему очагу идут подчас на лишнее. Но мы должны всегда знать и помнить, что в большинстве своем это наши женщины – дочери, сестры, жены павших на войне и бесславно погибших в сталинских лагерях. Они должны чувствовать, что у них за спиной есть сила закона. У нас все должны быть рыцарями по отношению к женщине – сироте.

А Жохова – подлого шкурника, оскорбившего женщину, такого Жохова судить, как насильника.

Л-д, С-131, Дорога на Пруды, 135, кв. 18

Музыкантский.

Не говорили ли Жохову в детстве, что долгом чести пионера является… избавиться от наказания, выдав соседа по парте, разбившего стекло?»

В вагоне, на печке, в хате, на улице…

На вокзале в Мичуринске

Бабка: Плохой поп: пьет, ворует, девушек обманывает. Пускай газета про него напишет, какой он есть плохой.

– Церковь от государства отделена, газета не может вмешиваться в церковные дела.

– А может, государство нарочно такого попа поставило, чтобы подорвать в народе веру? Люди так и говорят: этот поп – от

государства.

Чей-то голос из толпы: Э, бабка, не нам с тобой попов судить. На это черти есть.

Поезд Москва – Гомель

В вагоне напротив меня сидит худенькая, большелобая девушка с глубоко посаженными карими глазками. Работает на стройке маляром. Живет с мужем в комнате, где проживает еще две семьи. («Мы друг от дружки занавесками отгородились. Один сосед до того по ночам храпит… Но ничего, люди хорошие, терпеть можно».)

Зовут ее Люся Андреенко. Едет к свекрови в Новые Бельцы за своей годовалой дочкой. Ей золовка прислала письмо: «Дорогие Люся и Миша, привет вам. Хочу написать пару слов о вашей дочурке Вале. Она болеет. Не ест, не пьет. Детей много боле́е, а одно уже померло. Мать плаче, говорит: потом, если что, будут обижаться. Конечно, может, поболеет и очунеет. Но я пишу, чтоб ежели что – не обижались».

Люся: Вот я вам сейчас про свою жизнь расскажу. Я маленькая была, очень в школу ходить любила. Нравилось мне. И читать, и писать – всё нравилось. Но дома мы голодно жили. Детей много – нас шесть человек было – ни одеть, ни обуть, ни досыта поесть. И отец сердился. Бывало скаже: что у меня в руках, то у вас в зубах, – и правда: половник ли, ложка – что ни держит, тем и треснет: по макушке, по губам. И вот приходит письмо от крестной. Живет с мужем на шахте. Детей нет. Пришлите, пише, мне Люсю, ей у нас хорошо будет. Я и поехала. И правда: очень хорошо встретили и сразу в школу определили. И такая на меня прилежность напала. Если давно не поучишься, так затоскуешь. И вот я пишу и задачки решаю. И крестная справила мне фланелевое платье и купила башмаки с калошами… А я опять тоскую… а чего я тоскую? Домой хочу. Я думаю: булыжники стану носить, траву буду есть, только домой. И почему такое? Крестная платье справила, и башмаки купила, и книжки, и никогда пальцем не тронула: живи, Люся, учись, в техникум определим, замуж выйдешь. А я – домой. И всё тут… Как вы скажете, почему такое?

Автобус Гомель – Красноселье

За окном всё темнеет, темнеет и вдруг – будто кто-то выключил свет, становится совсем темно.

В автобусе дымно от курева, очень тесно и шумно. Все знают

друг друга, кричат, переговариваются. Гармонист играет на хриплой гармонике.

Вдруг какая-то женщина выскакивает на дорожку между скамейками и начинает плясать, за ней следом – другая. Кто-то кричит: «Ипат, лови!» – и над моей головой, чудом не задев меня, летит большой зеленый арбуз. Какой-то дядька обнимает немолодую женщину в низко повязанном платке. Она сидит с покорным выражением лица, смотрит перед собой пристальным и почему-то мне кажется – невидящим взглядом. Рядышком сухонький старичок опирается на суковатую палку и поет:

Канцы гребли, шумят вербы,
Что я посади-и-ила.
Нема того, миленько-ого,
Что я по-олюби-и-ила.

И вдруг дядька, который обнимался, говорит:

– Ты откуда?

– Из Москвы.

– О! А куда?

– В Борисовку.

– А тебя встретят?

– Не знаю.

– Пойдешь ко мне ночевать.

До этой минуты мне было скучно, неуютно: не люблю приезжать в незнакомое место ночью. Что делать, куда постучаться? Но когда этот дядька сказал – не спрашивая, а утверждая: пойдешь ко мне ночевать, – мне стало совсем неприкаянно. Я ничего не успела ответить, моя соседка сказала:

– Зачем это она к тебе пойдет? У меня хата рядом с магазином. Пойдешь ко мне?

– Пойду.

Старичок, что пел про вербу: – Ты сколько классов кончила?

– Я институт кончила.

– Чего врешь!

– Я не вру!

– Такого росточка – институт?!

* * *

– Мы сейчас пообстроились, а что было, что было… Жили в ямах, а пришли домой, гляди: ни колочка не оставил. Голая земля, всё пожег. Никого не пожалел, всё пожег, людей спалил, и

дитяток спалил. Лежит дитятко, ножки сгорелые, а рядом матка лежит, кишки наружу – своими глазами видела. Я сейчас как услышу про войну, сразу хочу увмерти. Чтоб сразу, чтоб не мучиться. Как подумаем, что война, так и жить не хочем.

– Ну! Интересно пожить. А помереть – и-и-и! – помереть поспеем.

* * *

О войне тут говорят так, будто она была вчера. Каждое третье слово – война. «Он» – немец.

Идешь лесом – могила, крест. Идешь полем – огорожен пустырь – тут стояла деревня, ее спалили: и хаты, и людей.

* * *

«Я, Войтович Настя Прокоповна, работала у колхозе, три года доила коров и четырнадцать годов пасла колхозный скот, и истратила свое здоровье и стала инвалид без обеих рук. А сейчас колхоз мне ничего не платит. Моя дочь солдатка, и у ней грудной ребенок. Она просила: дайте мне такую работу, чтоб я могла смотреть и дитя, и мать. Председатель сельсовета ей отказал. Дочь ему говорит: а если я пойду в район, там попрошу? А он ей ответил: обращайся хоть до Хрущева, а здесь я старше всех. Ты хоть и жена военнослужащего, а я имею полное право тебя повесить, унести с ребенком и растащить твой дом по полену, и ты нигде не найдешь права. И еще он всякое орал и выражался нецензурным словом. Это всё длилось и продолжается. Товарищ корреспондент, помогите».

* * *

Фельдшер Курако – высокий, сухопарый, с умным, красивым лицом. Ему лет пятьдесят. Говорит раздумчиво и всякий раз поясняет: вот в таком смысле… Его жене тридцать восемь. Она мне сказала, когда мы остались одни:

– Мне было 23 года. А у него жена померла. Ему всё равно домработницу брать. А мужиков мало. Ну, я и пошла за него. Хлопчику было шесть лет, я его воспитала и до того сильно полюбила. А теперь хлопчик женился. Девушка такая быстрая, такая быстрая, что и зарезать может.

– Это почему же?!

– Злая. А если злая и быстрая – зарезать может.

* * *

Старуха с исхудалым лицом, ввалившимися глазами. Платок повязан по самые брови.

– Колотись, бейся, а всё надейся! А на что мне надеяться? Не на что, не на что мне надеяться. Мне только и ходу, что из ворот да в воду. Вот послушай мою жизнь. Я с пятого года. Евсеенко. Ольга. А по первому мужу – Янеченко. Строили мы с тем мужем хату. Сенцы трохи не кончены были. Такая хорошая была хата, такая добрая была хата. Вот только сенцы трошки не кончены были. И война. Было пятеро детей – померли, был муж – убило. Плакала, плакала, все очи выплакала. А потом опять замуж пошла за Евсеенко Трифона Кондратьевича. Вдовец. И дочка у него. Девять годочков. Стали мы все вместе жить. И я сироту не обижала, у кого хочешь спроси. Я ее как свою любила, вырастила, я сильно ее жалела.

А потом муж мой помер. Остались мы вдвоем. И опять хорошо жили. А потом она замуж вышла и стала у меня хату отсуживать. За что, за что, скажи мне? Не хочу после этого на свете жить! Да попроси она, я сама бы на нее хату перевела. Я ее сама спрашивала, что тебе в приданое – корову? Телка? Я всё, что она просила, отдала. Да что мне надо? Мне бы только тихо свое дожить, зачем она меня так обидела? Зачем в суд пошла? Зачем доказувала, что хата не моя? А когда я в больнице лежала, она страховку на себя перевела. Я Маню, племянницу, позвала со мной жить. Она с мужем пришла, с Иваном, пришла и живет. И с детками. А хату суд надвое поделил. А Иван говорит: ты помрешь, меня из хаты выгонят. Надо мне другое жилье подыскивать.

Если Иван уйдет, я хату подпалю и сама сгорю! Не буду жить! Не хочу!

* * *

На печке тепло, сонно. Катя рассыпала сушить маленькие дикие груши. Мы сидим, поджав ноги, и поем. И вдруг Катя спрашивает:

– А как у вас в городе поступают, если человек бегает до чужой жинки?

– Иногда разводятся… Иногда в отместку начинают бегать до

чужого человека. По-всякому поступают. А у вас?

– У нас жинка говорит разлучнице: ты такая, ты сякая. Если вместе застану – стекла побью, рамы повыворачиваю. И в морду плюне. И гово́рит: я тебе ще не так зроблю.

А я так думаю, что в морду плевать надо человеку, а не разлучнице. Как вы думаете?

– Я тоже так думаю.

– Мне Николай говорит: смотри, если что́, я тебе голову отрежу. А я ему – если что, я тебе и не то еще отрежу! (Помолчав.) Нет, я ничо́го не кладу на разлучницу, а только на человека. А вот что я вам кажу про нашего председателя и его Софью. Полюбил председатель ветврачиху. Красивая. Только бровей нет, она пише брови прямо на тело черным карандашом. Никто про их любовь не знал, а как узнали – сразу к Софье. Софья ей письмо: отстань, а если не отстанешь, всё человеку в армию отпишу. А та ей пише в ответ: ты баба деревеньска, тебе бы только языком трепать, не понимаешь: у нас така работа совместна. Он – предколхоза, я – ветврач, нам друг без друга невозможно.

Но – отстала. А человеку всё равно в армию ктой-то написал. Да…

А Софья своего мужика сильно к рукам прибрала. Он ей теперь воду из колодца носит, а раньше не носил. А как начинают про любовь спивать, Софью аж знобить. И очи слезой поволакивает. А председатель хорошо поет…

Перед моим отъездом председатель позвал меня и моих хозяев в гости. Пили, ели, пели. И Софью знобило. И очи заволакивало… А Катя под столом толкала меня: смотри, мол.

Потом она велела мне спеть «Миленький ты мой». Я спела. И Катя воскликнула: «Всё по правде! Каждое слово!»

* * *

Николай (Катин муж): А как ты, Абрамовна, полагаешь, что с людьми, когда помрут? Слышат они, знают они, что на свете делается? Нет, верно, не слышат. Слышали бы, не терпели бы. Ленин, если б знал, что без него робят, – встал бы. Он бы Сталину не простил. А Сталин знаешь, что робил? Ему кто поперек каже, он того туды… Сама знаешь, куды… Старики гово́рят: он если бы еще пожил, мы бы все загнулись. А Хрущев хочет людей накормить. Это мы ценим. А кто с ним робит из старых? Микоян, а ще? Нет, Суслов, Косыгин – это из новеньких…

* * *

Я: А почему бы вам не прорыть артезианскую скважину для людей?

– Что вы, мы дайже скот еще не весь обеспечили.

(село Борщовка Гомельской обл.)

* * *

Иду ночью по Трехпрудному переулку. Позади двое.

Она: Тебе от меня сегодня не уйти, знай, не уйти!

Он: Нет, уйду.

– Не уйдешь!

Он, пренебрежительно: Эх ты, кукла…

Она: А ты кто?

Молчание.

Он: У тебя своя семья, вот и живи – что тебе от меня надо? Посчитай, сколько детей у тебя.

Она: Ты о моей семье, о моих детях не печался. Ты меня от семьи три раза уводил. Зачем ты меня увел в августе? Я тебе сказала: не тревожь меня, я забыла, живу спокойно, уходи. А ты меня увел – зачем? Скажи – зачем?

Молчание.

Он: Всё равно я жить не буду.

Она: Ну и не живи, умирай, похороним!

Он: С тобой жить не буду!

Она: А я буду.

* * *

Детский дом. За мной ходит мальчик лет одиннадцати. Вдруг спрашивает:

– Правду говорят – вы письменница?

– Да вот, говорят.

– А вы умеете как Жюль Верн?

– Нет, как Жюль Верн я не умею.

– А почему?

– Не умею так хорошо придумывать, как он.

Помолчав:

– А стихи умеете?

– Нет, не умею.

– Что, нескладно получается?

– Да, знаешь, не очень складно.

Молчит.

– А вы постарайтесь, постарайтесь, чтоб – как Жюль Верн!

* * *

В общем вагоне. Старик лет семидесяти с больными, в язвах, руками рассказывает:

– Поставил себе сараюшку, огородик завел, живу. Скучно: один. Но ничего, живу. И летом огурец у меня и помидор. Живу, не тужу, старуху вспоминаю.

И вот, ни с того ни с сего – чирьи, на ногах, на руках, по телу пошли, на морду кинулись. Мокнут, сволочи. Пришел в больницу, а меня тут же и оставили: лечись, мол. Лечили-лечили – и что вы думаете? Вылечили.

– Как же вылечили? Вон у тебя руки какие.

– Погоди, имей терпение. Слушай. Вот вылечили и пошел я домой. Прихожу, а сараюшки нет. Что такое? Где мой сарай? А соседи говорят: приезжала твоя дочка, говорит: слышала я, отец помирает. Возьму-ка я сарай себе. Мы ей: погоди, может, не помрет еще. А она: помрет!

И сломала сарай, все доски до последней, все увезла. И что вы думаете? Чирьи опять на меня кинулись. В ту же ночь.

– Куда ж ты теперь?

– К сыну. Только возьмет ли меня, такого паршивого?

* * *

В том же вагоне старая мордовка с мальчиком лет шести. Лицо мальчика голубовато-бледное, очень худенькое, глаза большие.

– Он в больнице лежал. Выздоровел, а родители за ним не приехали. Месяц не едут, два – не едут. Сидит мальчишка на крыльце, ждет, смотрит на дорогу. Мать есть? – спрашиваю. – Есть, – говорит. – Отец есть? – Есть. – Что ж не забирают тебя? Молчит.

Что ж ему, жизнь на крыльце сидеть? Взяла его к себе, пусть у меня живет.

* * *

На Тарусском кладбище, на похоронах Петра Ивановича Голышева представитель министерства говорил так:

– Автомобильная шарикоподшипниковая промышленность потеряла в лице Петра Ивановича… Подшипниковая промышленность никогда не забудет… Подшипниковая промышленность обязана Петру Ивановичу…

В толпе стояла женщина. Она всё терпеливо и покорно слушала, а потом сказала:

– Спасибо ему, что он с наших плеч коромысла снял.

(Петр Иванович помогал строить в Тарусе водопровод.)

* * *

Дни XXII съезда[25]. На Красной площади толпы народу. Группы по сорок-пятьдесят человек. Но говорят двое-трое. Остальные слушают.

Молодой грузин говорит:

– Он имел заслуги.

– Какие такие заслуги? Какие такие заслуги?

– Он имел заслуги, – подтверждает человек на костылях.

– У него вся морда в крови, – говорит женщина, по виду домохозяйка, и проводит рукой по лицу.

– А кого он сажал? – говорит человек на костылях. – Никого он не сажал. Вот я, например…

– Не знаю, как вы, а у меня он посадил мать и отца, и оба не вернулись. – Это говорит человек лет сорока с интеллигентным лицом.

– Ну, хорошо, – вступает толстощекая женщина с ярким маникюром. – А зачем надо было на весь свет орать? Почему нельзя было тихо? Вот наш заведующий парикмахерской тоже пришел в зал и прямо при клиентах стал ругаться, зачем одеколону много уходит. Зачем же при всех? Почему нельзя было тихо?

– Да, не нашего ума дело. Был хорош, хорош – и вот тебе.

– А Мао-дзе-дун нам этого не простит. Теперь всё.

Рядом стоит милиционер. Молчит. Не вмешивается. Вокруг него бегает маленький человечек в кепочке:

– Почему молчите? Почему не прекратите это безобразие? Почему не вмешиваетесь?

А милиционер молчит.

(Москва, Красная площадь.)

Вокруг статей

Я буду здесь иногда писать «мама», иногда «Фрида Абрамовна», а иногда «Ф.А.» – как получится.

В мамины статьи была вовлечена вся семья. Всё это обсуждалось дома, бурлило и клокотало. Те, за кого мама собиралась заступаться, становились – нет, конечно, не членами семьи, но важными для нас людьми, мы за них болели, мы им сочувствовали. Потом мама ехала в командировку. Иногда надолго. Из дальних командировок она посылала письма: и нам, и своим друзьям. Наконец, мама возвращалась. Писала статью. Мы с сестрой, конечно, пока не выросли, шумели и мешали ей работать: все-таки жили в тесноте, в коммунальной квартире. Вот что пишет Лидия Чуковская в книге «Памяти Фриды» (изд-во: “Гудьял-Пресс”, Москва, 2000 год, глава «Зубами»):

Кто бывал у Фриды на Ермолаевском, тот помнит эти две крохотные узенькие комнатушки, из которых в одну можно было попасть сквозь тесноту другой, где даже самые необходимые вещи казались излишними; комнатушки, из которых в коридор потихоньку выносили один-два стула, чтобы гость мог беспрепятственно войти в дверь. Как размещались там, жили, обедали, спали, работали пять человек – для меня всегда оставалось тайной, особенно трудно было вообразить себе, как могли там писать свои книги двое профессиональных литераторов.

Но вот статья написана. Начиналась эпопея с ее напечатанием. Я в детстве была убеждена, что это такой необходимый этап: «пробивание» статьи. Статью сперва пишут, а потом долго «пробивают»: а как же иначе! Каждая, буквально каждая мамина статья проходила с большим трудом. Сегодняшнему читателю может показаться, что ничего особенно крамольного в ее статьях и нет, но по тогдашним меркам приходится только удивляться, что статьи эти всё же публиковались. И публикация никогда не была конечным пунктом пути. Ведь самой важной была реакция на статью: подействует она или нет? Освободят ли мальчишку из лагеря («Кем вы ему приходитесь?», стр. 28)? Возьмут ли куда-нибудь на работу уволенную учительницу музыки («О понятиях совсем не старомодных»[26])? А пока суд да дело, учительница эта живет у нас дома, и мама не спускает с нее глаз: ведь она уже пыталась покончить с собой, когда ее шельмовали сослуживцы (об этом эпизоде пишет Лидия Корнеевна Чуковская в «Памяти Фриды», в главе «У Чарльза Диккенса спросите»). И так далее.

Я попробую рассказать о том, что происходило именно вокруг маминых статей, отобранных нами для этой книги. Рассказать не только как дочь и свидетель маминой работы, но и как человек, выросший в то время, помнящий, как причудливо была устроена советская реальность, внутри которой мама умудрялась находить способы помочь и быть услышанной.

На примере статьи «Кем вы ему приходитесь?» я хочу показать весь ход спасательной операции – от причин, побудивших маму включиться в дело, до полной ее победы.

Из письма Ф.А. в Ленинград Е. Г. Эткинду[27] от 6 марта 1959 года.

Надо было вызволить из тюрьмы одного парнишку. Ко мне обратились его учительница, мать, товарищ, подруга. Но я вбила в свою дурацкую голову, что прежде, чем писать, мне надо его увидеть. Три недели «Комс[омольская] пр[авда]» добивалась свидания. Каждый вечер мне звонила его мать. Или подруга. Иногда – учительница. Свидания не давали. Наконец, вернулся из Капри Аджубей[28]*. Он позвонил (тоже не сразу) самому Дудорову*[29]*. Тот разрешил.*

Я, счастливая, лечу в Матросскую тишину[30]*. И начальник тюрьмы встает мне навстречу: «Очень прошу извинить, что не проверил. Вашего С*[…]*ва*[31] *третьего дня отправили в Северо-Уральские лагеря».*

Я думала, умру. Вы говорите, я чернею. Тут я, должно быть, стала черная, как уголь. Конечно, я поеду в эти Северо-Уральские лагеря. После 20 марта, потому что он не скоро туда попадет. Этап долгий. Но почему так случилось, что мы не добились своего на два – ВСЕГО НА ДВА ДНЯ – раньше?

Скорее всего, МВД специально услало мальчишку в далекий лагерь, надеясь, что в такое долгое и трудное путешествие мама не отправится.

Вот что пишет Лидия Чуковская в очерке «Сколько станет сил»[32]:

«– Зачем вы едете? – спросила я однажды у Фриды Абрамовны, узнав, что она снова отправляется в трудную и дальнюю командировку. – Все обстоятельства дела вы и без того изучили досконально. О мальчике вам так много рассказывали – учительница, товарищи. < … > Вы им не верите? – спросила я.

– Нет, верю. Но я должна сама его увидеть… услышать голос… понять. Иначе не напишу ни строки. Что с ним случилось? 17 лет был хорош, и вдруг, за 17 дней, чуть остался на лето без матери и сестры, спился и сделался вором… Что ж его держало раньше? И что в нем с такой быстротой надломилось? Пока я этого не пойму – я бессильна».

И наконец, уже после того, как мама побывала в лагере (с чем ей там пришлось столкнуться, читатель узнает из «Блокнотов журналиста», стр. 109–112, и из «Блокнотов писателя», стр. 345–346) и добиралась домой, она шлет короткое письмо Эткинду 10 мая 1959 г. из населенного пункта Гари в Зауралье, откуда ей пришлось потом лететь (впервые в жизни!) в Свердловск:

Милый друг, завтра я улетаю отсюда. Лечу я впервые, и поэтому мне в голову приходит всякая чепуха. Мне охота попрощаться – на всякий случай.

Сюда я приплыла на катере. Отсюда (из Гарей) ехала до лагеря на дрезине. Теперь – лечу.

Вот сколько видов транспорта.

Мальчик не запал мне в душу. Но писать – надо.

Вот если долечу – напишу.

Мама прислала перед полетом письмецо-записку и нам с моей сестрой Галей – «на случай»: «Галя и Саша, – писала она, – любите друг друга. Саша, не мешай папе жениться».

Папа был очень недоволен. «Что ж, – говорил он, – каждый раз, как ты куда-то уезжаешь, Галя и Саша должны срочно любить друг друга, а Саша – не мешать мне жениться?!»

Казалось бы, после очень нелегкой поездки в лагерь мама могла бы вздохнуть, но нет: оказавшись по пути в Москву в Свердловске, она едет в инвалидный дом, где на нее проливается целый поток людских горестей и несчастий. В письме к Эткинду от 13 мая 59-го г. она пишет:

Я вернулась из лагерей. Нынче съездила в район, в Дом инвалидов, где живет Анна Никифоровна Валюкевич, моя читательница, с которой я переписываюсь уже девятый год. Рассказывала ли я Вам о ней – не помню. Она терпеливо, с надеждой ждала третьей части[33]*, где должна была появиться ее умершая дочка, я обещала ей это.*

И еще она ждала меня. Я обещала, что когда-нибудь непременно приеду. И вот я приехала. Милый друг, этот дом страшнее, чем то, где я была. Там у многих – молодость, здоровье, а значит, и надежда. Здесь же ни-че-го. Болезнь, старость, одиночество и директор, который орет: «Кормят вас тут, дармоедов».

И врач, который говорит: «А чего вас лечить, вы тут народ списанный».

И корпус, где на 60 лежачих больных одна санитарка. Сестра Анны Никифоровны – она тоже там, ей 72 года:

– Мне директор запретил собирать землянику. Это одна моя радость, а он запретил. Говорит: «Если можешь собирать землянику, можешь и на прополке работать. Иди на поле, а то

выгоню».

У меня кровь от рук от ног отхлынула, вдруг вправду выгонит? Пошла я на поле и там под солнцем сразу память потеряла. Что же мне, думаю, сейчас делать? Вот придет лето, а мне в лес не идти? Это такая мне радость: ползу на коленках и собираю ягоды. А теперь как же, не идти?

Я сказала, чтоб шла. И отвечала бы, что это я ей разрешила. Его, подлеца, не было на месте, он уехал в Свердловск. А у нее глаза блеклые, голубые, знаете, у стариков такие бывают, и выражение в них какое-то молящее. «Не обидь», что ли.

Сейчас я соображаю, что бы такое сделать с этой сволочью – директором. Нет, всё, что я Вам пишу, – ничего не объясняет. Я приехала оттуда раздавленная, уничтоженная.

Мама пишет в газету «Уральский рабочий». В ее блокнотах сохранилась заготовка письма:

А, главное, есть равнодушное, грубое, наплевательское отношение к людям, которые прожили до старости не в безделье и роскоши, а в работе, в труде. Люди, которые имеют право на отдых, на покой в конце своей нелегкой жизни.

Тов. Петров, я очень прошу послать в Старопышминск журналиста, который смог бы внимательно ознакомиться с работой Старопышминского инвалидного дома, разобраться, почему так скверно работают директор Смирных и врач Чирков. Я думаю, что статья в «Уральском рабочем» очень помогла бы и в смысле собеса, и в смысле хороших шефов.

Я не знаю, появилась ли статья в «Уральском рабочем», но хорошо помню, что Анна Никифоровна писала маме, что корреспондент оттуда приезжал, испуганный директор притих, врач стал выписывать лекарства, и жизнь в инвалидном доме потекла по более нормальному руслу. А мальчика (в статье мама называет его Виктор Петров) из лагеря – не сразу, но в тот же год – выпустили, и я помню, как он приходил к нам домой – еще с обритой головой.

* * *

Но, конечно, не только чужих, незнакомых людей мама защищала. У нее была младшая подруга, ленинградская учительница Наталья Григорьевна Долинина[34], известный журналист. Она всегда говорила, что писать статьи начала благодаря маме. Приведу отрывок из статьи Н.Г. о ней[35]:

«Я сразу стала рассказывать о школе, где работала, и просить, чтобы она написала статью о том, что казалось мне тогда самым

важным в школьных делах. Она слушала всем лицом – даже глазами, – а потом сказала:

– Вот вы и напишите про это статью.

Никогда в жизни я ничего не писала. Но она сказала это так, что я не могла возразить. Наверное, месяц мучилась над этой первой статьей, все Фридины друзья, живущие в Ленинграде, мне помогали. Потом послала статью Фриде в Москву. Она ничего не исправила и отнесла в «Литературную газету». Статью напечатали.

Несколько лет потом я все свои статьи и очерки сначала посылала Фриде, а затем – в редакцию. Она почти никогда ничего не исправляла – только писала мне, понравилось ей или нет. А я даже не осознавала, сколько отнимаю у нее времени, не понимала, что таких подшефных, как я, у нее десятки…»

И, конечно же, когда в Ленинграде Н.Г. начали травить за «неправильное» выступление на встрече со студентами в педагогическом институте, мама мгновенно прервала свой визит к Надежде Яковлевне Мандельштам (в Псков), устремилась на защиту Долининой и написала статью «… Извлекает искры» (стр. 37). Рукопись этой статьи она послала Надежде Яковлевне, и та ответила ей письмом, которое я здесь привожу:

22 декабря

Дорогая Фрида!

<…> О статье… Она, конечно, еще композитивно не сделана. Не пройден этап, когда вещь режется на куски и переклеивается. Но ведь дело не в этом, а в сути. «Известия» хотят уточнения в сути?

Сказано много. Главное, что Долинина могла за пять минут разрушить то, что внушали годами эти отлично оплачиваемые специалисты. Я думаю, что под такими высказываниями нужно называть фамилии сказавших, иначе не внушает доверия. А это факт, что на кафедре педагогики так сказали[36]*. Привычка к охранительной политике (вроде таможни) – пошли вон все, кроме меня, тогда меня будут слушать – привела к тому, что они уже себя не слышат и могут сболтнуть всё, что угодно. Потеряли даже лицемерие и дипломатичность. Куда они послали свой протест? Есть два слуха – в «Известия» же, другой – напечатали в Ленинграде. Чем это грозит Долининой?*

Ее я тоже не понимаю, хотя хорошо, что она ворошит их. Энтузиазм и талант – вот что она проповедует, плюс аскетизм. Неправда, что не бывает средних учителей начальных школ. Дай Бог, чтобы они были средними. Сейчас реальная задача бороться именно за средний уровень, а его нет. Плохо то, что поднимается не поддержанное средним уровнем. Это и есть «декадентство».

Средний уровень – это основа культуры. Не дай Бог – отдельные бледно-зеленые побеги. Та мертвая зелень, которая, поднимаясь, падает. Как прекрасна средняя грамотность, умение почитать детям «Тараса Бульбу» и Майкова, которые были раньше у учителя городского училища. Мне это ни на черта не нужно было. А это и есть – средний уровень. И без энтузиазма – просто «пальчиком водя»[37]*. Еще меня интересует, что выходит из учеников Долининой. Она этого еще не знает. Вот у Пинского*[38] *выходило… Чорт его знает как…*

Рассуждение о любви к каждому ученику – чистая истерия. Интерес – да. Умение – да. Что за любовь? Не слишком ли… Вообще любовью не стоит бросаться. Есть чувство ответственности, и его у нас не развивают. И его нет у нас.

А вот что педагогику она покрыла, это хорошо. И что педагогические слоны, проповедующие любовь (они это тоже делают), разозлились, тоже хорошо. Очевидно, вам надо бить слонов покрепче.

В вашей статье правильные вещи часто не подкреплены. Скажем, что педагогика никуда не годится, что идет процесс «перекачки знаний» (знаний ли?), механизация и всё прочее. На «перекачку» я бы сказала «сведений» (или еще хуже как-нибудь) работают частные методы – кн[ижная] педагогика стремится разработать несколько сотен готовых фраз, заменяющих мысли и взгляды. Чорт с ними, хотя сейчас всё это очень важно. И мутить их, как Долинина, может, и стоит, хотя она все-таки вырывается из общего круга понятий… Жаль, что я об этом пишу.

Целую. Н. М.

26 декабря

Знаете, Фрида, я еще раз прочла статью и подумала: всегда нельзя всего говорить. Ограничения пространства и времени. Условности, приличия. Говорит только литература. Иногда…

А иногда она, говоря, замкнута и застегнута на все пуговицы (Пушкин – зрелый).

В этом ли дело? Скорее всего, дело в «ценностях». А о них всегда плохо говорили. Они всегда попадали в казенные руки.

Дело в воздухе. А воздух хороший. Вернее, будет хорошим.

Завтра 25 лет со смерти О[сипа] М[андельштама]… Я читала дневники Блока. Знаете что, у нас жизнь была лучше. У нас была реальность. Это огромная сила и счастье. Он сходил с ума до революции от отсутствия реальности. А потом вдруг понял, что за то отсутствие воздуха надо расплатиться, чтобы потом всё стало на место. Это почти мелькнуло. Но это сильно. Дневники надо прочесть. Они изданы с добавлениями.

Как будет со статьей? Ее не напечатают? А надо бы… Пришлите следующий вариант. Меня очень волнует ее судьба (несмотря на холодность к концепциям Долининой) – т. е. и статьи, и женщины.

Похвалите нашего директора[39]*. Он прелесть совершенная. Это в связи с Саймой*[40]*. Он встал на дыбы и заявил, что никому не позволит пикнуть. <…> Он Сайму в обиду не даст. Очень расспрашивал, чем помочь. Хорошо? Это редкий для его положения человек.*

Целую вас
Н. М.

Разумеется, и маму друзья поддерживали, многое она делала не одна. Та же Наталья Долинина и другие ленинградские – и не только ленинградские – друзья Ф.А. участвовали в борьбе за Бродского. Лидия Чуковская в «Памяти Фриды» пишет, что Наталья Григорьевна, сидевшая во время суда рядом с мамой, рассказывала, как, когда Бродскому зачитывали приговор, мама всё сильнее и сильнее сжимала ее руку – так, что на запястье остался долго не проходивший синяк.

Вот что говорит дочь Н.Г. Татьяна Долинина, которой в пору суда над Бродским было 13 лет[41]:

«Когда Фрида приехала на первый из двух судов над Бродским, она после суда вечером пришла к нам. Я сидела за машинкой, мне дали эту запись и сказали: пока мы тут выпиваем, ты немножечко попечатай. Я печатала. Немножечко. Страничку. У меня в руках был один блокнот. Потом мама села, она очень быстро печатала, профессионально. Печатали все по очереди. Фриду жалели. Она **пришла с суда потрясенная…** Я очень хорошо помню: она пришла, Эткинд пришел. Я печатала. Я печатала медленно и очень старалась. А некоторые слова не разбирала и подходила к тете Фриде и говорила: «А тут что?» У нее был понятный почерк, но она что-то сокращала, естественно… Ну, обсуждали, что делать дальше… Просто надо было сразу быстро сделать какой-то, хотя бы черновой, экземпляр. Почему-то им было это нужно».

* * *

Мало кто это знает, но задолго до дела Бродского у мамы была еще одна запись суда, имевшая эффект разорвавшейся бомбы и даже обсуждавшаяся за границей. В этом случае мама подсудимого не защищала, а наоборот, как и прокурор, обвиняла,

но и виноватым считала не только его. Я говорю о статье «Преступление и выводы из него»[42] про 15-летнего убийцу, генеральского сынка Бориса Журавлева (полностью запись суда мы даем здесь в «Блокнотах журналиста», стр. 88, а не в сильно урезанной газетной версии). Она была напечатана в 1955 году, в самом начале Оттепели. Да, Оттепель… И тем не менее ни до, ни после этой статьи ни при Хрущеве, ни, тем более, при Брежневе в центральных газетах не публиковали таких (да и вообще никаких) обвинений именно верхушке общества, его официозу. В статье обвинялись не кто-нибудь, а генералы, крупные партийные начальники, решившие, что воспитывать собственных детей – не их дело. На этом суде прокурор произносит очень сильную фразу: «В полутьме отдельных квартир и казенных дач вы растили негодяев и убийц».

Статья производила оглушительное впечатление – даже при том, что совсем не всё из записанного на суде мама смогла протащить в печать. Кампании против мамы начальство в тот раз не затеяло (не очень еще ясно было, что можно, что нельзя), но посматривало на нее косо, особенно когда статью заметили за границей.

Мама рассказывала, что на какой-то встрече к ней подошел Аджубей и сказал: «А вы знаете, Фрида Абрамовна, что о вашей статье сообщили в заграничной прессе, цитировали ее и написали, что вот, оказывается, что происходит среди советской молодежи – убийства, преступления. Видите, как неудачно получилось!» А мама сказала: «Алексей Иванович, а по-моему, мы с вами не должны оглядываться на заграницу, а должны думать о том, что нужно сделать, чтоб у нас такого не было».

* * *

С приходом Оттепели мама, как и многие в ту показавшуюся свободной пору, всё время пробовала, а что еще можно сказать, что раньше было нельзя. И, как и все, кто на это решался, рисковала. Травля могла начаться с любого слова, не говоря уж о статье. Я не помню, как маме удалось «пробить» в печать «Костер без пламени» (стр. 44), но в 1957 году статья вышла в «Литературной газете». В ней мама замахнулась на святое: пионерскую организацию. Ханжество, лицемерие и, главное, скука, смертная скука, царящие там, давно не давали ей покоя.

Второго декабря 1956 года мама писала своей ленинградской подруге, переводчице М. И. Беккер:

Читаю брошюры передовых учителей. Мутит, спасу нет: «Как-

то на уроке английского языка ученик Николай П. вышел отвечать со шпаргалкой. ***Он был разоблачен пионеркой Светланой П.»*** *Или: «На классном собрании, где обсуждалось недостойное поведение одного ученика, я подвергла критике нейтральную позицию Анатолия, показала вред его беспринципности и противопоставила ей принципиальность пионеров класса.* ***В дальнейшем Анатолий избавился от этого недостатка»****.*

Нет, не могу: «Однажды Таня К. заявила, что она потому не приготовила урок по русскому языку, что не поняла его. Тогда Марина Р. и Рая М. выступили и уличили Таню в неправде: на самом деле она всё утро прогуляла. Тане пришлось признать свою вину и исправить свои недостатки.

Итак, 7 марта 1957 г. в «Литературной газете» была напечатана мамина статья «Костер без пламени». Уже на следующий день под рубрикой «Наша почта» в «Правде»[43] появился анонимный отклик (понимай, редакционный текст) следующего содержания:

«Костер без пламени» – так называется статья Ф. Вигдоровой, опубликованная вчера в «Литературной газете». Статья поднимает большую, волнующую тему – о жизни пионерской организации. Автор ставит перед собой важную задачу – вскрыть причины проявления формализма в пионерской работе. Как же решается эта задача?

Собирая факты для статьи, автор побывал в Челябинской области, в Ленинграде, вспомнил давнишнюю беседу с директором одной из московских школ. Но вот странная вещь: всюду он замечал только плохое. По его мнению, ничего живого, интересного, увлекательного в жизни пионерских дружин нет. Даже в хорошем деле он видит прежде всего отрицательную сторону. Описывая подготовку выставки подарков родителям, автор статьи фиксирует внимание читателя на пропаже части подарков, на нечестности некоторых пионеров. Но разве это типично для наших детей?

Нельзя смотреть на мир одним глазом, старательно зажмурив другой, – видеть только плохое и не видеть ничего хорошего. Пусть Ф. Вигдорова поедет в Слободской район Кировской области и побывает там в скромной маленькой сельской Стузовской школе, пусть хоть на час заглянет в Львовскую школу Московской области, посетит среднюю школу города Полярного, повнимательнее поглядит вокруг себя в тех самых городах, в которых она уже была, поглядит без определенной тенденции найти только дурное. Пусть она, наконец, перелистает страницы «Пионерской правды»! В жизни пионеров она найдет много

интересного, свежего, увлекательного не в одной, а в тысячах школ нашей страны. <…>

Возникает вопрос: какова цель этой статьи, рисующей жизнь нашей пионерской организации в искаженном виде?»

Надо перенестись в те годы, чтобы понять, что значил тогда окрик в «Правде». Да еще с таким вопросом в конце: какая, мол, была у автора цель? Ясно, какая: подорвать наш советский строй. Начать с пионерской организации, а потом пойти дальше и добраться – страшно сказать, до чего.[44]

Мне было в это время 15 лет, и я хорошо помнила, как за 4 года до «Костра», 13 января 1953 г. я пришла утром в школу, и через всю раздевалку Наташа Ш. крикнула мне: «Слыхала – врачи-евреи шпионами оказались!» И вот 8 марта 57-го года я иду утром в школу и жду, как Наташа или кто еще крикнет мне: «Читала, что про твою маму в «Правде» написали?» И было мне, мягко говоря, неуютно. Но нет, ничего мне никто не крикнул.

На первом уроке было классное сочинение. Все склонились над тетрадками и чего-то строчили. И наша учительница литературы, обыкновенная такая, никакой не светоч, но и не вредная, – подошла ко мне, наклонилась и прошептала: «Саша, передай своей маме, что мы в учительской обсуждали ее статью, и мы все с ней совершенно согласны». Это дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. Так что времена не сразу, но менялись.

Что же было дальше? Дальше «Комсомольская правда» в большой статье обвинила «Литературку» и Фриду Вигдорову во всех смертных грехах. Мамино имя начали склонять в прессе. И не только по поводу этой злосчастной статьи. В эти самые дни на пленуме Союза писателей громили новый альманах «Литературная Москва» за то, что там напечатаны произведения, «чернящие нашу советскую действительность». Мама выступила в защиту альманаха. Вот что об этом пишет Лидия Чуковская в своих мемуарах «Памяти Фриды» (глава «Граница боя»):

«Сейчас на трибуне высказалась она очень коротко, определенно и ясно. В ответ на обвинение в том, будто авторы «Литературной Москвы» занимаются очернением нашей действительности, что хорошие стороны будто бы не показаны ими, а дурные подчеркнуты, Фрида сказала: «Неужели каждый раз, когда говоришь о каком-нибудь черном пятне, нужно непременно указывать, что рядом всё остальное – сверкающе-белое? Если человек видит на улице Горького дым и пламя и кричит: «Пожар!» – неужели, прежде чем закричать, он обязан перечислить те улицы и те дома, где всё благополучно и пожара нет? К примеру, так: на улице Станкевича не горит, на улице Герцена не горит, на улице Чехова не горит, на Пушкинской и на

Садовой не горит (в зале рассмеялись), а вот на улице Горького пожар! Если мы станем поступать так, то товарищ Еремин[45] будет, по-видимому, вполне доволен, но я боюсь, что дом на улице Горького успеет сгореть». Зал или, точнее, та часть зала, ради которой стоило подниматься на трибуну, – проводила Фриду дружескими и благодарными аплодисментами. Ее любили».

За выступление на пленуме маму немедленно выругали в «Московской правде», начиналась уже настоящая травля. Но мама старалась на это внимания не обращать.

Вот что мама пишет своим ленинградским друзьям Ефиму Григорьевичу Эткинду и его жене Екатерине Федоровне Зворыкиной, которые прислали ей встревоженное письмо по поводу заметки в «Правде»:

16/III – 57 г.

Дорогие друзья!

Когда я получила Фимино письмо – я огорчилась. Оно было доброе и дружеское, однако я сильно огорчилась. Я думала: когда болела Галя[46] *и мне вправду было тяжело – друзья молчали. А теперь они пишут, утешают, сочувствуют. Неужели они думают, что не тогда, а теперь мне нужна поддержка?*

Так я думала. А потом пошли письма из Киева, Челябинска, и даже брат мой, который знает меня давно и должен бы понимать лучше других – тоже написал, чтоб я держалась. И даже прислал телеграмму ко дню рождения: «Желаю счастья, здоровья, ***крепких нервов****». Очень странно. Но если так пишет родной брат, то какой же спрос с Фимы?*

И я решила больше ни на кого не сердиться. И я даже решила сообщить, что жду новых писем, поскольку сегодня меня выругали в «Комсомольской правде» и «Московской правде» – последняя ругает за выступление на пленуме: «М. Алигер и Ф. В-ва пытались взять под защиту произведения, осужденные советской общественностью». Я очень прошу вас прочитать «Моск. правду» за 15 марта – там большой подвал о пленуме. Итак, за вами – 2 письма. Если меня выругают еще где-нибудь, я пришлю телеграмму: «Жду писем».

Одно скажу: я ни о чем не жалею. Ни о статье в «Лит. газете», ни о выступлении. Меня немного удручает, что это может отразиться на книге. Трахнут – и всё. И это бы ничего – только бы можно было работать дальше. Но думаю, что теперь всё же не те времена, чтоб из-за плохой рецензии загубили книгу. Ну, поглядим.

Галя – дома. Веселая, славная. Повязку еще не сняли, но пока всё хорошо.

Сейчас уже глубокая ночь – т. е. уже 16-е, день моего рождения.

Будьте здоровы, счастливы, целую вас и девчонок.

Фрида

Очень я устала и очень завидую, что вы каждое воскресенье ходите на лыжах.

Если письмо мое какое-нибудь не такое – сухое там или сердитое – простите – я просто очень усталая, а написать хотелось.

Итак, 2 письма: одно за «Комсомолку», другое за «Моск. правду».

Из письма Эткиндам от 19/III – 1957 г.

Вчера я впервые огорчилась – ненадолго, но сильно. Позвонили из «Л. Г.»:

– Видимо, мы будем отвечать «Комс. правде». Но для этого придется признать некоторую односторонность нашего выступления. Хотим посоветоваться с Вами насчет формулировки.

– Нет, – говорю, – формулируйте сами. То, что было до сих пор, не замутило и поверхности моей души, а вот это мне снести будет трудно – ваше отречение.

– Вы должны нам посочувствовать.

– Теленка режут, а он должен жалеть руку, которая его режет?

Вот такой был разговор. Теперь жду, как будет выглядеть отречение. Нынче в отчете о пленуме они меня явно пощадили – ругать не хотели, а цитировать, а тем более хвалить – не могли.

В результате «Литературка» признала «некоторые свои ошибки», но от мамы если и отреклась, то минимально и, в свою очередь, напала на «Комсомолку» за грубость и несправедливость их обвинений по адресу самой «Литературки». Так что закончилась эта эпопея склокой двух центральных газет.

Для мамы же последствия были весьма ощутимыми: после заметки в «Правде» немедленно выбросили из плана ее книгу «Это мой дом», которая должна была выйти массовым тиражом в «Роман-газете». Это, конечно, ударило по карману, но «работать дали», и не сразу, но постепенно книги снова стали выходить.

* * *

Еще один оттепельный эпизод – история с альманахом

«Тарусские страницы»[47]. Летом 1961 года мы снимали в Тарусе две комнаты в домике, где в 1958-м жил Заболоцкий. То было его последнее лето, и стихи были грустные:

Ой, как скучно жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси.
Господи Исусе!

В соседнем доме у тети Поли[48], у которой когда-то снимала комнату Надежда Яковлевна Мандельштам, поселилась, чтоб быть поближе к маме, Елена Сергеевна Вентцель (тогда еще не И. Грекова), Н.Я. тоже туда заходила по старой памяти[49], месяц в Тарусе жила Ольга Георгиевна Чайковская[50]. И, конечно же, жили в Тарусе «помещики» Н. Д. Оттен и Е. М. Голышева[51], инициаторы, вместе с Паустовским, «Тарусских страниц». Все были озабочены «Тарусскими страницами». Идея была проста и, казалось бы, вполне безобидна. Создать альманах очерков и произведений, которые трудно опубликовать в Москве. Вот как это описано у Надежды Яковлевны: «Нам [с Ф.А.] пришлось вместе ездить по району, чтобы написать очерки для этого альманаха. Всем нам хотелось, чтобы он вышел, ради стихов Марины [Цветаевой], прелестной повести про школяра[52] и дебюта Володи Корнилова[53]. Оттен требовал очерков, и мы их быстро изготовили».

Сборник вышел и действительно получился живым и в чем-то, насколько это было возможно, свободным. Но и эта степень свободы показалась властям слишком большой. Публикация книги без предварительной цензуры в Москве была признана ошибкой на уровне ЦК КПСС, главный редактор издательства уволен, директор получил строгий выговор; выпуск тиража был остановлен, уже выпущенные экземпляры изъяты из библиотек. Тем не менее часть тиража успела разойтись, люди буквально рвали сборник друг у друга из рук. Его не удалось исключить из литературного процесса, и он остался в истории.

В этой книге напечатаны оба маминых очерка из «Тарусских страниц».

К героине очерка «Наша бабка» мама и Надежда Яковлевна пришли вместе. Этот эпизод есть в воспоминаниях Н.Я. о Фриде Вигдоровой; мы приводим его полностью на стр. 402–403. Есть он и во «Второй книге» (глава «В преддверье»):

«Нищая койка, покрытая тряпьем, протекающий потолок, плесень, черепки, грязь. Старуху использовали для всех приезжающих журналистов – у нее был ловко подвешенный язык.

Активная колхозница, она работала безотказно, куда бы ее ни послали. Она балясничала как хотела, и Фрида вдруг спросила: «А икон у вас нет?» «Я не верю в иконы, – ответила старуха, – я верю в Советскую власть»… Нас ждала машина, мы удрали от старухи, и Фрида сказала: «Много ей дала Советская власть. Вы видели, как она живет?» Старухе уже тогда было вроде как семьдесят, и года через три ей выдали, если она дожила, пенсию. Милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом – деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в тридцатку, а когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом».[54]

Поразительно, насколько по-разному увидели эту бабку мама и Надежда Яковлевна. Вот как это расхождение комментирует Елена Вигдорова. «Образ получился совсем другим: у Ф.А. старуха, может быть, и “балясничает”, про то, какая она “в работе быстрая и никакого труда не боится”, но общий тон текста – не бодрый, который, видимо, сопутствовал всем прежним старухиным интервью и который она и сама «включала», но и не осуждающий – в отличие от Н.Я. В первых же строчках очерка – портрет, и мы видим, что у старухи “глазки – пристальные, хитрые”. Но вот монолог прерывается ремаркой: “Она вдруг поникла, прикрыла глаза темными тяжелыми веками и заговорила устало, медленно, надолго замолкая”. И мы уже не видим только “активную” или “показательную” колхозницу, какой ее хотят представить журналисту, и уже дальнейший ее рассказ, хоть и сбивается порой на “пластинку” (“В телятник, в курятник, к коровам – где наша бабка? Это – я. Зовут – иду”.), превращается в рассказ о тяжкой доле. И есть в этом рассказе имена старухиных детей. Сережа, по которому плакала, когда его на действительную забирали, а не знала, когда “поплакать придется”: Сережу на войне убили. А другого сына, Ивана, “тоже взяли на фронт, совсем мальчонка был, совсем дитя. Но, слава богу, вернулся”. Видит старуха, что грязь и упадок в ее доме, что кухня “вся гнилая”, что “непорядок”, но понимает, что ни денег на то, чтобы починить, нет, ни здоровья. А ведь когда детей растила, смотрела, чтоб были и одеты, и обуты, и сыты: “Они у меня в школу, знаешь, как чисто ходили?” Старуха гордится детьми – и как живут, и как устроились. А что ей никто не помогает и что, когда сын с женой отделились, “горницу отдала, а сама в этой кухне осталась”, той, что гнилая и чинить здоровья нет, так она не ропщет, эта старуха. Как не роптала ни на грязь, ни на работу, ни на людскую неблагодарность солженицынская Матрена-праведница. Странным образом в очерке Ф.А., где,

понятно, ни слова не могло быть ни про иконы, ни про Советскую власть, которая старухе ничего не дала, проступают черты не столько показательной колхозницы, какую представляли журналисту и какой, надо думать, видела себя старуха, сколько той самой Матрены».

Очерк «Глаза пустые и глаза волшебные» – о мертвых, выхолощенных словах; о детях, которых учат их произносить; о том, что детей нужно воспитывать правдой. По нему видно, как это у Ф.А. всё переплетено: жизнь, статьи, книги. Например, девочка, которая пишет сочинение про майскую демонстрацию, на которой не была, – это я, а летчик, рассказывающий первоклассницам о том, как они с приятелем стригли двухлетнюю девочку в только что освобожденной белорусской деревне, – это мамин брат Исаак Абрамович Вигдоров. Обе эти истории до сих пор живут в нашей семье, и обе они есть в мамином романе «Любимая улица».

Что касается темы правды, то хочу поделиться одним наблюдением. Помните эпизод из этого очерка, где цитируется письмо некой Нади Розановой? Надя пишет: «Если бы мне было всё позволено, я пила бы по ящику лимонада. Когда бы не было мамы и папы дома, я включила бы телевизор и специально легла бы спать, не выключив его. Если бы я еще ходила в детский сад, я выливала бы под стол молоко, не спала бы в тихий час. А когда бы я пошла в школу, мне подарили бы на день рождения ручку, которая решала бы все задачки. Я бы побольше спала. Уроки я бы не делала. Я пропускала бы занятия в кружках. Побольше бы ела мороженого. Когда бы я пошла работать, я выбрала бы работу полегче или совсем бы не работала». А Ольга Васильевна Поленова говорит: «А ведь она превосходно понимала, чего от нее ждут. Она знала, что́ надо написать, чтоб ее ответ напечатали в газете. Но у нее накипело на душе. И она решила выложить всё начистоту. Верно?». Тут мне приходит на память эпизод, который рассказывает Лидия Чуковская в «Памяти Фриды» (глава «Мысль мыслей»):

«Расспрашивая о Бродском друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались «воспитывать». «Кто ваши любимые поэты?» – спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак», – ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, – говорила мне Фрида. – И не придерешься. И дело с концом… А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?»»

Нет, я не собираюсь сравнивать безвестную девочку с будущим Нобелевским лауреатом. Я просто хочу показать, что́ для Ф.А. было важно, что́ она в людях ценила.

* * *

Тарусское знакомство с Надеждой Яковлевной Мандельштам переросло в дружбу, дружеские обязательства – в хлопоты о прописке Н.Я. Мама вкладывалась целиком в помощь каждому, кто оказывался в ее орбите. Попадали туда самыми разными путями. Один из них – письмо читателя. Мама отвечала абсолютно на все письма. Иногда завязывалась долгая переписка, и мама начинала вкладываться в этих людей душевно, старалась им помочь. Так было с заключенным Борисом Корниенко, героем «Двойки по истории», стр. 72. В очерке мама пишет, что Борис вышел по амнистии, но мемуаристы Руфь Зернова и Кена Видре свидетельствуют, что мама неустанно старалась вызволить Бориса из лагеря. Я, по крайней мере, помню, что мама писала начальнику Бориса, справлялась о нем, то есть начальство знало, что вот в самой Москве писательница, журналистка (газета – магическое слово!) им интересуется.

Хочу еще сказать, что хотя, конечно, при Сталине воры в отличие от политических считались «социально близкими», но украсть с работы радиодеталь – это уже попахивало вредительством, и другой, может, и поостерегся бы с таким заключенным переписываться.

Я знала, что вот есть такой Борис, мамин читатель, что да, он украл радиодеталь, но не на 10 же лет за это сажать! И сочувствовала ему и надеялась, что мама что-нибудь придумает, и Бориса выпустят. И поэтому ничуть не удивилась, когда, наконец, его освободили и он пришел к нам домой.

* * *

Расскажу об истории публикации в «Известиях» маминой статьи 1961 года «Плохой студент» – про Славу Цуцкова, студента МГУ, покончившего с собой. Статья висела на волоске. Как же: задет Московский государственный университет, главное учебное заведение страны! Оказывается, там студенты с собой кончают. Ректор МГУ И. Г. Петровский, известный математик и, по отзывам его коллег, приличный человек, – делал всё, что от него зависело, чтобы статья не была напечатана, боролся за честь мундира,

нажимал на все кнопки. И если бы редактором «Известий» не был в то время всесильный Аджубей, она и не была бы опубликована. Аджубей, разумеется, не был маминым единомышленником, но уважал ее и ценил ее профессионализм, а главное, хотел, чтобы его газета читалась. Тем не менее статья проходила с большим скрипом. В частности, тот же Аджубей требовал, чтоб мама вставила в статью какую-то цитату из Хрущева. Мама категорически отказалась. Дело застопорилось. Я очень хорошо помню наш разговор по этому поводу. Я спрашивала, почему бы и не вставить эту цитату. Ведь она нейтральная, ничего в ней специально гадкого нет, а статью напечатать необходимо. Мама сказала: «Нет! Я ведь разговаривала со студентами, они мне верят. А увидят эту цитату и сразу перестанут верить».

Готовя эту книгу к печати и просматривая блокнотики, куда мама записывала разные свои мысли, я наткнулась на запись, занесенную в блокнот в то самое время, что Ф.А. писала эту статью:

Мне говорят: чтоб прозвучало то, что ты хочешь сказать, надо пользоваться этой терминологией. А я считаю, все эти слова так скомпрометированы, что ни до кого не доходят. А молодежь их попросту слушать не может.

После публикации статьи «Плохой студент?» в редакцию «Известий» потекли письма от несправедливо исключенных студентов. Одно из этих писем было написано Андреем Амальриком[55], будущим диссидентом и автором знаменитой книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Он учился на историческом факультете Московского университета, и его исключили за несданный экзамен по истории КПСС. Настоящей причиной исключения было то, что он послал свою работу по спорной «норманской теории» происхождения русской государственности датскому профессору-историку. В то время несанкционированные контакты с иностранцами, да еще из «капиталистических» стран, были строго запрещены. Амальрик писал в своем письме к Ф.А.: «Я не прошу Вас восстановить меня в университете. Вам это не удастся. Просто хотелось поделиться». Но мама встретилась с Амальриком, и ей удалось – с большой трудностью – восстановить его в Московском университете.

* * *

Не все понимали, чего эта борьба, которой не было конца, стоила маме и физически, и душевно. Даже братья-писатели, хорошие знакомые, не всегда понимали. Однажды мама была в

гостях, и один из присутствующих, литератор, узнав, куда и зачем мама едет в командировку, сказал ей: «Фрида, вот вы едете в деревню, будете там крышу соломой покрывать[56], так привезите нам соломинок для кофе гляссе». У мамы было замечательное чувство юмора, но этой шутки она не приняла.

Конечно, близкие друзья всё видели и понимали. Но не обязательно надо было знать Ф.А. долгие годы, чтобы это понять. Писательница и журналистка О. Г. Чайковская (которую, как и Долинину, в журналистику вовлекла именно мама), увидела и поняла уже в самом начале их знакомства, как маме нелегко давалась ее работа. Вот что она пишет[57]:

В то время, когда мы с ней познакомились, она занималась делом Славы Цуцкова, студента Московского университета, покончившего с собой. Фрида никогда Славы не видала, к ней пришли рассказать о нем его товарищи, она посмертно изучала его жизнь – дневники, письма, свидетельства друзей: более всего интересовали ее столкновения Славы с теми людьми (работниками физфака), которые были повинны в его гибели.

То было тяжелое для нее время. Следуя шаг за шагом путем погибшего юноши, она как бы погружалась в отчаяние до самого его дна. Напрасно ей говорили, что, мол, покойного не воскресить и прошлого не воротить, а стало быть, нечего и терзаться, она не бросала своего исследования – именно потому, что знала, по ком звонит колокол.

Вообще все эти сентенции: «ты не солнышко, всех не согреешь» или «улицу не натопишь» и прочие, рассчитанные на то, чтобы успокоить слегка растревоженную совесть, сильно ее раздражали. Да и не верила она им.

Конечно, ее работа давалась ей нелегко, она сильно уставала. Помню, к концу дня становилась белая как стена, глаз не могла открыть, так и сидела с закрытыми – олицетворением смертельной усталости. Но отпуска не просила, – может быть, потому, что не у кого его было просить.

Но вот что пишет Ф.А. своей ближайшей подруге переводчице Норе Галь (1913–1991) в письме от 28 июля 1962 г.:

Господи, но не все же шипы, бывают и розы! Вот какую прекрасную розу я получила вчера. Худенькая, смуглая девочка, нет, девушка, на вид лет 19-и: «Вы Вигдорова?» – «Да.» Под ложечкой тоска: новое, длинное и трудное дело, такой ведь не откажешь. «Четыре года назад вы написали мне письмо – ответили на мое, – и четыре года я не расстаюсь с вашим письмом. Оно мне помогло всё одолеть, и вот сегодня я прочитала свою фамилию в списке принятых на химфак университета, и я сразу к вам. Если бы не прошла, не приехала бы сюда, но меня приняли, и вот я здесь.» –

«Как ваша фамилия?» – «Таня Катина.» – Как не помнить, конечно помню. Ее письмо у меня хранится. Примерно такое: «У других в окнах свет, музыка, а я? У меня башмаки разваливаются, чулки забрызганы грязью, я живу в землянке с матерью и пьяным отчимом. У других счастье, у меня его никогда не будет.» И вот она стоит передо мной, и в руках у нее вдрызг зачитанное мое письмо… Я была очень счастлива.

Вот на этой, все-таки оптимистической, ноте я хотела бы закончить свою статью.

Александра Раскина

Блокноты депутата

Конечно, и в наше время можно еще найти какого-нибудь страдальца, которому по тем или иным причинам тяжело в жизни, но давайте говорить откровенно – страдальцы не в безвыходном положении.

Петрусь Бровка «Свет правды». «Литературная газета» 9 марта 1963 г.

Аглая Гавриловна Березкина

– Двадцать пять лет я работала заведующей детсадами. Ничего, кроме благодарностей, не имела. И вот, после статьи Оболенского в «Московской правде», уволена с формулировкой

«Не пригодна». В статье написано (читает): «То ли импозантная внешность, то ли воркующий тембр голоса производили впечатление, но ее всегда ставили заведующей» – зачем же так оскорблять? Импозантная! А все клеветница Коровенкина – она была воспитательница, а я ее уволила за поножовщину и пьянку. Она в отместку стала клеветать, и вот клевещет, клевещет, не может остановиться. А всё дело в том, что инспектор Левитина меня невзлюбила. Разве ж я виновата, что помповара захватила с собой на дачу три котлеты, а родители увидели и поволокли ее в милицию с теми котлетами и составили акт. А может, она в тот день не обедала и потому захватила три котлеты, хотя ей полагается две? И вот Коровенкина наклеветала, и Телушкина, и Ларюшкина, а зав. роно издал такой приказ, что после него хоть удавись. А Оболенский пишет, что внешность импозантная… За что же так оскорблять человека?

Никто не хочет помочь

Плачет, едва начав говорить:

– Вы видели фильм «Человек, которому нужна любовь?» Так вот, я такая мать, какая там описана… не пью, не гуляю, но я плохая мать, я сама во всем виновата, но что делать – не знаю. Мои дети бьют меня. А прежде били бабушку.

История моей жизни такая: первый муж погиб в Германии в сорок шестом году. Погиб и погиб. Через пять лет я вышла замуж вторично. Ну, а второй муж – сами понимаете, это муж двоюродный, не родной. Двоих детей от первого брака моего не захотел признавать. Одно время они жили у бабушки, а потом я была вынуждена взять их к себе, и тогда второй муж меня оставил. Оставил и оставил – с моими двумя и с одним, которого я родила от него. Ушел. И стали дети меня поколачивать. Дочке Лене – двадцать один год, сыну Лене – девятнадцать. Маленькому – двенадцать.

Чего хочет от меня дочь? Она хочет, чтоб – купить, приготовить, отсутствовать. Купить – могу. Приготовить? Не хочу, но могу, но отсутствовать??? Нет, нет, нет! Не хочу! Не могу! И что же я получаю в ответ? Синяки! Матюги! Матюги! Синяки! (Рыдает.)

Дочка Лена – сколько горя я от нее вижу! Такая шелопутная девка! Она об занавеску вытирает помаду с губ, ну как мне жить после этого? Моя мать просит, чтоб Лену прописали к ней, так и пишет: «Прошу прописать, а то как бы не пошла по рукам». И пойдет! И пойдет!

Вы поглядите только, как прятать приходится! (Срывает с шеи шнурок, на шнурке – не крестик, как я подумала, а ключи – от дверей, сундука, шкафа.) Надо уйти из жизни. Пробовала. Не вышло. Не вышло и не вышло. Всё. А маленького сына Алешу надо определить к Кащенко. Псих. Бьет вещи. Всё разносит в пух и прах. И когда-нибудь меня убьет. Никто мне не помогает. Все чем-нибудь прикрываются – должностью, партийным билетом, а помочь никто не хочет.

И вы не захотите, и вы не захотите!

За смертью Носова

Ольга Зименкова

– И суп варишь, и газету читаешь, и пеленки – всё тут, в одной комнатке – шесть метров, четыре человека: мы со стариком, дочка, внучек. А вы вдумайтесь, что за площадь, ведь там уборная была, по-теперешнему туалет, ну да, уборная в школе. Только унитазы сняли. Пол цементный, трубы эти… Как их… Кана-ли-зационные, что ли. Ну да, трубы от уборной – тут же. От них такая сырость. Ржавые. А от пола цементного – холод идет.

Все сулят, а толку нет… Тут один помер – Носов. Мне говорят – за смертью Носова освободилась комната, может, предоставим. Но райсовет чего-то комбинирует, комбинирует, а нам не дает…

Заседание депутатской комиссии при ЖЭКе

Председатель: Товарищи, комната у нас освободилась…

– Улица Станкевича, двенадцать?

– Да нет, которая за смертью Носова.

– За смертью Носова? Это – улица Неждановой.

– Верно, Неждановой. Так вот, мы эту комнату должны отдать Зименковой Ольге, она живет в бывшем школьном санузле.

– Не выйдет.

– Почему это не выйдет?

– Ее уже самовольно заняли.

– Кто занял?

– Петров из подвала. Их там в подвале двенадцать человек. Один ребенок спит на столе, а у этого Петрова тоже ребенок родился. Он взял и въехал в эту комнату, что за смертью Носова.

– Возмутимо! Введите его!

Входит молодой парнишка, шапку прижал к груди, глаза испуганные.

Председатель: Образование?

– Восемь!

– Где работаешь?

– Ателье!

– Кем!

– Закройщик!

– Как же ты поступил, что позволил себе самовольно въехать?

– А куда мне было жену с ребенком везти из родильного дома? В подвал? Там нас двенадцать человек, и вот, тринадцатый народился. Что же, мне его под стол класть? Ведь я что просил? Я что просил? Я просил: прислушайтесь к тому, что родился ребеночек. Мальчик! Но никто не хочет прислушаться. И я пошел в ту комнату, где помер человек…

– Та, что за смертью Носова?

– Чего? Может, и Носова. Не знаю, знаю, что помер. И я въехал. И, не скрою, сказал управдому: если тронешь меня, я тебя зарублю топором.

– Разве так советские люди говорят? Разве так можно?

– А под столом ребенку спать можно? Ведь ребенок народился! Мальчик!

– Мальчик, мальчик! А в санузле жить можно? Нет, самовольно вселяться никому не позволено. Мы еще поговорим с тобой в другом месте!

Первая речь председателя домкома

– Остановлюсь на первом пункте, о количестве квартир, включившихся в соревнование за коммунистический быт.

Раньше у нас было зарегистрировано как хорошие – шесть квартир, а теперь одиннадцать. Они выполняют пункты, чтобы сберегать соцфонд и соблюдать взаимоотношения.

Есть четыре семьи в хороших взаимных отношениях, люди стали более общаться, и мы должны афишировать, когда работает клуб или кинопередвижка, а то афиш нет, и люди не знают, когда работает клуб, в котором они могут общаться.

Нам некоторые говорят разные нарекания и, конечно, извините за грубость, мы, конечно, много набракоделили. Но есть такие, что зря злорадствуют, и если по-ихнему не вышло, то делают улыбочку. Вот Пахомова из дома шесть по Неждановой, она вечно бегает в единственном числе и смотрит, что не так.

Я еще хочу остановиться на наших проживающих гражданах, чтоб их обслуживать. Потому, что они от всей души и даже мансандру надстроили и всё общее пользование сделали своими

руками. Но есть такой ремонт, что они сами не могут. И они говорят: мы всё сделали по-хорошему, а с крыш капит и капит, и полы прогибаются, а надо, чтоб наш советский пол в советской квартире ни в коем случае не прогибался и был в порядке.

На этом я, конечно, буду заканчивать, только хочу сказать, что была очень хорошая и коммунистическая квартира восемь в доме два по Станкевича, там жильцы и похороны вместе и свадьбы, но сейчас эту квартиру мы не включили, потому что жилец Вышинский – пожилой товарищ, женился на молодой, и на этой почве стал устраивать скандалы в квартире. То он ревнует, то он не в себе, то еще что-нибудь. Ну, и всё. И еще под конец скажу, что дворники нонче мученики – такие морозы были, что есть лед, который по сю пору не сколот. Вот это плюс к чему я хотел сказать.

Или вы не согласны?

– Жили мы с женой Ревеккой Иосифовной и дочкой в двенадцатиметровой плохой и темной комнате. Плоховато жили, но ничего. А дочка возьми и выйди замуж. Муж инженер и работает в ящике. Но четыре человека – это не три человека. А потом молодые возьми и роди одного мальчика, а потом и другого. Согласитесь, что шесть человек – это не три человека, или вы не согласны? С разрешения жилищной конторы мы с женой поселились в нежилой темной кладовке в той же квартире, а детям освободили комнату. Но согласитесь, что это – не выход. Нас поставили на очередь. Но когда же придет та очередь?

Дочка: Папа, а ты скажи про то, что ты – инвалид войны.

Отец: Это к делу отношения не имеет. К делу отношение имеет то, что нельзя жить вшестером на двенадцати метрах, и нельзя жить в кладовке, если ты человек. Или вы не согласны?

Старший инспектор по жилищным делам поучает молодого:

– Что ты их всех жалеешь? Что ты их жалеешь? Они все лезли в Москву, думали тут хлеб и колбаса на деревьях растут. Вот, например, татары. Они в колхозе жить не хотят, работать не хотят. Им самое милое дело – в дворники! Я им говорю: ну, куда вы лезете? Ведь глубокий подвал, ведь этот подвал каждую весну заливают сточные воды. Нет, лезут. Въехали пять человек, а сейчас их семь. Расплодились. И вот, сейчас вся свора требует жилплощадь. Не хотят, видишь, жить в подвале. Хотят, понимаешь, наверх. Вот ты их и жалей! Ты лучше спроси, зачем

им было в Москву лезть? Или вот, например, Бухман. Сапожник. Жил он, понимаешь, в Конотопе. Домик. Сад. Когда война, он, конечно, наутек. В сорок третьем прибыл в Москву с женой, где уж он до сорок третьего бегал, не знаю. Ну, в Москве где-то примостился, тогда по глупости всех прописывали. А потом дочка с фронта у них вернулась, и зять опять же появился, и тоже: требуют! Ехали бы к себе в Конотоп. Там, наверно, и дом, и сад целы, а ему Москву подавай! А ты их жалеешь!

Председатель технического совета: Мы хоть и говорим о квартирах социалистического быта, но я должен сказать о подвале в доме шесть по улице Огарева. Этот подвал не сегодня завтра обрушится. Будут жертвы. Людей надо немедленно переселять.

Председатель райсовета: Переселять некуда.

– А что мне людям говорить?

– Разъяснять надо! Агитировать и пропагандировать!

– Плохо!

– Что, то есть, плохо? Вы из какого государства приехали? Про что вы это говорите «плохо»?

– Плохо объяснять людям, что черное – белое. Что я им буду объяснять, если их, может, завтра задавит? Если б дом сгорел, вы бы людей переселили? Вот и считайте, что этот дом сгорел! Нет его, ясно?

Предрайсовета молчит. Внезапно дверь открывается и в комнату вваливается пьяный:

– Нас каждую осень затопляет дерьмом и дождем! И если нас затопит и убьет, вы все, все будете виноваты!

Переселяйте меня скорее…

Рассказ депутата Зинаиды Ивановны

– Какая у меня история была, если бы вы знали. Приходит женщина, сухорукая, косенькая. И бледная до синевы. Живет в подвале вместе с дочкой. А дочке девять лет. Приходит эта женщина и говорит: мне жить осталось немного, я кровью харкаю. Переселяйте меня скорее, Христом Богом прошу. Если переселите в хорошую комнату, муж мой к дочке вернется, а если она в подвале останется, он ее в детдом сдаст. Как только я умру, он ее сдаст в детдом. Переселяйте меня поскорее, и чтоб такая комната, чтоб он захотел вернуться.

И так она на меня глядела…

Я решила: в лепешку разобьюсь, а переселю ее. И что вы

думаете? Все пороги обила, сколько слез пролила у всякого начальства в кабинетах. Они даже удивлялись, потому что на меня непохоже, чтобы плакала.

Добилась: переселили ее. И что вы думаете? Переехала и через два месяца умерла. И отец к дочке вернулся. А что уж там дальше было – не знаю.

Вторая речь председателя домкома

– Наша цель и задача – изжить недостатки. А мы по сей день не изжили. Беда только в чем? Работа складывается в четырех принципах. Принципы вам все известные, но работу надо показывать, чтобы люди получили должное. Надо учесть самолюбие и дух поднять у общественности. Надо вовремя подсказать, как выход из положения в рабочем порядке. Люди работают, а мы по сей день сетку волейбольную и ту никак не получим. Ведь сейчас такой период, что уже морозы, а мы что делаем? У меня есть тренер по фигурному катанию, а зимней площадки нет. Это что ж такое? Всё озеленили, и деваться некуда – нигде ни в домино, ни в волейбол. Пенсионеры отвоевали себе все площадки. Надо, чтобы каждый ребенок мог во что-нибудь вовлечься, чтоб он пустой не ходил. Эти недостатки в наших силах. Надо только включиться по-настоящему. Да, товарищи, не всё так проводится, как Петр Первый провел линию и сказал: быть по сему железной дороге! Это я просто образно выражаюсь. А теперь скажу простой факт. Решили организовать вечер. Достали докладчика и оркестр из воинской части – человек пятьдесят одних музыкантов. А детей – нет. Ходили по квартирам, собирали, просили Христа ради: приходите на вечер. И что вы думаете? Молодежи пришло человек десять, а детишек и того меньше. Вот так здравствуйте! В зале одни пенсионеры. Видимо-невидимо. И выходит, что работа проводится в отрыве, это что ж такое, я вас спрашиваю? Я так думаю, товарищи: лучше меньше, да лучше, как сказал Владимир Ильич.

Козлова Агриппина Яковлевна из Талдома

– Я член партии. Я член партии с двадцать шестого года. А у меня сына присудили к расстрелу… он убил женщину. Но ведь ему восемнадцать лет. И она его оскорбила, сказала, что он лодырь. А он в это время топором скалывал лед и когда услышал оскорбление, то ударил ее топором по голове. Потом утащил ее в

сарай, где совершил насилие, во что я не верю, так как свидетельские показания были сумбурные и неубедительные. Потом он добил ее топором, и она умерла.

Как член партии, я просила, чтоб меня принял первый секретарь горкома. Но он мне отказал. Скажите, разве это по-партийному? Наш город Талдом – обывательский город, его поглотили сплетни. Поэтому я просила партийные органы, чтобы процесс был закрытый, а мне в этой просьбе отказали. И теперь, после суда, обыватели бьют мне стекла и говорят про меня всякую небылицу.

Между тем моя жизнь была совершенно кристальная. Я всегда была на материально ответственной работе, и для самосохранения я работала только честно. Я очень следила за своим моральным обликом, потому что по партийной линии я воспитывала людей. В доме у меня полно литературы. Я работала только честно и денег на литературу никогда не жалела. Вот и вашу книгу я купила. Я всегда читала по списку. Я читала по списку литературу, удостоенную Сталинской премии. Я всю жизнь отдала народу. А теперь я сбавила восемь кило весу. Я, может, теперь как выжатая губка. Я с народом работала, воспитывала, разъясняла. А теперь, когда я, как член партии, попросила закрытый процесс, мне отказали, пошли навстречу обывателям. Ладят одно: ты воспитала убийцу. Каково мне это слышать? А ихние дети разве лучше? Я своего сына воспитывала от всей души, и он тоже читал литературу и разбирался в международных вопросах. Но он много перенес болезней – и бронхоаденит, и тонзиллит. И РОЭ была очень высокая, доходила до шестидесяти восьми. В последнее время он, правда, стал выпивать. И умри он своей смертью – это бы другое дело. Или попал бы под трамвай. Но расстрел?.. Ведь я же член партии! Я всю жизнь работала и людей воспитывала, а придешь домой – и почитать, и постирать, и обед сготовить, и мужа морально поддержать… И теперь у меня ноги не ходят, а как приду домой, то готова свою жизнь перечеркнуть. Ну, в общем, повеситься. Но поскольку я член партии, то я этого себе позволить не могу. Вот посудите сами, ведь вы тоже член партии… Как?! Нет??!! (упавшим голосом). Но вы всё же должны понять… Если бы он своей смертью помер… Туда-сюда. Тогда – другое дело. Но я ведь член партии…

За мной не пропадет

Большое тяжелое лицо. Тяжелая речь:

– Хватит… Поработала на хозяина… Отдохнуть… Нет сил… Подагра… Астма… Нет сил… С двадцать шестого года… В домработницах… по хозяевам… Вот дали комнату при кухне, живи… Нет. Всю жизнь прожила на кухне… И опять… Кухня… Станут жарить… Треску… Запах… Опять…

Уходя, сказала:

– За мной не пропадет.

… Твердо сказала. Не задыхаясь.

Даже койки нет

– Я уж ни на что не надеюсь… Поэтому я принес заявление в стихах. Вот…

Сухие казенные строчки
Заменит сегодня стих.
Во-первых, оно короче,
Душевнее, во-вторых…
К тому ж заявлений куча,
Отправленная в дорогу,
Жизнь не сделала лучше —
Быть может, стихи помогут?!
Жить так больше невмочь!
Площадь 13 и 6.
Я,
жена,
сын,
и дочь,
И теща родная есть…
Сырость и темнота
В нашем полуподвале,
И непригодным его для жилья
Не зря ведь врачи признали.
Сумрак у нас зловещий,
Солнца у нас не бывает.
Плесень съедает вещи,
Сырость людей съедает.
Сыну Женьке тринадцатый год,
Бледные щеки, унылый взгляд,
В тубдиспансер попал на учет:
Легкие барахлят…
В прошлом году родилась дочурка,
В светлое Завтра открылась дверца…

И сразу беда.
Обухом по чурке:
Врожденный порок сердца.
Тещу жалко, печальный факт:
На пенсию вышла на склоне лет,
Перенесла уже два инфаркта,
Не то что угла —
Даже койки нет!
Как больно газетные сводки читать,
Что всюду цветам новоселий цвести,
Когда моим детям нечем дышать,
А я не могу их спасти.

Я спросила: «А теща хорошая?»
Он ответил, подумав: «Родная…»

Третья речь председателя домкома

– Сегодня я скажу про старушек. Есть такие старушки, что они и понятия не имеют, что такое стать на очередь. И если мы такую старушку не переселим, она до самой смерти будет жить без окон, без дверей, полна горница людей.

Чей-то голос:

– Каких людей?

– Поговорка такая. Вы что уж, книг не читаете, не слыхали, что поговорки есть? К такой старушке придешь, а она тихо живет, не жалуется. В пристроечке живет, а пристроечка ветхая и туалета нет. А что человеку делать без туалета? И такая старушка ходит, бедная, несчастная, в другой дом. А если ночью схватит?

Вы, товарищи депутаты, не беспокойтесь, если на ваш участок старушек вселяют. Старушка – это ничего. Она поживет маленько, а потом помрет, и опять жилплощадь свободная и опять можно очередников вселять.

А еще я хочу сказать про матерей. Что есть мать? Мы всё это понимаем. И с матерью судиться кому охота? Никому. Но – надо. Если сын женился, а она невестку прописывать не хочет, это ж куда годится? Если мать зарывается, этого тоже спускать не следует. Раз спустил, другой, и глядишь, она уже не мать, а дикий зверь.

Есть хорошие старушки. Чистенькие такие. Посмотреть – и то удовольствие. А есть такие старушки, что это уму непостижимо. Вот есть старушка Семенова Ефросинья, по Огарева, дом пять. Что

у ней в комнате, товарищи дорогие, это ж видеть надо! Худые ведра, пищевые отходы, дохлые крысы. Это ж нестерпимо. Мы эту гражданку чистили неоднократно, вывозили грузовиками разное тряпье и прочий ужас. И эта Семенова отравляет жизнь, там у нее всё гниющее, остальные жильцы в квартире прямо задыхаются. Ведь она живет, можно сказать, в полной помойной яме. Мы ее неоднократно предупреждали. А она согласится и опять за свое.

Вот хотим подключить депутатов… Хотим предложить нам помочь. Это мы доказали свое бессилие, как говорится, расписались. Но выхода нет…

Хлебопек

– Хлебопек я… (Плачет.) Воевал в гражданскую и в эту… Контуженный… Шестьдесят четыре года мне…

После смерти жены сошелся я тут с одной гражданкой. У нее тоже муж помер. Она моложе меня на тринадцать лет. (Плачет.) Вот… Имею контузию. И вот, жену… Я ей говорил: я тебе надоем. А она заверяла. Очень сильно заверяла. Дочь моя мне тоже говорила: у тебя возраст один, у нее другой. Ой, смотри! А я не посмотрел. Не понял я, что просто ей надо было вещи после жены прихватить. А какие такие вещи? Юбчонка. Валеные сапоги. И весь гардероб. И вот расписались мы и началось нетерпимое отношение. Оскорбляет. (Плачет.)

Несколько дней спустя подхожу к конторе. Вижу, стоит Ребров. Лицо твердое, жесткое. Не плачет: злобно и холодно отругивается.

– А тебе жалко? Пошел к черту!

– А, не любишь! – кричит ему высокий поджарый дядька с глубоко ввалившимися глазами. – Дом в Арзамасе продал за пятьдесят тысяч, а теперь хочешь смухлевать: жена там прописана, ты – здесь, а потом обменяться на двухкомнатную? Так, да?

– А тебе жалко? Пошел ты…

Увидел меня, и вдруг на лице беспомощная гримаса:

– Товарищ депутат, так как же?

– Для того, чтобы выписать вас отсюда, нужно было ваше согласие и ваша подпись. Без этого не выписали бы.

– Да она такая… За меня подписалась… Она опутала… Она кого хочешь…

Поджарый: Если она подпись подделала, сам дал согласие, цель у вас с ней одна.

И снова злобная морда:

– А тебе жалко? Пошел отсюда!..

… А я его так пожалела.

Эмоции надо отставить

Хрупкая, худенькая, плачет. Отец погиб на фронте. Мать (участница гражданской войны) у Ганнушкина. Брат – туберкулезный. Она – тоже туберкулезная.

– Я не могу жить. Лучше бы мне умереть. Всё равно соседи сживут меня со свету. Мы живем на квартирной кухне. Конечно, кухня нужна всем. Но что же мы можем поделать? Куда угодно, куда угодно, только бы из этой квартиры. У меня нет больше сил…

Несколько дней спустя состоялось заседание райжилуправления. Я просила включить эту семью в список 64-го года.

Я: Они стоят на очереди с 58-го года и заслуживают, чтобы…

Куропеев: Кто спорит? Конечно, заслуживают. Но мы не можем ничего сделать.

Я: Но мать в психиатрической больнице…

Куропеев: Мало ли что… У нас психбольных в районе знаете сколько?

Я: Но у дочери туберкулез…

Куропеев: Мало ли что… Ведь не бациллярная же форма?

Я: Но они живут на кухне…

Куропеев: Мало ли что!.. У нас семь тысяч комнат признано нежилыми.

Я: Но матери 74 года…

Куропеев: Если всем старушкам давать площадь, план никогда не выполнишь.

Я: Я прошу вас, я считаю, что…

Куропеев: Вы просите в частном порядке, а мы в общем порядке. Мы – более правы. Рассмотрите вопрос в таком разрезе, ясно? А эмоции надо отставить!

Из неопубликованных блокнотов депутата

– Умоляючи просит ее переселить.

* * *

– Отчитывалась и даже шляпу не сняла! Это надо же!!!

* * *

– У ней предполагается молодой человек.

* * *

– Я за помощью добивался, но толку не было.

* * *

– Он создает невозможное совместное проживание.

* * *

– Он курирует многими судами.

Цветы красноречия

Зав. роно:

– Это создает нам очень некоторую трудность…

– Дефицит недокомплекта возрастает…

– В силу нежелания учиться мы определяем их в профтехнические школы.

* * *

Заврайздравом: – Вы, наверно, понимаете, что ребенок, родившись, должен жить и ни в коем случае не должен умирать.

Это – главный показатель. На этом показателе мы строим свою работу…

Несколько слов хотелось бы остановиться на таком вопросе…

Вместо «в конечном итоге» говорит «в конечной цели».

* * *

Это дело тянется, как Бобчинский и Добчинский.

* * *

Моя семья состоит в количестве три человека.

* * *

У нас народ очень щепетильный, любит культурные встречи.

* * *

– Это я к слову сказал.

– Что к слову говоришь, надо анализировать.

* * *

«Мы были бы счастливы, если бы вы повели непринужденный разговор о том, что дал Октябрь сидящим в зале – рабочей молодежи».

* * *

И нанес нам незаслуженные телесные наказания и оскорбления.

* * *

Жукова А. И.

Ул. Станкевича, 15, кв. 10.

Живет там с 42-го года. Не ладит с Петровой.

– За дальнейшее подобное поведение ее надо выселить. В 62-м г. 23 апреля она привела в негодность мои два утюга, то есть исцарапала их. А 7 января пробила мне новую кастрюлю, и ряд таких случаев, которые нельзя описать. Пусть Волкову подселят к нам, а Петровой предоставят комнату Волковой.

* * *

Бубликова Ольга Афанасьевна.

Ул. Станкевича, 12, кв. 5. Лет 35. Румяная, крепкая, про таких говорят: гладкая.

– Я взяла на воспитание ребенка. Ребенок весь был себе предоставлен. Весь был заброшен. Я его подобрала. А гражданка Левковская необыкновенная склочница и говорит, что мой муж ее оскорбил. А я ей говорю: он картошку жарил, а ты за своим столом стояла. Где ж он мог тебя оскорбить?

А как она убирается в свое дежурство? Никуда не годно! Никуда! Я считаю: если убирать, то на честность! На добросовестность. А она?..

* * *

Митрофанова Авдотья Петровна.

– Клопы замучили. И еще соседи отравляют жизнь.

* * *

Анна Ивановна Козодоева – милиция не прописывает. Бухнулась на колени. Боже ты мой… (Она теперь на ул. Неждановой, д. 17, кв. 17.)

– Не кидайте меня, не кидайте. Я ни к кому другому не пойду. Ой, прошу, прошу, не кидайте!

(Надо пойти в милицию.)

* * *

10 сентября 63-го г.

Всё в порядке: просто милиция не имеет права прописывать в подвале. Значит, будет она жить в неглубоком подвале в д. 17, кв. 17, а прописана останется в глубоком подвале дома 7, кв. 84. Эх-

ма…

* * *

«Прошу вас освободившуюся на территории ЖЭК жилую площадь **с удобствами** на депутатском совете **не распределять**, а передавать отделу учета и распределения жилой площади.

Зампредисполкома Фрунзенского райсовета Красильников».

Что же нам остается? Распределять «площадь без удобств» – чердаки и подвалы?

Кому это выгодно?

Речь депутата на заседании в райжилуправлении

– Мать имеет сына под влиянием. И находит причины, чтоб ссорить себя с женой сына и сына с женой. И жену ссорит и преследует. Сын прямо запил. И мы не погрешим, если сына переселим и сохраним семью. Ведь мы должны поощрять семью, а если мы не переселим, то ничего хорошего не будет – кто сопьется, кто психо-заболеет, кто – разрушит семью. Кому это на выгоду? Я спрашиваю, кому это на выгоду?

* * *

Роза Григорьевна Купчик.

(Старый ватник, стоптанные башмаки. Привела с собой дочку, девочку лет десяти в аккуратном пальтишке, зеленом кокетливом капюшоне.)

– Расселите меня с мужем. Это ж нет терпенья так жить. Пьет. Домой приходит пьяный, меня ненавидит, детей колотит. А дети сильно нервные. Мальчик Самуил. Ему четырнадцать лет. И вот, дочка Лида. Десять. Она очень, очень нервная.

– Мама, а почему ты мне дала русское имя, а Семе – еврейское?

– Потому, что твоего дедушку звали Самуил, пусть земля ему будет пухом.

Дочка:

– Ну и что же, что я еврейка. Подумаешь, страсти какие водятся!

Мать:

– Товарищ депутат, я прошу вас, расселите вы нас. Пусть в одной квартире, но в разных комнатах. Я с детьми – в одной, а он – в другой.

Дочка:

– Ну и что это поможет? Надо в разных квартирах! А еще бы лучше – на разных улицах! А УЖ ЛУЧШЕ ЛУЧШЕГО – В РАЗНЫХ ГОРОДАХ!

После приема я пошла к ним. Еще у входных дверей я услышала пронзительный вопль: уюю-юю-у-уй! Я не стучалась и вошла. Впервые я увидела, как человек бьется головой о стенку. Нервная девочка Лида билась головой о стенку и тонко, пронзительно вопила. Время от времени она плевала на валявшуюся на полу зеленую клетчатую ковбойку.

Мать (беспомощно): Понимаете, она поссорилась с братом и вот сердится на него. Топчет его ковбойку. Это – его ковбойка.

Брат лежит на колченогом диване и читает толстую растрепанную книгу. Длинный, худенький, но личико как бело-розовая пастила, и глаза – синие.

При виде меня девочка срывается с места и пулей вылетает из комнаты. Отец – плюгавый мужичонка в майке и потрепанных брюках – смотрит на меня очень внимательно.

– Видите, как я живу? – говорит он. – Я эту женщину ненавижу. Это никому не секрет. Другая уже повесилась бы или отравилась с горя, а она – ничего. Вот детей я люблю, а ее ненавижу.

Мальчик Сема, оторвавшись от книги:

– Папа, если ты меня так любишь, зачем ты меня колотишь?

– Я тебя не колочу, а учу. Меня в детстве еще хуже били. Так вот, товарищ депутат, я с этой женщиной уже четыре года не живу, вы понимаете, в каком смысле? А ей хоть бы что. Ее сестра такая же была. И мать тоже. А я еще мужчина молодой, вы понимаете, в каком смысле? Мне пятьдесят три года, и я хожу к женщинам…

Сема: Папа, а почему я должен про всё это знать?

Отец: Как будто ты этого и так не знаешь. И вот, хожу я к женщинам, а какая женщина пустит меня без водки? А если я пришел с водкой, значит, я ее пью. Что же я – принесу, она будет хлестать, а я смотреть? Конечно, я пью. Но я и заработаю. Я работаю в Главутильсырье. У меня в конторе чисто, не то что в этом хлеву. И я приношу домой двести рублей, как одну копейку. И, если на развод нужны деньги, я не пожалею. На что другое – пожалею, а на это – нет. Я ее ненавижу, понимаете? Я ее видеть не могу. Роза ее зовут. Вы видите эту розу? А меня зовут Яков

Самойлович. Зовите меня просто Яша. И помогите нам разъехаться, и чтоб я эту женщину больше не видел. А на детей я буду давать, потому что они мне – дети. (*Распаляясь.*) Нет, вы видели, чтоб мужчину держали в таком хлеву? Женщина должна быть опрятная. А она? Вы видите, какая она?

Жена (беззлобно): А вы видите это пятно на обоях? Он бросил в меня кастрюлю с супом. Я нагнулась, и суп прямо на обои. Ну, конечно, я нечистоплотная. Я если клопа увижу, я его сразу вывожу. Я обои своими руками клеила, а ты в эти обои кинул кастрюлю с супом. Что, не так? Ну, скажи честно, погляди в глаза товарищу депутату – не так?

– А может, и так. Какое это имеет значение? Главное, что я тебя не могу видеть. Другая на твоем месте давно утопилась бы.

– Что это я должна топиться? Топись сам. А мне детей жалко. Ты их бьешь и ругаешь последними словами. Хорошо это?

– Это – нехорошо, – откликается с дивана бело-розовый худенький мальчик и смотрит на меня улыбаясь.

Четвертая речь председателя домкома

– Сейчас я скажу про самовольщиков. Я против тех скажу, кто самовольно вселяется. Это – нахалы. И защищать нечего.

Самовольное вселение – это я вам верно говорю – есть бич. Возьмем подвал на Белинского пять. Этот подвал мы уже решали. Но придется опять решать. Там жила семья Рахматулиных. Это такая национальность, скажу я вам. Собираются, понимаешь, скопом. И занимают освободившуюся площадь. А мы не можем поощрять самовольщиков. Зачем в открытую дверь ломиться, как, можно сказать, упрямые ослы…

Рахматулины заняли комнату 18 метров в связи, что под их подвалом котельная. Но разве это причина? Я озеленял этот дом, сажал во дворе двадцать деревьев и знаю, что не так там и плохо. Вполне могли бы жить.

Конечно, их бывший подвал надо ликвидировать, но не таким путем, чтоб самовольно вселяться. Мы татар поощрять не должны. Они, конечно, жили в подвале плохо. Но это еще не причина. Что же с нами станется, если мы будем входить в положение? Раз войдем в положение, два войдем, три войдем, что же это будет? Надо установить и как-то решать и ликвидировать их недопустимое проживание. И надо, товарищи, раз и навсегда ударить по самовольщикам! А татар поощрять не надо.

* * *

Гурьева: Подземные воды заливают. Ведь на Станкевича 4, кв. 1 давно умер старик. Когда ж это было? Ну, ей-богу, дедушка тот еще в апреле помер, комната стоит пустая, а мы в воде брызгаемся. Несправедливо! И еще на Герцена 22, кв. 8 тоже ктой-то помер. Там 12 метров. (Подвал на ул. Неждановой, д. 8, кв. 25.)

* * *

19 окт. 63 г.

Всё так и даже гораздо хуже. Подвал глубиной 4 метра. Темно. Пол покрыт фанерой. Под фанерой – вода. Высота – полтора метра.

Слава отказался ходить в детский сад:

– Мальчишки дерут за уши. Не пойду ни за что! (на этих словах откуда-то выскочила овчарка – с теленка! Я не дрогнула!)

Мать:

– Похлопочите, чтоб дали нам две комнатки на Герцена д. 22, кв.18 – там 12 и 16 метров. И соседи такие хорошие.

– А почему вы думаете, что соседи хорошие?

Мать:

– Наши девочки им почту носят. А почтальон первый знает, какая квартира – скандальная или нет. Первый признак – почтовый ящик общий. Если бы скандальные жильцы, они бы знаете сколько ящиков понавесили бы? Ну, что вы… первый признак…

* * *

25 октября 63 года.

Депутатская комиссия при ЖЭКе. Постановили – НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСЕЛИТЬ! Со снятием с очереди.

Наталья Никитична:

– Согласна, согласна, на всё согласна! Только бы выбраться из подвала!

Пятая речь председателя домкома. Очень длинная

– Я хочу про очень больной вопрос. У нас в доме 11 по Станкевича освободилась отдельная квартира, но мы ее почему-то не распределяем. А семья бывших Ножкиных живет между небом и землей. Мы очень крайне возмущены, и получается, что семья

бывших Ножкиных скитается в зимнее время, где день, где ночь. У них, можно сказать, аварийное положение. Я не преувеличиваю, а говорю, как есть в натуре. И такое издевательство нетерпимо.

Председатель депутатской комиссии:

– Вы утрируете!

– Ну и что, что утрирую? Зачем у вас такое соображение? Мое соображение должно быть самое верное, потому что я самое нутро знаю, и это нутро я вам сейчас докладываю. Вы хотите бывших Ножкиных на Огарева три, а туда в открытую форму ТБЦ никого вселять нельзя.

Председатель депутатской комиссии: – Вы вот вовремя не бунтуете, а post-factum начинаете выискивать факты.

– Какие такие факты, когда семья бывших Ножкиных состоит из, значит, пяти человек? Но беда в том, что Ножкин этот отчим и категорически протестует. Вот что создает трудность. Надо правильно осветить вопрос, почему, дескать, не берет он площадь на Огарева три. Тут не только в том причина, что якобы много на одну семью, и притом открытая форма ТБЦ, тут вспомните недавний случай, когда натолкнулись на излишки. А на самом деле ошибка, что не подключили мужа в учетное дело жены, и он, как отчим, протестует. А как же разрядить обстановку? Тут говорят: в кухне не повернуться. А чего им вертеться? Они живут между небом и землей, они куда хочешь поедут, не то чтоб на кухне вертеться. К чему я веду разговор? Ножкин этот, отчим, претендует, а раз он претендует, я поддерживаю.

Второй приход Розы Григорьевны Купчик

– Товарищ депутат, мы все очень волнуемся. Мальчик Сема волнуется. Вы от нас ушли со смутным лицом, и сын Сема сказал: она подаст на папу в суд. И тогда я буду грызть свою совесть. Пойди, мама, к депутату и скажи, чтоб она не подавала в суд.

Ну, вот я пришла и говорю, а сама думаю: чего он его жалеет? Ведь отец его в пятницу так избил, что разбил какую-то косточку в носу. Кровь лилась рекой. Отец даже сам испугался и даже плакал и прощения просил. Я глядела и думала: эх, было бы так всегда. Мальчик такой хороший, что поискать. Он хочет кончить восемь классов и пойти по радио. Говорит: куплю тебе пальто и ботинки. А я говорю: хорошо, если на шнурки хватит. Если бы муж меня бросил, это очень хорошо было б. Но не бросает. Может, потому, что я безответная? Безответные на дороге не валяются. Он и сам говорит: я такую дуру, как ты, больше не найду.

Так вот, товарищ депутат, вы на него в суд не подавайте.

Сема вас очень, очень просит.

* * *

А пьяный Купчик ночью орет Семе: «Я тебя убью, как Петр I убил своего сына. Я тебя родил – и я тебя убью!»

Шестая речь председателя домкома

…И еще я хочу сказать про доверие. Мы говорим: доверие, доверие. А что получается? Приведу пример. Мы взяли на учет гражданку Гришкину. У нее было аварийное положение, и это побудило о том, чтобы дать ей комнату. И на днях что делает Гришкина? Она быстро находит себе мужа. Как в сказке. За неделю у ней появился муж. Подумайте, за неделю! Это что ж такое? Она именует себя кандидатом каких-то наук, уж не знаю, какие такие науки она преподает, если она как на железной дороге разбойник. Снимай пальто.

Не прерывайте меня, а давайте последовательно.

Теперь эта Гришкина вдвоем с мужем объединяют свои площади и обмениваются на отдельную двухкомнатную. Провели вокруг ЖЭК, как говорится. Вот к чему приводит доверие. Я за доверие, но давайте проверять!

Третий приход Р. Г. Купчик

– Ах, товарищ депутат, если бы вы знали, какое горе: Сему сбила машина. У Театра имени Пушкина. Лежит в больнице с сотрясением мозга.

Когда Сема очнулся, он знаете что сказал? «Я возьму вину на себя, мне водителя жалко».

Вот как он сказал. Товарищ депутат, видели вы еще таких детей?

Р. Г. Купчик родилась… в Париже.

Дело Бродского

Предисловие

– Прекратите записывать! – требование судьи.

Фрида Вигдорова не прекращает.

– Отнять у нее записи! – выкрик из зала.

Вигдорова записывает. Иногда украдкой, иногда открыто.

– Эй вы, там, которая пишет! Отнять у нее записи, и всё тут!

Фрида продолжает упорно. Да и как же не писать, удержаться? Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Зощенко. Заседатели, общественный обвинитель, судья. Что ни слово судьи – то образец беззакония, что ни слово обвинителя – то бессвязный рык воинствующего невежества. Что ни справка – то подлог. Судят литератора, а собрана аудитория, наименее подготовленная к восприятию литературы.

Жизнь – великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной оконченности. Судят не кого-нибудь, а поэта, и не за что-нибудь, а за безделье, за тунеядство. На суде столкнулись две силы, извечно противостоящие друг другу: интеллигенция и бюрократия. Сила одухотворенного слова и сила циркуляра, казенщины.

В центре столкновения – наверное, для наглядности! – жизнь поставила поэта. А запечатлеть глумление над ним поручила женщине столь же талантливой, сколь и правдивой, энергической, не щадящей себя, смелой.

Имя педагога, писательницы, журналистки Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915–1965) приобрело особо широкую известность в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Своими статьями в печати – в «Известиях», в «Комсомольской правде», в «Литературной газете» – ей не раз удавалось способствовать восстановлению справедливости.

Однако запись двух судов над Иосифом Бродским напечатанью не подлежала. Ни одна газета не рискнула сделать ее достоянием гласности. Документ, соединяющий словесную

живопись с безупречною точностью, ходил по рукам, его без устали перестукивали на машинке многочисленные поклонники поэзии Бродского. Запись эта стала одним из первых произведений едва нарождающегося Самиздата. На Родине прочли ее сотни людей, самовольно перекочевала она и на Запад. Роль ее росла с каждым днем: Ф. Вигдорова обращалась с юридически обоснованными жалобами во все инстанции – и прилагала ко всем заявлениям, жалобам, просьбам свою запись.

Неопровержимо точный, обличающий беззаконие документ производил сильное впечатление на всех, кто читал его, – на всех, кроме адресатов. Чиновникам из Министерства юстиции ведомо было, что истинные организаторы расправы с Бродским – люди весьма высокостоящие. А какая же газета, какая благоразумная инстанция рисковала в ту пору противиться чиновничьей власти? (Многие ли рискуют теперь?)

Бродского защищали многочисленные поклонники его поэзии – чуть ли не вся интеллигентная молодежь Ленинграда. Что ж! Тем хуже для них и для него! Вступились за Бродского литераторы и ученые, члены и не члены Союза писателей, побывавшие на суде или только прочитавшие после суда запись Вигдоровой: Н. Грудинина, Н. Долинина, Э. Линецкая, Д. Дар, Б. Вахтин, Я. Гордин, Р. Орлова, Л. Копелев, В. Иванов, А. Ивич, Е. Гнедин, И. Рожанский, Н. Кинд, М. Поливанов и др. Высоко отозвались на суде о его даровании такие мастера, теоретики, знатоки художественного перевода и стиха, как члены Союза писателей, профессора Педагогического института имени Герцена В. Г. Адмони и Е. Г. Эткинд… Но что они все со всеми своими писаниями и ученостью для высокопоставленных секретарей? Грош им цена. Правда, деятельно вступались за Бродского и до, и во время, и после суда такие знаменитые люди, как Анна Ахматова, Д. Шостакович, К. Паустовский, С. Маршак, К. Чуковский… На их мнение плевать неудобно. И потому судьи прибегли к другому способу: не дали прозвучать в зале их именам. Суд не разрешил юристу – защитнице Бродского З. Н. Топоровой – огласить их телеграммы, их письма. Услыхав громкое имя, вдруг да и опомнится кто-нибудь в зале суда?

Схема допроса: «Отвечайте суду, почему вы не работали?» – «Я работал. Я писал стихи». – «Отвечайте, почему вы не трудились?» – «Я трудился. Я писал стихи». – «А почему вы не учились этому в вузе?» – «Я думал… я думал, это от Бога».

Уверенность в безусловности своего дара требовала от Бродского углублять и расширять свои знания. Он самостоятельно изучил несколько языков, усердно читал книги по истории литературы и по философии. С юности был он одержим творческим труженичеством. Одержимость самобытным трудом заразительна – более того, как всякая сконцентрированная духовная сила, она – власть. Для упорядоченного бюрократического общества она опасна.

Запись, сделанная Фридой Вигдоровой, заставляла каждого, кто прочел этот художественный документ, пережить судилище с гневом, с горечью – словно оскорбление нанесено было лично ему. Такова сила искусства. Думаю, и современный читатель, углубившись в текст, воспримет его с тою же болью.

…Бродскому выпал завидный жребий отстаивать – и отстоять! – честь русской поэзии. Дома и за рубежом. Честь вооружить интеллигенцию для отпора бюрократии выпала Фриде Вигдоровой. Настойчивые адвокаты Бродского помешали бюрократии доконать поэта. Бродский вернулся из ссылки не через пять лет, а через полтора года.

Они не встретились – Иосиф Бродский и Фрида Вигдорова. Она скончалась от рака 7 августа 1965 года, за месяц до его освобождения[58].

Лидия Чуковская

Судилище

Первый суд над Иосифом Бродским

Зал суда Дзержинского района,
г. Ленинград, ул. Восстания, 36.
18 февраля 1964 года
Судья САВЕЛЬЕВА

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне.) Сейчас же прекратите записывать! А то выведу из зала. (Бродскому.) У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…

Судья: Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.

Бродский: У меня были договоры с издательством.

Судья: Так и отвечайте. У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите, какие, от какого числа, на какую сумму?

Бродский: Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.

Судья: Я спрашиваю вас.

Бродский: В Москве вышли две книги с моими переводами… (Перечисляет.)

Судья: Ваш трудовой стаж?

Бродский: Примерно…

Судья: Нас не интересует «примерно»!

Бродский: Пять лет.

Судья: Где вы работали?

Бродский: На заводе. В геологических партиях…

Судья: Сколько вы работали на заводе?

Бродский: Год.

Судья: Кем?

Бродский: Фрезеровщиком.

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…

Бродский: Я не думал… я не думал, что это дается образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это… (растерянно) от Бога…

Судья: У вас есть ходатайства к суду?

Бродский: Я хотел бы знать: за что меня арестовали?

Судья: Это вопрос, а не ходатайство.

Бродский: Тогда у меня нет ходатайства.

Судья: Есть вопросы у защиты?

Адвокат: Есть. Гражданин Бродский, ваш заработок вы вносите в семью?

Бродский: Да.

Адвокат: Ваши родители тоже зарабатывают?

Бродский: Они пенсионеры.

Адвокат: Вы живете одной семьей?

Бродский: Да.

Адвокат: Следовательно, ваши средства вносились в семейный бюджет?

Судья: Вы не задаете вопросы, а обобщаете. Вы помогаете ему отвечать. Не обобщайте, а спрашивайте.

Адвокат: Вы находитесь на учете в психиатрическом диспансере?

Бродский: Да.

Адвокат: Проходили ли вы стационарное лечение?

Бродский: Да, с конца декабря 63-го года по 5 января этого года в больнице имени Кащенко, в Москве.

Адвокат: Не считаете ли вы, что ваша болезнь мешала вам

подолгу работать на одном месте?

Бродский: Может быть. Наверно. Впрочем, не знаю. Нет, не знаю.

Адвокат: Вы переводили стихи для сборника кубинских поэтов?

Бродский: Да.

Адвокат: Вы переводили испанские романсеро?

Бродский: Да.

Адвокат: Вы были связаны с переводческой секцией Союза писателей?

Бродский: Да.

Адвокат: Прошу суд приобщить к делу характеристику бюро секции переводчиков… Список опубликованных стихотворений… Копии договоров… Телеграмму: «Просим ускорить подписание договора». (Перечисляет. И даже из одного перечисления ясно, что обвинение в тунеядстве – пыль.) И я прошу направить гражданина Бродского на медицинское освидетельствование для заключения о состоянии здоровья и о том, препятствовало ли оно регулярной работе. Кроме того, прошу немедленно освободить гражданина Бродского из-под стражи. Считаю, что он не совершил никаких преступлений и что его содержание под стражей – незаконно. Он имеет постоянное место жительства и в любое время может явиться по вызову суда.

Суд удаляется на совещание. А потом возвращается, и судья зачитывает постановление:

Направить на судебно-психиатрическую экспертизу, перед которой поставить вопрос, страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. Вернуть материал в милицию для дополнительной проверки его заработков. Учитывая, что из истории болезни видно, что Бродский уклонялся от госпитализации, предложить отделению милиции № 18 доставить его для прохождения судебно-

психиатрической экспертизы.

Судья: Есть у вас вопросы?

Бродский: У меня просьба – дать мне в камеру бумагу и перо.

Судья: Это вы просите у начальника милиции.

Бродский: Я просил, он отказал. Я прошу бумагу и перо.

Судья (смягчаясь): Хорошо, я передам.

Бродский: Спасибо.

Когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи.

Судья: Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!

Из толпы: Не каждый день судят поэта!

Судья: А нам всё равно – поэт или не поэт!

По мнению защитницы З. Н. Топоровой, судья Савельева должна была освободить Бродского из-под стражи, чтобы он на другой день сам пошел в указанную психиатрическую больницу на экспертизу, но она оставила его под арестом, так что и в больницу он был отправлен под конвоем.

Второй суд над Иосифом Бродским

Зал Клуба строителей, г. Ленинград, Фонтанка, 22.
13 марта 1964 года.
Судья САВЕЛЬЕВА

Заключение экспертизы гласит: «В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка».

Идущих на суд встречает объявление: СУД НАД ТУНЕЯДЦЕМ

БРОДСКИМ. Большой зал Клуба строителей полон народа.

– Встать! Суд идет!

Судья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни сейчас он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводят для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 234 (перечисляет) ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе.

Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, а потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали… (Перечисляет места работы и следовавшие затем перерывы.) Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.

Судья: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?

Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне всё было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья: А что вы сделали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь! Воображает!

Другой голос: Он поэт. Он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи

приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет.

Сорокин (общественный обвинитель)[59]: Вы говорите про будущие поколения. Вы что, считаете, что вас сейчас не понимают?

Бродский: Я этого не сказал. Просто мои стихи еще не опубликованы, и люди их не знают.

Сорокин: Вы считаете, что если бы их знали, то признали бы?

Бродский: Да.

Сорокин: Вы говорите, что у вас любознательность сильно развита. Почему же вы не захотели служить в Советской армии?

Бродский: Я не буду отвечать на такие вопросы.

Судья: Отвечайте!

Бродский: Я был освобожден от военной службы. Не «не захотел», а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.

Сорокин: Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

Сорокин: Но надо же обуваться, одеваться.

Бродский: У меня один костюм – старый, но уж какой есть. И другого мне не надо.

Адвокат: Оценивали ли ваши стихи специалисты?

Бродский: Да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю.

Адвокат: Была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей?

Бродский: Да. Я выступал в альманахе, который называется «Впервые на русском языке», и читал переводы с польского.

Судья (защитнице): Вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях.

Адвокат: Его переводы и есть его полезная работа.

Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало вам трудиться.

Бродский: А я трудился. Я писал стихи.

Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?

Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица…

Судья: Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?

Бродский: Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который…

Судья: Оставьте высокие фразы! Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.

Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и всё равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?

Бродский: Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.

Судья: Вы сделали для себя выводы из выступления печати?

Бродский: Статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.

Судья: Значит, вы других выводов не сделали?

Бродский: Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.

Адвокат: Вы сказали, что статья «Окололитературный трутень», опубликованная в газете «Вечерний Ленинград», неверна[60]. Чем?

Бродский: Там только имя и фамилия верны. Даже возраст неверен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы?

Адвокат: Вы считаете свой труд полезным. Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели?

Судья (адвокату, иронически): Вы только для этого свидетелей и вызвали?

Сорокин (Бродскому): Как вы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского?

Бродский: Вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод.

Судья: Свидетельница Грудинина!

Грудинина: Я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение семи лет была членом комиссии по работе с

молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода «Светлана». По просьбе издательств составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом, практически знаю работу почти всех молодых поэтов города.

Работа Бродского, как начинающего поэта, известна мне по его стихам 1959 и 1960 годов. Это были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась.

После опубликования статьи «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде» я вызвала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос – чем он занимается сейчас? – ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления.

Как профессиональный поэт и литературовед по образованию, я утверждаю, что переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк, кроме того я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях.

По личному опыту художественного перевода я знаю, что такой объем работы требует от автора не менее полугода уплотненного рабочего времени, не считая хлопот по изданию стихов и консультаций специалистов. Время, нужное для таких хлопот, учету, как известно, не поддается. Если расценить даже по самым низким издательским расценкам те переводы, которые я видела собственными глазами, то у Бродского уже наработано примерно 350 рублей новыми деньгами, и вопрос лишь в том, когда будет напечатано полностью всё сделанное.

Кроме договоров на переводы, Бродский представил мне договоры с радио и телевидением, работа по которым уже выполнена, но также еще полностью не оплачена.

Из разговора с Бродским и людьми, его знающими, я знаю,

что живет Бродский очень скромно, отказывает себе в одежде и развлечениях, основную часть времени просиживает за рабочим столом. Получаемые за свою работу деньги вносит в семью.

Адвокат: Нужно ли для художественного перевода стихов знать творчество автора вообще?

Грудинина: Да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос.

Адвокат: Уменьшается ли оплата за переводы, если переводишь по подстрочникам?

Грудинина: Да, уменьшается. Переводя по подстрочникам венгерских поэтов, я получала за строчку на рубль (старыми деньгами) меньше.

Адвокат: Практикуется ли переводчиками работа по подстрочнику?

Грудинина: Да, повсеместно. Один из крупнейших ленинградских переводчиков, А. Гитович, переводит с древнекитайского по подстрочникам.

Заседатель Лебедева: Можно ли самоучкой выучить чужой язык?

Грудинина: Я изучила самоучкой два языка в дополнение к тем, которые изучила в университете.

Адвокат: Если Бродский не знает сербского языка, может ли он, несмотря на это, сделать высокохудожественный перевод?

Грудинина: Да, конечно.

Адвокат: А не считаете ли вы подстрочник предосудительным использованием чужого труда?

Грудинина: Боже сохрани.

Заседатель Лебедева: Вот я смотрю книжку. Тут же у Бродского всего два маленьких стишка.

Грудинина: Я хотела бы дать некоторые разъяснения,

касающиеся специфики литературного труда. Дело в том…

Судья: Нет, не надо. Так, значит, какое ваше мнение о стихах Бродского?

Грудинина: Мое мнение, что как поэт он очень талантлив и на голову выше многих, кто считается профессиональным переводчиком.

Судья: А почему он работает в одиночку и не посещает никаких литературных объединений?

Грудинина: В 1958 году он просил принять его в мое литобъединение. Но я слышала о нем как об истеричном юноше и не приняла его, оттолкнув собственными руками. Это была ошибка, я очень о ней жалею. Сейчас я охотно возьму его в свое объединение и буду с ним работать, если он этого захочет.

Заседатель Тяглый: Вы сами когда-нибудь лично видели, как он лично трудится над стихами, или он пользовался чужим трудом?

Грудинина: Я не видела, как Бродский сидит и пишет. Но я не видела, и как Шолохов сидит за письменным столом и пишет. Однако это не значит, что…

Судья: Неудобно сравнивать Шолохова и Бродского. Неужели вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Ведь у Бродского всего семь классов.

Грудинина: Объем знаний у него очень большой. Я в этом убедилась, читая его переводы.

Сорокин: Читали ли вы его нехорошие порнографические стихи?

Грудинина: Нет, никогда.

Адвокат: Вот о чем я хочу вас спросить, свидетельница. Продукция Бродского за 1963 год такая: стихи в книге «Заря над Кубой», переводы стихов Галчинского (правда, еще не опубликованные), стихи в книге «Югославские поэты», песни гаучо и публикации в «Костре». Можно ли считать это серьезной работой?

Грудинина: Да, несомненно. Это наполненный работой год. А деньги эта работа может принести не сегодня, а несколько лет спустя. Неправильно определять труд молодого поэта суммой полученного в данный момент гонорара. Молодого автора может постичь неудача, может потребоваться новая длительная работа. Есть такая шутка: разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест.

Судья: Нам не понравилось это ваше заявление. В нашей стране каждый человек получает по своему труду и потому не может быть, чтобы он работал много, а получал мало. В нашей стране, где такое большое участие уделяется молодым поэтам, вы говорите, что они голодают. Почему вы сказали, что молодые поэты не едят?

Грудинина: Я так не сказала. Я предупредила, что это шутка, в которой есть доля правды. У молодых поэтов очень неравномерный заработок.

Судья: Ну, это уж от них зависит. Нам этого не надо разъяснять. Ладно, вы разъяснили, что ваши слова шутка. Примем это объяснение.

(Вызывает нового свидетеля – Эткинда Ефима Григорьевича.)

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. (Берет паспорт.) Эткинд… Ефим Гершевич… Мы вас слушаем.

Эткинд (член Союза писателей, преподаватель Института имени Герцена): По роду моей общественно-литературной работы, связанной с воспитанием начинающих переводчиков, мне часто приходится читать и слушать переводы молодых литераторов. Около года назад мне довелось познакомиться с работами Бродского. Это были переводы стихов замечательного польского поэта Галчинского, стихи которого у нас еще мало известны и почти не переводились. На меня произвели сильное впечатление ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха. Поразило меня и то, что Бродский самостоятельно, без всякой посторонней помощи изучил польский язык. Стихи Галчинского он прочел по-польски с таким же увлечением, с каким он читал свои русские переводы. Я понял,

что имею дело с человеком редкой одаренности и – что не менее важно – трудоспособности и усидчивости. Переводы, которые я имел случай читать позднее, укрепили меня в этом мнении. Это, например, переводы из кубинского поэта Фернандеса, опубликованные в книге «Заря над Кубой», и из современных югославских поэтов, печатаемые в сборнике Гослитиздата. Я много беседовал с Бродским и удивился его познаниям в области американской, английской и польской литературы.

Перевод стихов – труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход – дело далекого будущего. Можно несколько лет переводить стихи и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа – всё это дается далеко не сразу. Всё, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее. Это не только мое мнение. Бюро секции переводчиков, узнав о том, что издательство расторгло с Бродским заключенные с ним договоры, приняло единодушное решение ходатайствовать перед директором издательства о привлечении Бродского к работе, о восстановлении с ним договорных отношений.

Мне доподлинно известно, что такого же мнения придерживаются крупнейшие авторитеты в области поэтического перевода: Маршак и Чуковский, которые…

Судья: Говорите только о себе!

Эткинд: Бродскому нужно предоставить возможность работать как поэту-переводчику. Вдали от большого города, где нет ни нужных книг, ни литературной среды, это очень трудно, почти невозможно. Повторяю, на этом пути, по моему глубокому убеждению, его ждет большое будущее. Должен сказать, что я очень удивился, увидев объявление: «Суд над тунеядцем Бродским».

Судья: Вы же знали это сочетание.

Эткинд: Знал. Но никогда не думал, что такое сочетание будет принято судом. При стихотворной технике Бродского ему ничего не мешало бы халтурить, он мог бы переводить сотни строк, если бы он работал легко, облегченно. Тот факт, что он зарабатывал мало денег, не означает, что он не трудолюбив.

Судья: А почему он не состоит ни в каком коллективе?

Эткинд: Он бывал на наших переводческих семинарах…

Судья: Ну, семинары…

Эткинд: Он входит в этот семинар в том смысле…

Судья: А если без смысла? (Смех в зале.) То есть я хочу спросить: почему он не входил ни в какое объединение?

Эткинд: У нас нет членства, поэтому я не могу сказать «входил». Но он ходил к нам, читал свои переводы.

Судья (Эткинду): Были ли у вас недоразумения в работе, в вашей личной жизни?

Эткинд (с удивлением): Нет. Впрочем, я уже два дня не был в Институте. Может быть, там что-нибудь и произошло.

(Вопрос аудитории и, по-видимому, свидетелю остался непонятным.)

Судья: Почему вы, говоря о познаниях Бродского, напирали на иностранную литературу? А почему вы не говорите про нашу, отечественную литературу?

Эткинд: Я говорил с ним как с переводчиком и поэтому интересовался его познаниями в области американской, английской, польской литературы. Они велики, разнообразны и не поверхностны.

Смирнов (Свидетель обвинения, начальник Дома обороны): Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей как Бродский, нам коммунизм долго не построить. Разум – оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он – умный и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственным кормильцем семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят – талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И

антисоветские строчки?

Бродский: Это неправда.

Смирнов: Ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать – ах, спасите молодого человека! А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению.

Бродский: Когда меня освободили как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить?

Смирнов: Я познакомился с вашим личным дневником.

Бродский: На каком основании?

Судья: Я снимаю этот вопрос.

Смирнов: Я читал его стихи.

Адвокат: Вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных.

Смирнов: Знаю, и всё…

Судья: Свидетель Логунов.

Логунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части): С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским – Олег ездил с агитбригадой, он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том

плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому.

Адвокат: Надо же все-таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они…

Судья: Вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям. Свидетель Денисов!

Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеку – нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считал, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет.

Судья: Свидетель Николаев!

Николаев (пенсионер): Я лично с Бродским не знаком. Я хочу сказать, что знаю о нем три года по тому тлетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына, который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42 главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица: скажи, кто твои друзья… Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мне мой сын тоже говорит, что считает себя гением. Он, как и Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают тлетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь родителям Бродского. Они, видно, подпевали ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но

нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он воинствующий тунеядец! С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. (Аплодисменты.)

Заседатель Тяглый: Вы считаете, что на вашего сына повлияли стихи Бродского?

Николаев: Да.

Судья: Отрицательно повлияли?

Николаев: Да.

Адвокат: Откуда вы знаете, что это стихи Бродского?

Николаев: Там была папка, а на папке написано: «Иосиф Бродский».

Адвокат: Ваш сын был знаком с Уманским?

Николаев: Да.

Адвокат: Почему же вы думаете, что это Бродский, а не Уманский тлетворно повлиял на вашего сына?

Николаев: Я считаю: Бродский и иже с ним. У Бродского стихи позорные и антисоветские.

Бродский: Назовите мои антисоветские стихи. Скажите хоть строчку из них.

Судья: Цитировать не позволю!

Бродский: Но я же хочу знать, о каких стихах идет речь! Может, они не мои?

Николаев: Если бы я знал, что буду выступать в суде, я бы сфотографировал и принес.

Судья: Свидетельница Ромашова!

Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в Училище имени Мухиной): Я лично Бродского не знаю. Но его так

называемая деятельность мне известна. Пушкин говорил, что талант – это прежде всего труд. А Бродский? Разве он трудится, разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я, как секретарь партийной организации Училища имени Мухиной, могу сказать, что он плохо влияет на молодежь.

Адвокат: Вы когда-нибудь видели Бродского?

Ромашова: Никогда. Но так называемая деятельность Бродского позволяет мне судить о нем.

Судья: А факты вы можете какие-нибудь привести?

Ромашова: Я, как воспитательница молодежи, знаю отзывы молодежи о стихах Бродского.

Адвокат: А сами вы знакомы со стихами Бродского?

Ромашова: Знакома. Это у-ужас! Не считаю возможным их повторять! Они ужа-а-сны!

Судья: Свидетель Адмони! Если можно, ваш паспорт, поскольку фамилия необычная.

Адмони (профессор Института имени Герцена, лингвист, литературовед, переводчик): Когда я узнал, что Иосифа Бродского привлекают к суду по обвинению в тунеядстве, я счел своим долгом высказать перед судом и свое мнение. Я считаю себя вправе сделать это в силу того, что 30 лет работаю с молодежью как преподаватель вузов, в силу того, что я давно занимаюсь переводами.

С Иосифом Бродским я почти не знаком. Мы здороваемся, но, кажется, не обменялись даже двумя фразами. Однако в течение, примерно, последнего года или несколько больше я пристально слежу за его переводческими работами – по его выступлениям на переводческих вечерах, по публикациям. Потому, что это переводы талантливые, яркие. И на основании этих переводов из Галчинского, Фернандеса и других я могу со всей ответственностью сказать, что они требовали чрезвычайно большой работы со стороны их автора. Они свидетельствуют о

большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изучил и самые языки. Поэтому для меня ясно, что он трудится – трудится напряженно и упорно. А когда я сегодня – только сегодня – узнал, что он вообще кончил только семь классов, то для меня стало ясно, что он должен был вести поистине гигантскую работу, чтобы приобрести такое мастерство и такую культуру, которыми он обладает. К работе поэта-переводчика относится то, что Маяковский говорил о работе поэта: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Тот Указ, по которому привлечен к ответственности Бродский, направлен против тех, кто мало работает, а не против тех, кто мало зарабатывает. Тунеядцы – это те, кто мало работает. Поэтому обвинение Бродского в тунеядстве является нелепостью. Нельзя обвинять в тунеядстве человека, который работает так, как Иосиф Бродский, – работает упорно, много, не думая о больших заработках, готовый ограничить себя самым необходимым, чтобы только совершенствоваться в своем искусстве и создавать полноценные художественные произведения.

Судья: Что вы говорили о том, что не надо судить тех, кто мало зарабатывает?

Адмони: Я говорил: суть указа в том, что судить надо тех, кто мало работает, а не тех, кто мало зарабатывает.

Судья: Что же вы хотите этим сказать? А вы читали указ от 4 мая? Коммунизм создается только трудом миллионов.

Адмони: Всякий труд, полезный для общества, должен быть уважаем.

Заседатель Тяглый: Где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал?

Адмони (улыбнувшись): Он читал по-русски. Он переводит с иностранного языка на русский.

Судья: Если вас спрашивает простой человек, вы должны ему объяснить, а не улыбаться.

Адмони: Я и объясняю, что переводит он с польского и сербского на русский.

Судья: Говорите суду, а не публике.

Адмони: Прошу простить меня. Это профессорская привычка – говорить, обращаясь к аудитории.

Судья: Свидетель Воеводин! Вы лично Бродского знаете?

Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи, и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может.

В Союз писателей была передана папка стихов Бродского. В них три темы: первая тема – отрешенности от мира, вторая – порнографическая, третья тема – тема нелюбви к родине, к народу, где Бродский говорит о родине чужой[61]. Погодите, сейчас вспомню… «однообразна русская толпа»[62]. Пусть эти безобразные стихи останутся на его совести. Поэта Бродского не существует. Переводчик, может, и есть, а поэта не существует! Я абсолютно поддерживаю выступление товарища, который говорил о своем сыне, на которого Бродский влиял тлетворно. Бродский отрывает молодежь от труда, от мира и жизни. В этом большая антиобщественная роль Бродского.

Судья: Обсуждали вы на комиссии талант Бродского?

Воеводин: Было одно короткое собрание, на котором речь шла о Бродском. Но обсуждение не вылилось в широкую дискуссию. Повторяю, Бродский ограничивался полупохабными эпиграммами, а в Союз ходил редко. Мой друг поэт Куклин однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского.

Адвокат: Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия?

Воеводин: С Эткиндом, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали.

Адвокат: А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно?

Воеводин: Нет, она известна не всем членам комиссии.

Бродский: А каким образом у вас оказались мои стихи и мой дневник?

Судья: Я этот вопрос снимаю. Гражданин Бродский, вы работали от случая к случаю. Почему?

Бродский: Я уже говорил: я работал всё время. Штатно, а потом писал стихи. (С отчаянием.) Это работа – писать стихи!

Судья: Но ваш заработок очень невелик. Вы говорите, за год получаете 250 рублей, а по справкам, которые представила милиция, – 100 рублей.

Адвокат: На предыдущем суде было постановлено, чтобы милиция проверила и справки о заработке, а это не было сделано.

Судья: Вот в деле есть договор, который вам прислали из издательства. Так ведь это просто бумажка, никем не подписанная.

(Из публики посылают судье записку о том, что договоры сначала подписывает автор, а потом руководители издательства.)

Судья: Прошу мне больше записок не посылать.

Общественный обвинитель Сорокин: Наш великий народ строит коммунизм. В советском человеке развивается замечательное качество – наслаждение общественно-полезным трудом. Процветает только то общество, где нет безделья. Бродский далек от патриотизма. Он забыл главный принцип – кто не работает, тот не ест. А Бродский на протяжении многих лет ведет жизнь тунеядца. В 1956 году он бросил школу и поступил на завод. Ему было 15 лет. В том же году – увольняется. (Повторяет послужной список и перерывы в штатной работе снова объясняет бездельем. Будто и не звучали все объяснения

свидетелей защиты о том, что литературный труд тоже работа.)

Мы проверили, что Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит 150.

Бродский: Это аванс! Это только аванс! Часть того, что я потом получу!

Судья: Молчите, Бродский!

Сорокин: Там, где Бродский работал, он всех возмущал своей недисциплинированностью и нежеланием работать. Статья в «Вечернем Ленинграде» вызвала большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. (Читает письма.) Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан. У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына на консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легковерный военкомат. Еще до вызова в военкомат Бродский пишет своему другу Шахматову, ныне осужденному: «Предстоит свидание с комитетом обороны. Твой стол станет надежным убежищем моих ямбов».

Бродский принадлежал к компании, которая сатанинским хохотом встречала слово «труд» и с почтением слушала своего фюрера Уманского. Бродского объединяет с ним ненависть к труду и советской литературе. Особенным успехом пользуется здесь набор порнографических слов и понятий. Шахматова Бродский называл сэром. Не иначе. Шахматов был осужден. Вот из какого зловонного местечка появился Бродский. Говорят об одаренности Бродского. Но кто это говорит? Люди, подобные Бродскому и Шахматову.

Мой сосед кричит с места: Кто? Чуковский и Маршак подобны Шахматову?

Подходят дружинники и выводят его.[63]

Сорокин: Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы, жучки… Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стишки. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности: станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя.

Он тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего нашу родину? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он писал в своих стихах: «Люблю я родину чужую». В его дневниках есть запись: «Я уже долго думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли». Он писал еще так: «Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль». Маркса он называет так: «старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек». В одном письме он пишет: «Плевать я хотел на Москву».

Вот чего стоит Бродский и все, кто его защищает.

(Затем цитируется письмо одной девушки, которая с неуважением пишет о Ленине. Остается совершенно неясным, какое отношение ее письмо имеет к Бродскому: оно не им написано и не ему адресовано.)

В эту минуту судья обращается ко мне. Прекратите записывать!

Я: Товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Нет.

Я: Я журналистка, член Союза писателей, я пишу о воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Я не знаю, что вы там записываете. Прекратите.

Из публики: Отнять у нее записи!

(Сорокин продолжает свою речь, потом говорит защитница, речь которой я могу изложить лишь в виде тезисов, поскольку писать мне запретили.)

Тезисы речи защитницы

Общественный обвинитель использовал материалы, которых в деле нет, которые в ходе дела возникают впервые и по которым Бродский не допрашивался и объяснений не давал.

Подлинность материалов, заимствованных из заслушанного в 1961 году спецдела, нами не проверена, и то, что общественный обвинитель цитировал, мы не имеем возможности проверить. Если речь идет о дневнике Бродского, то он относится к 1956 году. Это юношеский дневник. Общественный обвинитель приводит как мнение общественности письма читателей в редакцию газеты «Вечерний Ленинград». Авторы писем Бродского не знают, стихов его не читали и судят по тенденциозной и во многом неверной по фактам газетной статье. Общественный обвинитель оскорбляет не только Бродского, употребляя слова «хам», «тунеядец», «антисоветский элемент», но и лиц, вступившихся за него: Маршака, Чуковского, а также уважаемых свидетелей. Таким образом, не располагая объективными доказательствами, общественный обвинитель пользуется недозволенными приемами.

Чем располагает обвинение?

а) Справка о трудовой деятельности с 1956 по 1962 год. В 1956 году Бродскому было 16 лет; он мог вообще учиться и быть по закону на иждивении родителей до 18 лет. Частая смена работ – влияние психопатических черт характера и неумение сразу найти свое место в жизни. Перерывы, в частности, объясняются сезонной работой в экспедициях. Нет причины до 1962 года говорить об уклонении от труда.

Адвокат говорит о своем уважении к заседателям, но сожалеет, что среди заседателей нет человека, который был бы компетентен в вопросах литературного труда. Когда обвиняют несовершеннолетнего – непременно есть заседатель-педагог, если на скамье подсудимых врач, среди заседателей необходим врач. Почему же этот справедливый и разумный обычай забывается, когда речь идет о литераторе?

б) Штатно Бродский не работает с 1962 года. Однако представленные договоры с издательством от XI-62 г. и X-1963 г., справка студии телевидения, справка журнала «Костер», вышедшая книга переводов югославских поэтов свидетельствуют о творческой работе.

Качество этой работы. Есть справка, подписанная Е. Воеводиным, резко отрицательная, с недопустимыми обвинениями в антисоветской деятельности, справка, напоминающая документы худших времен культа личности. Выяснилось, что справка эта на Комиссии не обсуждалась, членам Комиссии неизвестна и, таким образом, является собственным мнением прозаика Воеводина. Есть отзыв таких людей, лучших знатоков, мастеров перевода, как Маршак и Чуковский. Свидетель В. Адмони – крупный литературовед, лингвист, переводчик, Е. Эткинд – знаток переводческой литературы, член бюро секции переводчиков и член Комиссии по работе с молодыми авторами; писатель и филолог Н. Грудинина, которая много работала с молодыми поэтами. Все они высоко оценивают работу Бродского как переводчика и говорят о большой затрате труда, который потребовался ему, чтобы перевести то, что он перевел за 1963 год. Вывод: справка Воеводина не может опровергнуть мнение этих лиц.

в) Ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов от него не получал и не слыхал; свидетели дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи. Они скорее обвинители, чем свидетели.

Другими материалами обвинение не располагает.

Суд должен исключить из рассмотрения:

1. Материалы спецдела, рассмотренного в 1961 году, по которому в отношении Бродского было вынесено постановление – дело прекратить.

Если бы Бродский тогда или позднее совершил антисоветское преступление, написал бы антисоветские стихи, – это было бы предметом рассмотрения со стороны следственных органов госбезопасности.

Бродский действительно был знаком с Шахматовым и Уманским и находился под их влиянием. Но, к счастью, он давно от этого влияния освободился. Между тем общественный обвинитель зачитывал записи тех лет, преподнося их вне времени и пространства, чем, естественно, вызвал гнев у публики по адресу Бродского. Общественный обвинитель создал впечатление,

что Бродский и сейчас придерживается своих давнишних взглядов, что совершенно неверно. Многие молодые люди, входившие в компанию Уманского, благодаря разумному вмешательству взрослых людей были возвращены к нормальной жизни. То же самое происходило в последние два года с Бродским. Он стал много и плодотворно работать. Но тут его арестовали за тунеядство.

2. Вопрос о качестве стихов самого Бродского.

Мы еще не знаем, какие из приложенных к делу стихов принадлежат Бродскому, так как из его заявления видно, что там есть ряд стихов, ему не принадлежащих.

Для того, чтобы судить о том, упадочнические это стихи, пессимистические или лирические, должна быть произведена авторитетная литературоведческая экспертиза, ни суд, ни стороны сами не в состоянии разрешить этот вопрос.

Наша задача – установить, является ли Бродский тунеядцем, живущим на нетрудовые доходы, ведущим паразитический образ жизни.

Бродский – поэт-переводчик, вкладывающий свой труд по переводу поэтов братских республик, стран народной демократии в дело борьбы за мир. Он не пьяница, не аморальный человек, не стяжатель. Его упрекают в том, что он мало получал гонорара, следовательно, и не работал. (Адвокат дает справку о специфике литературного труда, о порядке оплаты. Говорит об огромной затрате труда при переводах, о необходимости изучения иностранных языков, творчества переводимых поэтов. О том, что не все представленные работы принимаются и оплачиваются.)

Системы авансов. Суммы, фигурирующие в деле, неточны. По заявлению Бродского, их в действительности больше. Надо было бы это проверить. Суммы незначительные. На что же жил Бродский? Бродский жил с родителями, которые на время становления его как поэта поддерживали его материально. Никаких нетрудовых источников существования у него не было. Он жил скудно, чтобы иметь возможность работать, заниматься любимым делом.

Выводы:

Не установлена ответственность Бродского. Бродский не тунеядец, и меры административного воздействия применять к нему нельзя.

Значение указа от 4.V.61 года очень велико. Он – оружие очистки города от действительных тунеядцев и паразитов. Неосновательное привлечение дискредитирует идею Указа.

Постановление пленума Верховного суда СССР от 10.III.1963 года обязывает суд критически относиться к представленным материалам, не допускать осуждения тех, кто в действительности работает, соблюдать права привлеченных, в частности, право на то, чтобы ознакомиться с делом и представить доказательства своей невиновности.

Бродский был необоснованно задержан с 13.II.1964 года и был лишен возможности представить доказательства своей невиновности.

Однако и представленных суду доказательств достаточно для вывода о том, что Бродский не тунеядец.

(Суд удаляется на совещание. Объявляется перерыв.)

Разговоры в зале:

– Писатели! Вывести бы их всех!

– Интеллигенты! Навязались на нашу шею!

– А интеллигенция что? Не работает? Она тоже работает.

– А ты – что? Не видел, как она работает? Чужим трудом пользуется!

– Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!

– А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником?

– Подумаешь, делов!

– Я Бродского знаю! Он хороший парень и хороший поэт.

– Антисоветчик он. Слышали, что обвинитель говорил?

– А что защитник говорил – слышали?

– Защитник за деньги говорил, а обвинитель бесплатно. Значит, он прав.

– Конечно, защитникам лишь бы денег побольше получить. Им всё равно, что говорить, лишь бы денежки в карман.

– Ерунду вы говорите.

– Ругаетесь? Вот сейчас дружинника позову! Слышали, какие цитаты приводили!

– Он писал это давно.

– Ну и что, что давно?

– А я учитель. Если бы я не верил в воспитание, какой бы я был учитель?

– Таких учителей, как вы, нам не надо!

– Вот посылаем своих детей – а чему они их научат?

– Но ведь Бродскому не дали даже оправдаться!

– Хватит! Наслушались вашего Бродского!

– А вот вы, вы, которая записывали! Зачем вы записывали?

– Я журналистка. Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

– А что об этом писать? Всё ясно. Все вы заодно. Вот отнять бы у вас записи!

– Попробуйте.

– А что тогда будет?

– А вы попробуйте отнять. Тогда увидите.

– Ага, угрожаете! Эй, дружинник! Вот тут угрожают!

– Он же дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово.

– Эй, дружинник! Тут вас называют полицейским! Выселить бы вас всех из Ленинграда – узнали бы, почем фунт лиха, тунеядцы!

– Товарищи, о чем вы говорите! Оправдают его! Слышали ведь, что сказала защитница.

Суд возвращается, и судья читает приговор:

Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГБ в 1961 году и в 1963-м – милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ от 4. V. 1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.

Дружинники (проходя мимо защитницы): Что? Проиграли дело, товарищ адвокат?

Февраль-март 1964 года

Публикация А. А. РАСКИНОЙ
Комментарии Э. Л. БЕЗНОСОВА

Фрида Вигдорова

О записи судов над Бродским

«Но тут появился документ»

Выступление на вечере памяти Фриды Вигдоровой в 2015 г.

Главное, о чем я хочу сказать, – это о роли этой записи суда над Бродским в моей жизни. Я хорошо помню, как в 65-м году я зашел к Люше – Елене Цезаревне Чуковской[64] – и получил от нее эту самую запись. Прочитал я ее и понял, что после этого необходимо жить как-то иначе. Влияние этой записи было чрезвычайное.

Вот 64-й год – дело Бродского. А в 65-м году были арестованы Синявский и Даниэль[65]. После этого – дело Владимира Константиновича Буковского[66] и других, демонстрация против ареста Гинзбурга[67] – Галанскова[68]. На самом деле, детали и последовательность не важны. 65-й, 66-й, 68-й год – каждый год выходили книги Самиздата. Книги, которые были опубликованы за границей, а в России – нет… По делу Синявского и Даниэля, по делу Буковского, по делу Гинзбурга – Галанскова и по моему собственному – делу о демонстрации против ввода войск в Чехословакию в 68-м году.

Первую такую запись сделала Фрида Абрамовна, и она поставила очень высокий стандарт. Это было так высокопрофессионально написано, что все говорят, что это художественное произведение. Оно всё же документальное, но влияние его чрезвычайно сильное, как у художественного. Я не знаю, на самом деле, где границу эту проводить. Мы знаем, что Фрида Абрамовна сидела и записывала. Потом ее пытались прервать, потом она писала по памяти, потом по памяти она получила детали от других людей, которые были в суде, и этот процесс повторялся. На деле Синявского и Даниэля их жены, Марья Васильевна Синявская и Лариса Иосифовна Богораз[69], сделали записи во время суда, и их практически не прерывали, хоть и спрашивали пару раз: «Что вы с этими записями будете делать?» Все-таки они были жены, они там сидели, какой-то декор соблюдался. Они сделали запись, и она была отдельно передана на Запад. До этого ее получил Алик Гинзбург, и Алик Гинзбург составил свою знаменитую «Белую книгу» – «Дело Синявского и Даниэля», которая циркулировала в Самиздате. Он ее принес в КГБ, чтобы показать, что он работает открыто и

честно. Это ему не помогло, его арестовали. Я был другом Алика Гинзбурга, и я решил: я должен сделать книгу по делу Александра Гинзбурга. Одновременно произошло дело Буковского, и я решил: я должен сделать эти книги. Я убил, наверное, года полтора своей жизни на то, чтобы составить документы. Дело в том, что записей как таковых не было, никому не только не разрешалось записывать – большинство участников процесса, свидетелей и родственников выгоняли из зала. Я интервьюировал их, мне помогали мои друзья, Наташа Горбаневская[70], Илья Габай[71] и несколько других человек, мы интервьюировали людей и получали записи уже вторичные, потом немножко редактировали их. Конечно, это не было никакой стенограммой (но и у Фриды Вигдоровой была не стенограмма), это была вторичная работа, и после этого всегда было очень трудно найти пишущую машинку. Найти, у кого оставить бумаги, где перепечатать, как отредактировать и т. д. Когда я закончил дело о демонстрации Владимира Буковского и других, в этот момент не было машинки, на которой можно было бы всё перепечатать, это были рукописные обрывки, частично – мои, частично – еще чьи-то, и Наташа Горбаневская (в это время она снимала квартиру на Сивцевом Вражке) говорит: «Я перепечатаю это всё, если ты найдешь мне машинку». Я жил недалеко от этого места, и ко мне зашли – это будет интересная история – Лара Богораз, которая работала в Институте русского языка недалеко от моего дома, – она зашла на ланч, – и ее приятельница Люда Алексеева[72], молодая красивая женщина, она была на 10 лет меня старше, но выглядела так – яркая, интересная женщина. Я сказал, что необходимо найти машинку, мне надо закончить эту историю, передать ее и покончить с этим. И Люда сказала: «Знаешь, у меня есть машинка, можешь завтра прийти и забрать». Она предупредила, что машинка большая. У меня папа был альпинист, я взял огромный альпинистский станковый папин рюкзак и пришел на Динамо, где жила Люда Алексеева со своим мужем Колей Вильямсом и сыном Сережей. Я неожиданно пришел к ним. Люда очень покраснела, потому что она не предупредила ни мужа, ни сына, и сказала: «Павлик, вот тебе машинка». И тут они на меня оба набросились: «Что?! Ты возьмешь машинку, эта машинка погибнет, у нас не будет машинки!» Я говорю: «Выясняйте это с Людой». Я положил машинку в рюкзак и ушел, оставив Люду на растерзание семьи. Я донес машинку – это был «Ремингтон» огромного размера – на Сивцев Вражек, Наташа села и перепечатала книгу о деле Буковского, и на этой же машинке она потом перепечатала первый выпуск «Хроники текущих событий». Ведь было только несколько книг об этих процессах –

потому что это трудоемкое, опасное занятие, отнимающее много времени. И мы понимали, что процессов будет больше, людей будут сажать. И это уже было невозможно. Тогда и родилась идея, которая в нашем маленьком диссидентском кругу носилась: давайте сделаем какой-то бюллетень! И Наташа сказала: «Я это сделаю». И она села, – она тогда была беременна, не работала, – и на этой машинке она напечатала первую «Хронику текущих событий». И вот смотрите, откуда это идет, – с записи Фриды Вигдоровой. Понимание, что эти документы должны появиться в письменном виде, чтобы не просто рассказали, ну, посадили какого-то поэта в Ленинграде, кто тогда знал этого поэта, – всё было бы переврано… Но тут появился документ, и вот эта документальность стала основой политического правозащитного Самиздата.

А начало этого – «Судилище» Фриды Абрамовны Вигдоровой.

Павел Литвинов[73]

О публикации «Судилища» в «Огоньке»[74]

Запись суда над поэтом Иосифом Бродским была впервые опубликована в СССР в 49 номере журнала «Огонек» за 1988 год, через 24 года после того, как она была сделана Фридой Абрамовной Вигдоровой. Это было время «перестройки», когда на общество обрушился вал публикаций запрещенной прежде литературы. Журналы практически в каждом номере старались знакомить читателей с недоступной им прежде литературой: произведениями писателей-эмигрантов и живших в Советском Союзе, но не имевших возможности публиковаться на родине. Кроме художественных произведений, печаталась публицистика, мемуары, архивные документы и т. п. А журнал «Огонек», который в то время редактировал Виталий Коротич, был одним из самых активных в этом отношении и пользовался огромным спросом: по утрам в дни выхода журнала перед газетными киосками выстраивалась огромная очередь жаждавших приобрести свежий номер. Отчетливо помню эту очередь к киоску возле станции метро «Кропоткинская», в которой и сам не раз стоял, пока не подписался на журнал. И в этой лавине материалов ничуть не затерялась публикация записи суда над Бродским, сделанной Фридой Вигдоровой.

Я участвовал в подготовке этой публикации в «Огоньке» и прекрасно помню, как мы с Александрой Александровной Раскиной, дочерью Фриды Абрамовны, сидим у нас в комнате, в

нашей коммунальной квартире в 1-м Обыденском переулке на Остоженке, и Александра Александровна, очень волнуясь, проводит текстологическую работу, а я там выполняю скромную роль комментатора: кто, где, когда…

Наверное, не случайно мне была оказана такая честь, потому что, хотя я не был знаком с Фридой Абрамовной, роль в моей жизни она сыграла огромную. Это был 65-й год, и мой школьный друг принес мне запись суда над Бродским, сделанную Фридой Вигдоровой, под названием «Судилище». Я очень хорошо помню эти странички, напечатанные на папиросной бумаге полуслепым шрифтом. Это было мое первое знакомство с Самиздатом, породившее жгучий интерес к этому явлению, позволявшему заглянуть за парадный фасад советской империи, понять причины смутного ощущения неблагополучия, которое царило за этим фасадом. Возникла потребность знать правду, и работа Фриды Вигдоровой эту правду открывала. Потом было письмо Солженицына – это был уже 67-й год – съезду писателей.

Предисловие, или, как говорят в редакциях, врезку, к публикации «Судилища» делала Лидия Корнеевна Чуковская. Думаю, будет не лишним процитировать ее слова: «Запись, сделанная Фридой Вигдоровой, заставляла каждого, кто прочел этот художественный документ, пережить судилище с гневом, с горечью, словно оскорбление нанесено было лично ему». И я могу засвидетельствовать абсолютную точность этих слов. Я, читая запись не суда, а откровенного глумления над поэтом, перенес это как оскорбление, нанесенное лично мне, и, в общем, могу сказать с полной ответственностью, что чтение записи суда над Бродским способствовало моему взрослению, умнению, что ли, возникновению гражданского чувства, – это был первый импульс.

Дальше же с естественной неизбежностью пришел и сам Бродский: я стал собирать тексты его произведений, ходившие в Самиздате, и всё, что было связано с ним. А потом – это был уже 88-й год – после Нобелевской премии я даже инсценировал эту запись, и мы в школе поставили своеобразный документальный спектакль. Собственно, инсценировать особенно было нечего, поскольку это была трагедия, написанная самой жизнью и великолепно, талантливо зафиксированная Фридой Абрамовной Вигдоровой, оставалось только найти сценические образы персонажей, речи которых, записанные Фридой Вигдоровой, воплощали строй их мыслей, если это можно назвать мыслями, и чувств, и найти образ самого поэта, который был бы, как это сильно чувствуется в записи, и вовлечен в происходящее и в то же время был вне его, выше его.

И теперь каждый раз, когда я приступаю в 11-м классе со

своими учениками к изучению творчества Бродского, я обязательно читаю фрагменты записи суда над ним, сделанной Фридой Вигдоровой. И могу сказать, что это производит огромное и эмоциональное, и эстетическое впечатление на детей, то есть опять же подтверждается справедливость того, что написала во врезке к публикации Лидия Корнеевна: «Документ, соединяющий словесную живопись с безупречной точностью». Документ, между тем, – высокохудожественный. Я нисколько не сомневаюсь, что эта вещь в русской литературе, в русской публицистике стоит наряду, скажем, с лучшими образцами публицистики Герцена. Вот такую роль эта запись сыграла в моей жизни.

Эдуард Безносов[75]

В обстановке античной пьесы

Из выступления на вечере памяти Фриды Вигдоровой в 2015 г.

…Сейчас, перед тем, как идти сюда, я еще раз открыл и перечитал эту так называемую стенограмму – у меня никогда не было ощущения от этой вещи как стенограммы или протокола суда. Это скорее описание обстановки античной пьесы. Это очень искусно сделанная вещь: не подделанная, ни в коем случае, разумеется, но очень искусно выбранные слова. Там же был момент, когда Вигдорову лишили возможности писать, и она записывала по памяти, и там очень точное, сухое изложение того, что было. И я думаю, что в этом случае повезло двум действующим лицам: это Бродскому, суд над которым излагала Фрида Вигдорова, и Фриде Абрамовне, которая остается в истории как автор этой записи. В этой записи появляются обреченные фигуры: сам Бродский, потом выходят Эткинд, Адмони, упоминаются какие-то имена. Как только произносятся имена Чуковский-Маршак, так судья сразу: «Прекратите». За кулисами – назначенные на предписанную каждому роль персонажи… Вигдорова как бы поместила Бродского в пространство еще не самой трагедии, а заготовок к ней. Когда все говорят – вот, как он замечательно себя вел, – но вы откуда это знаете, – а мы это знаем из записи Фриды Вигдоровой: то есть от такого Еврипида.

Я, перечитывая сейчас эту запись, обратил внимание, как в ней вдруг возникает замечательная роль ленинградской поэтессы Грудининой, объяснявшей, что такое Бродский. Она была

женщина весьма достойная, но человек – так я воспринимал ее и сам, и через тех, с кем был в общении, – другого круга. А именно такого другого круга и был необходим там персонаж… И вот она заговорила, ей дали говорить, длинно, подробно, и судья понимала, что она говорит на ее, судьихи, языке, и то, что говорила Грудинина, было гораздо более веско, чем то, что говорили уважаемые Адмони и Эткинд…

Там было разделение зала на левый и правый хор, как и полагается в античных драмах… Потом возникают какие-то демоны: я Бродского не знал, но мой сын такой же олух царя небесного, и вот Бродский на него влияет… И это написано замечательно, потому что главное качество, которое я усвоил от нескольких встреч с Фридой Абрамовной, – это была ясность. Она так ясно говорила, она так ясно смотрела на вещи, что приходилось самому немножко прикусывать язык, чтобы, знаете, не лезть, когда хочется поддержать своим одобрительным добавлением вроде «а также», «а еще»… Она говорила обо всем в единственном числе, а именно в том, в котором всё это существовало…

Анатолий Найман[76]

Фрида Вигдорова и дело Бродского: мифы и реальность

Статья написана на основе моей статьи “Frida Vigdorova’s Transcript of Joseph Brodsky’s Trial: Myths and Reality”, опубликованной по-английски в американском журнале “Journal of Modern Russian History and Historiography”, 7 (2014), 144–180. Я хотела бы поблагодарить моего друга Сэма Рэймера, профессора русской истории в Тулейнском университете (Новый Орлеан), за то, что он побудил меня записать всё, что я знаю о Фриде Вигдоровой в связи с делом Бродского. «Если ты не сделаешь этого, – сказал он, – так и никто не сделает».

Имя Фриды Абрамовны Вигдоровой не назовешь забытым: очень и очень многие знают, что она – автор «Судилища», записи суда над Иосифом Бродским, что она сыграла важную роль в его судьбе. Запись цитируется и публикуется, ее легко найти в Интернете, ее читают в хороших школах и так далее и тому подобное. Но за полвека, что прошли с суда над поэтом, история эта обросла множеством мифов, легенд, слухов и нелепостей. Я рада возможности рассказать, как всё происходило на самом деле.

Я стараюсь приводить в основном независимые источники о Бродском, о суде и роли Ф.А. в создании и сохранении записи этого суда. Но иногда, при отсутствии таких источников, я буду опираться на собственную память и знание фактов. Я была рядом с Ф.А. и до дела Бродского, и в годы, когда она была в него вовлечена. В некоторых случаях мои собственные воспоминания дают материал, который не был в обращении ранее.

Прежде всего, мне хотелось бы объяснить, кем была Фрида Вигдорова к 1963 году, когда началась травля Бродского. Ее книги – «Мой класс», «Дорога в жизнь», «Семейное счастье» – издавались большими тиражами и распродавались мгновенно, но более всего она была известна как журналистка. Статьи Вигдоровой, лишь малую часть которых мы печатаем в этой книге, выходили в «Литературной газете», «Комсомольской правде» и «Известиях», и большинство из них было посвящено защите тех, кто попал в беду или пострадал от несправедливости. Прежде чем написать статью, она ехала на место происшествия, разговаривала со множеством людей и делала записи этих разговоров – иногда во время беседы, а иногда сразу после, по памяти. Сохранилось множество маленьких блокнотиков с такими ее записями – мы также частично публикуем их в этой книге. Ее статьи, которые отражали реальность тех лет и были написаны ярко и живо, – по свидетельству ее коллег, писателей и журналистов, – читались взахлеб и обсуждались по всей стране; она достигала аудитории в сотни тысяч человек, если не больше.

Кроме опубликованных статей, Ф.А. написала чуть ли не в два раза больше неопубликованных или незаконченных. Все эти неопубликованные статьи были написаны с той же целью – помочь и спасти. Многие знали, что если Ф.А. возьмется за дело, то она будет без устали им заниматься, пока не добьется для людей, в него вовлеченных, хотя бы частичной справедливости.

Статьи Ф.А. в защиту справедливости в постсталинское время сделали ее пионером независимого журналистского расследования. В те дни для того, чтобы успешно защищать кого-то попавшего в беду, было недостаточно одного желания помочь, хотя неравнодушие к судьбе чужого человека, как тогда, так и сейчас, нельзя сказать, чтоб так уж часто встречалось. Но нужно было знать, КАК помочь, и Ф.А., с ее отличным здравым смыслом, богатым опытом, умением разбираться в людях и ориентироваться в ситуации, – знала как. Ознакомившись с делом, поговорив со всеми включенными в него людьми и собрав всю необходимую информацию, она решала, что может сделать сама. Иногда ей удавалось обходиться своими собственными силами. Но часто, чтобы добиться цели, ей приходилось

прибегать к помощи других. И если ей нужна была помощь, то она знала безошибочно, к кому из влиятельных людей обратиться, – или потому, что они занимали высокое положение, или просто были порядочными людьми, но при этом состояли в партии (в отличие от Ф.А.). Иногда она подключала к делу известных деятелей культуры, как, например, Эренбурга, Чуковского, Маршака, Паустовского, и они почти всегда помогали ей. Она умела убеждать, и были у нее обаяние и какая-то харизма, так что даже люди, которые доселе не знали ее, часто становились ее товарищами по оружию.

Когда власти начали кампанию против Бродского, и особенно после появления в газете «Вечерний Ленинград» от 29 ноября 1963 года обличительной статьи «Окололитературный трутень», для ленинградских литераторов, сочувствующих Бродскому, было совершенно естественно обратиться к Вигдоровой за помощью. Анна Андреевна Ахматова попросила свою подругу Лидию Корнеевну Чуковскую поговорить с Ф.А., чтобы та занялась делом Бродского. Яков Гордин вспоминает в своих мемуарах[77], что в декабре 1963 года ленинградцы, профессор-литературовед Ефим Эткинд и поэт Глеб Семенов, дали ему деньги на проезд, чтобы он поехал в Москву и поговорил с Вигдоровой. Они передали с ним письмо, где они объясняли Ф.А. сложившуюся ситуацию. Ни почте, ни телефону они, естественно, довериться не могли, так как оба эти средства связи находились под наблюдением КГБ.

Вигдорова принялась за работу. Вместе с Чуковской они написали письма нескольким людям, занимающим ответственные посты в области образования и культуры. Ф.А. подключила к делу московскую журналистку Ольгу Чайковскую, сотрудничавшую с «Известиями». По просьбе Вигдоровой Чайковская поехала в Ленинград как корреспондент «Известий». Там ей удалось попасть на прием к Первому секретарю Ленинградского горкома партии, но ничего не помогло. В феврале 1964 года Бродского арестовали. Суд над ним состоялся 18 февраля в здании суда Дзержинского района г. Ленинграда, по месту его жительства.

Ф.А. поехала в Ленинград, чтобы присутствовать на суде и записать, что там будет говориться. Сейчас есть исследователи и журналисты, особенно западные, которым это ее решение часто кажется странным. Почему она взяла на себя записывать суд? Разве не существует для этого официальное лицо, чья задача сделать стенографическую запись процесса? Конечно, на процессе Бродского был официальный судебный стенографист, но только ему и было разрешено записывать процесс, и стенограмма эта публике была недоступна. Стенограммы нет и сейчас – с наступлением гласности нам сообщили, что она якобы сгорела.

Посторонние наблюдатели, особенно журналисты, иногда могли делать свои записи во время суда, но только с разрешения судьи. В советских судах бывали случаи, когда полная запись судебных слушаний становилась достоянием общественности, но только если это почему-либо было нужно властям. В таких случаях журналистов специально приглашали записывать ход судебных слушаний – полностью или частично. Но частная инициатива вроде той, что проявила Ф.А., властями категорически запрещалась.

В отличие от дела Журавлева, когда Вигдорову позвали на суд в качестве журналиста (см. стр. 88), записывать суд над Бродским никто Ф.А. не приглашал. Более того: она попросила «Литературную газету» послать ее в командировку в Ленинград. Командировочное удостоверение от газеты помогло бы ей пройти на суд. Ей сказали, что командировку в Ленинград ей дадут, но если она собирается идти на суд над Бродским, то тут она может рассчитывать только на себя. Короче, ей дали понять, что «Литературная газета» не собирается в это дело ввязываться. К счастью, Ф.А. пропустили на суд по писательскому билету.

Уже после второго суда Фрида Вигдорова писала редактору «Литературной газеты» А. Б. Чаковскому:

Глубокоуважаемый Александр Борисович, прошу Вас внимательно прочесть мое письмо.

В середине февраля я попросила у «Литгазеты» командировку в Ленинград. Мою просьбу выполнили, но специально предупредили, чтобы в дело молодого ленинградского поэта-переводчика я не вмешивалась. Я спросила, могу ли я именем «Литературной газеты» хотя бы пройти на суд, если он будет закрытым. Мне ответили: нет. Вероятно, мне сразу надо было отказаться от командировки, ведь в сущности мне было выражено самое оскорбительное недоверие.

К сожалению, я это поняла особенно остро уже на суде, когда судья в самой грубой форме запретила мне записывать, а я не могла в ответ предъявить удостоверение газеты, в которой я сотрудничаю много лет и которую ни разу не подводила. Разве можно лишать журналиста его естественного права видеть, записывать, добираться до смысла происходящего?

Поэтому командировку я возвращаю неотмеченной и, разумеется, верну в бухгалтерию деньги.[78]

В самом начале судебного заседания судья заметила, что Ф.А. что-то записывает, и велела ей прекратить. До конца заседания Ф.А. пришлось писать, подняв голову и не глядя в свой блокнот: суд шел в 1964 году, в СССР, компьютеров не было, портативные магнитофоны были большой редкостью, а о таких магнитофонах,

чтобы можно было пронести их незаметно, никто и не слыхивал. Приходилось довольствоваться бумагой и ручкой, да и теми, как мы видим, не всегда можно было воспользоваться.

Существует множество мифов касательно записи суда, сделанной Ф. А. Самый частый – что она записывала его стенографически. Некоторые исследователи настолько уверены, что запись эта является стенограммой, что они считают возможным не называть ее автора. И почему, собственно, они должны бы называть фамилию какого-то мелкого чиновника, который стенографирует в суде? Видимо, так они рассуждают. Например, переводя на английский запись Ф.А., известный американский специалист по советской юридической системе после фразы: «В эту минуту судья обращается ко мне [к автору записи, запрещая ей писать]», вставляет от себя в скобках пояснение к словам «ко мне»: «к стенографисту»[79].

На самом деле запись Ф.А. не стенографическая, Ф.А. стенографии не знала. Ее сила была в другом: она умела ухватить самую суть того, что говорится, и быстро это записать. И более того: она привыкла многое держать в памяти, если, скажем, ее собеседник замыкался, увидев, что его записывают. В таких случаях она сразу же после разговора записывала его по памяти. Короче говоря, весь журналистский опыт Ф.А. полностью подготовил ее к тем, казалось бы, неодолимым препятствиям, с которыми ей пришлось столкнуться во время суда над Бродским.

Также, в отличие от того, что иногда говорят, Ф.А. присутствовала на обоих заседаниях суда с начала до конца. Те, кто утверждает противное (включая самого Бродского), возможно, путают ее с Евгением Гнединым или Юрием Варшавским[80], каждого из которых дружинники хватали и выводили из зала. В течение всего судебного процесса Ф.А. продолжала записывать всё, что на нем говорилось.

Соломон Волков[81] пишет, что Бродский, в ответ на его вопрос, аккуратно ли отражает запись Вигдоровой ход судебного разбирательства, ответил: «Аккуратно, но там ведь не всё. Там, может быть, одна шестая процесса. Потому что ведь ее выставили из зала довольно быстро. А уж потом начались наиболее драматические, наиболее замечательные эпизоды. <…> Мой процесс – это тоже, кстати, то еще кино было! Кинокомедия! И эта комедия была куда занятней, чем то, что описала Вигдорова. Самое смешное, что у меня за спиной сидели два лейтенанта, которые с интервалом в минуту, если не чаще, говорили мне – то один, то другой: «Бродский, сидите прилично!», «Бродский, сидите нормально!», «Бродский, сидите как следует!», «Бродский, сидите прилично!»[82]. Когда я этот ответ Бродского прочла, я

подумала: «Ведь маме, наверное, не слышно было с ее места, что там конвоиры Бродскому говорили, а для него это было пять шестых процесса…» Но взяла в руки запись Ф.А. и почти сразу же наткнулась на: Судья Савельева: «Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам!» Так что даже то, что Бродскому велели «стоять как следует», зафиксировано в записи Ф.А.

Гордин, который присутствовал на суде, напечатал в качестве комментария к этому разговору Бродского с Волковым статью в «Литературной газете»[83]. В этой статье он подтвердил, что Вигдорова присутствовала в зале суда от начала до конца каждого из обоих заседаний и что ее запись процесса одновременно и полная, и точная. Гордин также говорит там, что поэт имеет право на миф. Это, наверное, так, но ведь и журналист имеет право на факт.

А вот что пишет по поводу адекватности записи Ф. А. Игорь Ефимов: «Да, я был на суде от начала до конца, и потом меня даже использовали, когда пересылали стенограмму Вигдоровой на Запад. Хотелось, чтобы она была кем-то заверена еще, другими свидетелями. Меня позвал Борис Вахтин, чтобы вычитать ее и перед отправкой подписать. Кажется, это происходило в квартире известного германиста Адмони, одного из свидетелей защиты». [84]

После каждого заседания Ф.А. сразу же ехала к кому-то из своих ленинградских друзей вместе с кем-то из своих знакомых, кто также был на суде. (У Ф.А. в Ленинграде было много близких друзей.) Ей нужно было привести в порядок свои записи – некоторые из них нуждались в «расшифровке» – и посоветоваться с остальными по поводу некоторых мест: правильно ли она их услышала, поняла, записала. Как я уже говорила, к официальной стенограмме суда посторонние доступа не имели. Но адвокат Бродского, Зоя Николаевна Топорова, имела доступ. Хоть ей и не разрешили скопировать стенограмму, она смогла сверить с ней вигдоровскую запись и одобрила ее. Я помню, как Ф.А. рассказывала нам об этом, вернувшись из Ленинграда после суда. И как благодарна она была Топоровой за этот поступок.

После того, как запись была полностью отредактирована, началась долгая и тяжелая борьба за Бродского. Можно даже сказать «военная кампания». Вигдорова, Чуковская, Копелев, Орлова[85] и еще несколько человек, которых они вовлекли в кампанию по защите Бродского, писали письма или подписывали петиции, личные или коллективные, тем или иным «властным фигурам»: редакторам газет и журналов, руководителям Союза писателей, в ЦК партии или отдельным его членам. К каждому из этих писем прилагалась запись суда, сделанная Вигдоровой, но

никто из адресатов этих писем не хотел или не мог ничего сделать, чтобы изменить судебное заключение. На этом этапе вся советская система была против Бродского.

* * *

Многие комментаторы суда над Бродским или авторы статей и мемуаров, упоминающие Фриду Вигдорову как таковую, называют ее диссиденткой (даже первым советским диссидентом) или правозащитницей. Мне кажется это определение по отношению к Ф.А. не совсем точным. Дело в том, что ее запись суда зажила своей собственной жизнью. Ее считают первым документом политического Самиздата. Юрист и писатель Аркадий Ваксберг охарактеризовал ее даже как первый в СССР правозащитный документ[86]. Но классифицировать саму Вигдорову как диссидентку или правозащитницу было бы, как я уже говорила, не совсем точно. Она не вставала на защиту абстрактной справедливости, она пыталась помочь конкретному человеку.

Как ни удивительно, существует и противоположный миф: что Ф.А. якобы была чуть ли не конформисткой, в полном ладу с системой, и только на деле Бродского с ней столкнулась и поняла, как эта система чудовищна.

Когда так пишут или говорят люди, не знавшие Ф.А. и мало осведомленные о ее жизни и деятельности, это грустно, но это можно понять. Однако странным образом, хотя, конечно, тоньше и глубже, но довольно близко по смыслу пишет и Надежда Яковлевна Мандельштам в публикуемом в этой книге очерке (стр. 384): «Раскрывшаяся во всей яркости действительность поразила прозревшую Фриду. Дело Бродского было выходом Фриды на широкую общественную арену, и это зрелище, открывшееся ей оттуда, поразило ее. Она была недостаточно к нему подготовлена. Глухой, внезапно обретший слух, или слепой, к которому вернулось зрение, первое время страдают от дисгармонического шума и яркого света. Так и Фрида, увидав, заболела». Привожу здесь наш с Еленой Вигдоровой комментарий к этому утверждению Н.Я.[87]:

«Н.Я. считает, что Ф.А. «прозрела», только когда столкнулась с делом Бродского, что она была «недостаточно к нему подготовлена». Но это не так. «Прозрела» Ф.А. гораздо раньше – еще в начале 40-х. Об этом свидетельствует Лидия Корнеевна Чуковская (далее Л.К.), с которой Ф.А. подружилась в 1942 году в Ташкенте. Л.К. пишет о ней в своем дневнике от 29.05.1943 года:

«Милая, милая. Еще верящая и уже не верящая»[88]. Этому прозрению способствовали и Л.К., и собственное стремление Ф.А. видеть всё, как есть.

В виновность врачей («дело врачей») Ф.А., разумеется, не верила, по Сталину не тосковала и никаких «заслуг» его не признавала. Когда кто-нибудь начинал про эти «заслуги» говорить, отвечала: «Какие же могут быть заслуги у разбойника и убийцы?» А летом 1960 года Ф.А. потрясла Елену Сергеевну Вентцель (тогда еще не И. Грекову), сказав ей на прогулке в лесу в Комарове (на другой день после знакомства!): «Я глубоко антисоветский человек»[89]. Также году в 1960-м она сказала: «Хотела бы я, чтоб кто-нибудь умный мне объяснил: это именно у нас всё повернулось таким чудовищным образом или социализм только таким и может быть?» А в 1963 году, когда Ф.А. согласилась стать депутатом Фрунзенского райсовета (она надеялась, что с этим званием ей будет легче помочь Бродскому, которого уже тогда начали травить), но увидела, что это ничего не дает, а только взваливает на нее добавочный тяжелый груз, она сказала: «Можно советскую власть хвалить, можно ее ругать, но дело в том, что ее нет – советской власти. Нет у советов никакой власти».

Что же касается того, что Ф.А. была «недостаточно подготовлена» к гнусной реальности дела Бродского, то это тоже не совсем так. Что от советской власти всего можно ожидать – к этому она была подготовлена совокупностью всего, что она видела и с чем сталкивалась и чем занималась в течение всей своей журналистской деятельности[90]. А вот к чему она действительно не была готова, так это к тому, что ей никак не удавалось добиться быстрого освобождения Бродского. Обычно, если уж она бралась за дело, то, каким бы сложным оно ни было, пусть даже и с политической подоплекой, ей удавалось своего добиться, а здесь всё утыкалось в глухую каменную стену. Ее безмерно угнетало, что этот юный человек, поэт от Бога пропадает в глухой деревне на краю света, а она ничего не может сделать.

Умом Ф.А. прекрасно понимала, что дело Бродского – это привычный произвол советского правосудия, то есть пример вполне «банального зла», но примириться с тем, что ей не удается Бродского спасти, она никак не могла».

* * *

Итак, видя, что внутри Советского Союза ничто не помогает,

Ф.А. тайно дала согласие, чтобы ее запись послали за границу[91]. Запись немедленно была переведена на несколько языков и опубликована во многих журналах и газетах на Западе. В Соединенных Штатах первая публикация по-английски была в журнале *New Leader* (№ 47, 31 августа 1964 г.). Сообщество писателей за границей сразу отреагировало на эту публикацию, протестуя против обращения с Бродским, но результата всё еще не было. Советское начальство, в ярости от публикации записи за границей, начало подготавливать исключение Вигдоровой из Союза писателей. Эта кампания затихла после того, как ей был поставлен диагноз неоперабельного рака.

Как была запись процесса Бродского послана за границу? Обстоятельства здесь не вполне ясны.

Вот что писала младшая подруга Вигдоровой Кена Видре[92] в своих мемуарах о Вигдоровой:

Говорили о Бродском. Фрида мне дала прочитать свою запись суда. Я была, конечно, в курсе того, что происходило. Потом Фрида пошла меня проводить. По дороге рассказала, что передала свою запись на Запад, и как это произошло. К ней пришла знакомая одного известного московского поэта (Фрида назвала мне его имя), сослалась на него и предложила, если Фрида согласна, передать ее запись за рубеж. Фрида подумала и согласилась, так как посчитала, что к тому времени все способы помочь Бродскому были исчерпаны.

Рассказала, что в каком-то английском журнале (в названии было слово «observer») напечатали, что запись передала сама Ф. Вигдорова.

«Что они делают? Кто их за язык тянул?» – удивилась Фрида. Сказала, что теперь ее ждут большие неприятности, наверное, исключат из Союза писателей.

Я много лет молчала о том, что узнала от Фриды, так как была уверена, что она рассказала всё это не мне одной. Как-то случайно я упомянула об этом в разговоре с Сашей Раскиной, Фридиной дочерью, и оказалось, что она слышит эту историю впервые. Саша расспросила оставшихся в живых Фридиных друзей – те тоже ничего не знали. Мы решили, что надо рассказать об этом, что это важно.

Видимо, Фрида решила поберечь близких на случай вызова в КГБ: те бы действительно «ничего об этом не знали». А я была в другом городе, не на виду, и не так часто мы виделись[93].

Мы знаем, что Ефимов и некоторые другие люди пришли в квартиру Адмони и там заверили содержание записи перед тем, как «послать ее за границу». Я сама видела в Бостоне видео, где

Е. Г. Эткинд (уже эмигрировавший) говорил: «И тогда мы послали ее [запись] во Францию, в *Фигаро*». А вот что говорила об этом деле Лилиана Лунгина[94].

И в последний вечер, в канун отъезда Вернанов[95], кто-то нам принес стенограмму процесса Бродского, которую записала Фрида Вигдорова. Я дала ее читать Лиде, а потом сказала: Жипе, я хочу тебе ее перевести. Я не могу, чтобы ты уехал, ее не прочитав, более того, ты должен увезти ее с собой.

Ну, Лида, читая, стала рыдать, потому что ее коммунистические идеи это очень оскорбляло. А Жипе сказал: хорошо, я это возьму во Францию, отдам перевести и покажу товарищам. На этом они уехали. Потом я узнала, что Лида заболела. Так ей тяжело далось это, так сказать, развенчание ее идеалов, ее иллюзий.

И у них возник спор. Лида говорила, что не надо этого никому показывать. Вечный довод: «не надо лить воду на мельницу врага». Знаем мы эту формулу. Но Жипе тем не менее настоял на своем.[96]

По всей вероятности, мы никогда не узнаем наверняка, какими путями запись впервые попала за границу.

* * *

Фрида Вигдорова умерла 7 августа 1965 г. Бродский был освобожден из ссылки в сентябре этого же года. Еще один миф утверждает, что усилия Вигдоровой (как и кого угодно в СССР) помочь Бродскому были совершенно напрасны, что его освобождение было результатом письма знаменитого французского писателя Жан-Поля Сартра Микояну. Действительно, 17 августа 1965 г. Сартр написал Микояну письмо в защиту Бродского, после чего Бродский был быстро, почти чудесным образом освобожден. Но откуда Сартр услышал о процессе Бродского? Вспомним, что с 1 июля до 5 августа 1965 г. Сартр был в Москве. Его гидом и переводчицей была Ленина Александровна Зонина, литературный критик и переводчик, либерально настроенная и близкая к диссидентским кругам. Сартр и Зонина очень сблизились во время его визита. Как-то в июле я встретила Раису Давыдовну Орлову, которая дружила и с Ф.А., и с Зониной. Мы говорили о визите Сартра, и я сказала: «Пусть Зонина немедленно расскажет Сартру о Бродском! Пусть она переведет для него запись!» Раиса Давыдовна сказала только одно слово: «Уже!». Это к тому, что усилия друзей Бродского в России помочь ему были якобы напрасны. На самом деле Сартр

узнал про дело Бродского из записи Вигдоровой и из сведений, которыми люди вроде Зониной поделились с ним.

* * *

Я упомянула, что Вигдорова не имела никаких «званий» и не занимала никакой высокой должности. Некоторые комментаторы дела Бродского утверждали, что, будучи в последние два года ее жизни депутатом районного совета, она имела какую-то власть, проистекающую от этой должности. Бродский в одном из своих интервью даже сказал, что она была депутатом Верховного Совета – должность, которая дала бы ей действительное влияние. Но Вигдорова была только депутатом районного совета в Москве, что, как оказалось, не давало ей никакой действительной власти. Наоборот, работа в районном совете взвалила на Ф.А. многочисленные жалобы людей в ее избирательном округе, жилищные условия которых были действительно ужасны. И ей приходилось хлопотать за них так же, как если бы она не была депутатом совета: звонить начальству, встречаться с ним, просить, убеждать, и так далее. Часть этих историй вошла в депутатские блокноты (см. стр. 179). Так что она ввязалась в долгую борьбу за то, чтоб переселить людей из ужасных подвалов, которые затоплялись и покрывались плесенью – как будто не было достаточно неустанной, всепоглощающей борьбы за Бродского.

Здесь нужно упомянуть одно удивительное совпадение. Знаменитый советский композитор Дмитрий Шостакович, участвовавший в кампании в защиту Бродского, был депутатом Верховного Совета от Дзержинского района Ленинграда, где жил Бродский, того самого района, к которому относился суд, где слушался его процесс. Несмотря на его международную известность и на то, что он был депутатом Верховного Совета, Шостаковичу не удавалось добиться освобождения Бродского.

* * *

Хочу упомянуть еще одну вещь – а именно, что некоторые заявляют, что вся эта суета вокруг Бродского была не нужна: в конце концов, он сам часто говорил, что время, которое он провел в ссылке в Норенской, было лучшим временем его жизни. Он отстаивал этот взгляд неоднократно, но это было *после*

ссылки. Что же касается времени, когда он действительно жил в Норенской, многие из его писем этого времени теперь опубликованы, и некоторые из них полны тревоги, а то и отчаяния. Одно из них, адресованное Вигдоровой (вместе с ее ответом), опубликовала Лидия Чуковская. Андрей Сергеев,[97] друг Бродского, опубликовал письмо, написанное ему Бродским после того, как тот узнал о смерти Ф.А.:

Теперь, знаете, после смерти Ф[риды] В[игдоровой], мне что-то больше не хочется благоразумия, не хочется этого русского долготерпения – тем более, что мне-то самому этого и не нужно. Тем более, что я – еврей.

Андрей, сегодня я праздную труса. Стихи у меня не пишутся, и я обнаружил, что не хочу их писать. И что, когда я их не пишу, я – ничто. <…> Я не очень хорош сегодня и завтра, боюсь, буду еще хуже. <…> Нечего Вам послать; но поэт я (был?) хороший…[98]

Бродский писал своему близкому другу Раде Аллой: «Иногда я несчастен, иногда совершенно счастлив. Как песочные часы с разноцветными чашечками. Оснований для надежды нет, но можно стараться не забывать прежней жизни и видеть ее во сне; но это тоже идет с переменным успехом». В своих воспоминаниях Аллой пишет: «Хорошо известно, что в эти полтора года он написал сотни писем. И мне кажется, что было бы неплохо опубликовать все эти письма в хронологическом порядке. Тогда было бы видно, как текла его жизнь в Норенской, как она менялась в зависимости от времени года и посетителей… Его настроение часто менялось».[99]

Здесь я хочу процитировать письмо Бродского к Ф.А. из деревни Норенская и ее ответ. Мне кажется, что этот отрывок из переписки говорит сам за себя.

Из письма Бродского Вигдоровой, 16 августа 1964 г.:

16. VIII.64
Дорогая Фрида Абрамовна,

писать Вам нужно бы слишком о многом, поэтому и не выходят письма. Это даже и лучше: спокойнее. Да и вообще всё это время нахожусь как бы за скобками; кроме того, никаких таких новостей у меня не было. Вот и не писал и, кажется, даже не поблагодарил за машинку[100]*. Этого сейчас сильно стыжусь и, как бы с жаром, как бы наверстываю упущенное; она мне служит маленькую, но иногда замечательную службу.*

Дело в том, что когда свыше поступило указание устроить мне комиссию, именно из А<рхангельс>ка сюда приезжал специальный человек (отнесшийся ко мне весьма благожелательно). Следовательно, возможна какая-то связь между М<осквой> и А<рхангельском>, скажем, на предмет затребования оного дела. Или наоборот, что если я попрошу здесь, чтобы дело послали в М<оскву>, хотя вряд ли меня послушают? Имеет ли это смысл? В общем, я хотел бы что-то знать, вернее, как-то поступать, ибо дольше находиться в бездействии не хочу и не могу. Мне кажется, что воз не двигается с места по моей вине. Я хотел бы также, чтобы Вы, если не трудно, написали мне всю правду, даже если дело решительно безнадежное (Миронов[101] *и проч.)…*

Простите мне, пожалуйста, этот несносный тон и, может статься, нелепые фантазии. Говоря по чести, у меня просто увеличилось число причин, по которым я желал бы освобождения. Кроме того, уже семь с лишним месяцев всей этой вздорной (позорной) истории: ничего удивительного, что нервы разгулялись. Вообще же ничего убийственного не происходит (хотя то, что происходит, для меня, пожалуй, хуже самого невероятного – но об этом слишком долго). Пожалуйста, не сердитесь. Как свидетельство полной своей лояльности, приложу к письмецу стихи, писанные здесь в мае-июне; за весь июль написал только одно, славное, в общем, стихотворение и больше ничего. Меня завалили переводами, но что-то такое случилось, что не могу к ним подойти и ничего не выходит. Ну, уж это сугубо мои личные дела, о них не стоит: литература. Просто, как ни вертись, здесь трудно работать.

На ноябрьские или к Новому году меня, может статься, отпустят. Я очень хотел бы увидеть Вас и поговорить…

У меня очень плохой почерк, потому и воспользовался машинкой, которая давно хочет передать Вам привет и сказать, что она цела и здорова.

Из черновика ответного письма Вигдоровой, написанного в августе 1964 г.:

<Конец августа 64>

… ну вот, наконец, и письмо от Вас.

Я очень понимаю, что Вам писать трудно – вообще, а мне – в особенности. И все-таки хорошо, что Вы написали.

Отвечать – тоже трудно. Потому, что не могу втолковать главного: дело не в Арх<ангельс>ке. И не в Коноше[102]*. И даже не в Москве и Л<енингра>де. Не в городах, а в конкретных людях. И*

даже не в Прокофьеве[103]*. Дело в зав. отделом адм<инистративных> кадров т. Миронове – и это гораздо серьезнее. У него есть всё: моя запись, письмо Чуковской, Ваше письмо, адресованное Руденко*[104]*. Так что – Вы тоже действуете. Все эти материалы лежат на столе Леонида Федоровича Ильичева*[105]*.*

К нему же от себя обратился руководитель Союза писателей – К. А. Федин.

Паустовский послал мою запись и Ваше письмо – пред<седателю> сов<ета> мин<истров> – Микояну. И, конечно, высказал ему свое мнение о произошедшем. Пока ответа нет.

Вот что, сбиваясь на протокол, я могу Вам сказать. Есть только один человек, к которому мы не обратились, – Н.С. <Хрущев>. Но его в Москве давно нет – и уже нет того человека, кот<орый> хочет к нему обратиться. Я и хочу, но я, как Вы сами понимаете, не фигура.

Вам не повезло в том, что Ваши друзья и заступники – люди не чиновные. Они очень немного могут. Они одолевают путь не милями, а миллиметрами. Но нет такой минуты, когда бы они не помнили о Вас и не действовали бы.

Не семь, как Вы пишете, а девять месяцев[106] *– время, достаточное для того, чтобы родился ребенок. А он, вот, не рождается.*

И, несмотря на всё это, я с удивлением прочитала Ваши слова о ноябре или Новом годе. Не могу, не хочу думать, что Вы всё еще будете там. Чудо ли, или до кого-то дойдет всё же смысл, позор происходящего, но Вас должны освободить. Так я думаю и верю.

Еще раз хочу сказать, что, если бы речь шла об Арх<ангельс>ке, о кот<ором> упоминаете Вы, может, хватило бы и моего скромного влияния. А тут дело совсем, совсем другое. Постарайтесь понять.[107]

* * *

Ввиду того, что дело Бродского оказалось самым знаменитым из дел, которыми Ф.А. занималась, бытует однобокое представление о, так сказать, контингенте ее подзащитных.

Бродский, самый из них известный, вернувшись из ссылки, неоднократно рассказывал о старике, с которым он ехал в одном вагоне, когда их везли на Север. В беседах с Соломоном Волковым Бродский говорит, что старик этот украл мешок зерна и получил 6 лет лагерей[108], а в документальном фильме 1993 г.

«Возвращение»[109] – что старик украл мешок с удобрением и получил 10 лет. Но в любом случае, до своего отъезда, рассказывая про этого старика, он всегда добавлял: «Если меня посадят, не хлопочите обо мне»[110]. Дескать, за этого старика никто хлопотать не будет, значит, и за меня не надо. В фильме «Возвращение» Бродский говорит: «И я понял одну вещь – что он никогда из этой системы не выйдет, вот он здесь и умрет – то ли в этом поезде, то ли на пересылках, то ли в другом лагере, и так далее и так далее и так далее. И никакая Amnesty International и – более того – никакой Союз советских писателей и даже молодые люди, мои друзья, не будут знать его имени и никогда его нигде и никак не помянут».

Не очень ясно, что Бродский имеет в виду под словами «никакой Союз писателей». За него заступался не Союз писателей, а частные лица: писатели, научные работники, музыканты, геологи, инженеры – люди самых различных профессий. А ленинградский Союз писателей в лице его первого секретаря поэта Александра Прокофьева и других официальных лиц его как раз топил.

Но, по крайней мере, Бродский говорит, что никто не стал бы этого старика защищать просто потому, что никто никогда бы о нем ничего не узнал.

Тут трудно возразить: если б не знали, то и не заступились бы, что тут скажешь. Но друг и биограф Бродского, автор фундаментальной книги о его жизни и творчестве Лев Лосев пишет: «И в самом деле, защитники Бродского в Советском Союзе и на Западе вряд ли с таким же рвением стали бы выручать его спутника, УЗНАЙ ОНИ О ЕГО СУДЬБЕ».[111]

Я не могу говорить про всех остальных защитников Бродского в СССР или за рубежом – я не делаю здесь никаких далеко идущих обобщений. Моя задача гораздо скромнее: адекватно описать, что соответствует истине, а что нет, – только по отношению к Фриде Абрамовне и ее деятельности.

И я хочу обратить внимание читателя этой книги на то, что Ф.А. как раз такими безвестными стариками в большой степени и занималась. Вспомним стариков из инвалидного дома в Зауралье (см. письмо Ф.А. к Эткинду, стр. 156–157), стариков из глухой деревни под Тамбовом, которым не давали соломы на крышу («Дорогая редакция», стр. 104), и бессчетных, совершенно безвестных и несчастных стариков, молодых и детей, которых она, уже тяжело больная, переселяла из затопляемых подвалов («Блокноты депутата», стр. 179, и «Из неопубликованных блокнотов депутата», стр. 195).

Короче говоря, я надеюсь, что читатель со мной согласится:

к Ф.А. упрек этот отношения не имеет.

И в завершение этой темы: Бродский в фильме «Возвращение» кончает свой рассказ про старика такими словами: «То есть кто-нибудь будет за меня хлопотать. За этого человека никто хлопотать не будет. Вот вам разница между культурой и жизнью нации. И это чудовищно».

В этих терминах, я думаю, правильно будет сказать, что Фрида Вигдорова всегда билась за культуру, но и погружалась, как немногие, с головой в жизнь нации, пытаясь уменьшить этот действительно существующий – тут нельзя не согласиться с Бродским – огромный разрыв.

* * *

В заключение обратимся на некоторое время к догадкам и эмоциям. Часто говорят или пишут, что Бродский не был благодарен Вигдоровой. Никто не может знать точно, что он чувствовал, но я считаю, что он никогда не забывал женщину, которая стояла за него до самого конца. Вот почему я так думаю.

Есть фотография Бродского, снятая в его ленинградской квартире после его возвращения из ссылки[112]. Он снят на фоне книжных полок. И на одной из полок видна фотография Вигдоровой[113]. Андрей Сергеев, посетивший Бродского в Нью-Йорке в 1988 г., говорил мне, что он видел ту же самую фотографию там над его столом. Позже это подтвердил Лев Лосев: «Бродский был глубоко благодарен Фриде Вигдоровой за ее героические усилия, направленные на его спасение. В течение многих лет ее фотография висела на стене над его столом, сначала в России, потом в Америке».[114]

Читатель может делать свои собственные выводы.

Александра Раскина

Блокноты писателя. (1951–1965)

Женщина, попавшая под трамвай, едва очнувшись: «Вагоновожатый не виноват, он звонил, я задумалась и не слышала…»[115]

* * *

– Уж поверьте моему слову – она нахалка. Вот сидит, молчит, а всё равно видно, что нахалка.

* * *

«Он мне очень довольно-таки нравится».

* * *

«Я перестал курить. Я подумал – сердце каждый день перегоняет полторы тонны крови. Маленький механизм, который никогда не отдыхает. Руки отдыхают, ноги, глаза. А оно работает без устали ночью и днем 60 лет подряд. Зачем же я буду еще добивать его куревом? Это то же самое, что трехлетнего ребенка вдруг ни за что ни про что стукнуть по голове. Нет, я решил пожалеть свое сердце…»

* * *

Март 51 г.
За окном – закат.
Муха ползет по стеклу, и крылышки у нее розовые.
На снегу розовые блики.
Ах, хорошо в Малеевке![116]
Будет ли мне когда-нибудь снова так хорошо?

* * *

Серая мгла берез…

* * *

Захлебнулся и умолк. Комар.

* * *

«Пришла очень разбитая и усталая, села и сижу – нет сил даже повернуться лечь. Пришел на колени кот – сидит, мурлычет – и при этом, задрав голову, внимательно смотрит в лицо. Минут десять глаз не сводил, почуял, что я какая-то не такая».

* * *

– Почему, если сумасшедший, так одни пакости делает? А почему не поделится деньгами, не отдаст своего – от сумасшествия?

* * *

– Блока любите?

– Люблю, только, когда я его читаю, мне его так жалко делается…

* * *

– Саша, ты почему встала, думаешь, нам выходить?

– Нет, просто ко мне подошел мужчина средних лет, и я решила уступить ему место.

Посмотрела я на этого средних лет мужчину – лет 30 – не больше!

* * *

– Неужто вылили этот чай? Да ведь он сладкий – ну, как можно! Пришла я домой, вспомнила, меня как варом обдало – ну, выльют, не иначе! Так и вышло. А чай сладкий был, я видела, он три куска сахара клал…

* * *

Трудно жалеть, если не можешь помочь…

* * *

«Глаза не видят, уши не слышат, а сама язык тоже не протяну».

* * *

Алена (3 года): «И они помирули… (подумав, поправляется): – Померели».

Она же спрашивает, стоя у муравьиной кучи: «Как вы живете? А стульчики у вас есть? На чем вы сидите?»

* * *

Старый дворовый Тургенева сказал как-то: «Коли человек сам бы себя не поедал, никто бы с ним не сладил».

* * *

«Если для поступления в вуз такую подлость – то что же для спасения жизни?»

* * *

Едкая горечь разлада.

* * *

Указ Петра: «Поручика Языкова за наказание батогами невиновного и ему не подчиненного писаря корабельной команды лишить чина на четыре месяца, вычесть за три месяца его жалованье… и за один месяц в пользу писаря за бесчестье и увечье его. Поручику же Фламингу, который тот бой видя, за своего подчиненного встать не сумел, вменить сие в глупость и выгнать аки шельма из службы».

Наказал строже того, кто не вступился за слабейшего, чем того, кто дрался!

* * *

Лицо у него было смято жалостью.

* * *

В лесу:

«Да, думать… Но самое замечательное, что можно и не думать, и еще больше, дойдешь до такого счастья, что скажешь себе: “Не думай, сиди так, пахнет хорошо, и слушай!” И вот сидишь и ничего совершенно не думаешь: только слышишь и чуешь». (Пришвин)

Так было в Песках…[117]

* * *

– Нет, про него нельзя сказать, что он круглый идиот… он… как бы это сказать… овальный такой.

* * *

Чувство глубокой душевной тошноты.

* * *

«Мы так много ссорились, что ничего не осталось». (Трудно было понять, чем питается эта дружба.)

* * *

Пословицы, выписанные из Даля:
Не напоивши, не накормивши – врага не наживешь.

* * *

Разорвись на́двое – скажут: а что не на́четверо?

* * *

За добро не жди добра.

* * *

Лучше не дари, да после не кори!

* * *

Наемная рука хорошо бьет дитя, да плохо ласкает.

* * *

Коли двое говорят, что пьян, так поди, ложись спать!

* * *

– Блок Блоком, а мне деньги нужны…

(Молодая, красивая – своему спутнику – немолодому и некрасивому.)

* * *

– Если человек отказывается от еды, я всегда подозреваю его в неискренности.

– Кончить есть хлеб с маслом можно только в том случае, если кончается хлеб или кончается масло.

(Из рассказов Пушкиниста[118].)

* * *

– Ха́нжи, или лучше сказать ханжи́. (Редактор «Пионерской правды».)

* * *

– Бывают же такие счастливые – в рубашках родятся. А я в одной майке.

* * *

Он не искал поверенного для своего горя. А характер несильный.

* * *

Вдруг: Всё!

– Нет, доедай!

– Я не про то. Я подумала: если солнце на нас вдруг упадет. Тогда сразу – всё. Всё кончится и ничего не будет.

* * *

Ночью, у окошка: Слышишь, звезды колокольчиками звенят?

– Не слышу.

– Ну, как же, ну послушай… Слышишь, теперь слышишь?

С ревом: Не слышу!

* * *

– А какая у вас болезнь?
– У меня болезнь, от которой умирают весной…

* * *

Учителя – ученики – два враждебных лагеря: изловить, обличить, уличить, покарать…

* * *

Сокровищница бед неистощима.

* * *

Под силу – беда со смехом, а невмочь – беда со слезами.

* * *

Упрямство – признак бесхарактерности.

* * *

С таким же успехом можно было поливать асфальт в надежде, что на нем вырастут розы.

* * *

«Чем более велик художник, тем сильнее он должен желать чинов и орденов, служащих ему защитой» (Стендаль «О любви»).
(?) *Вот странная мысль!*

* * *

«Я беру телефонную трубку и звоню по нескольким знакомым телефонам – я хочу услышать, как звучат голоса людей, с которыми ничего не случилось».

* * *

«А если когда-нибудь сумеречным вечером, в туманный и снежный час нас охватит сплин, – дадим ему волю, но только не часто: время от времени полезно поскрести сердце небольшой дозой страдания, чтобы выскоблить из него коросту» (Флобер, «Письма»).

Нет, страдание – не на пользу человеку.

22 V – 65 г. На пользу!!

* * *

«Внутри всё может кипеть и клокотать, но стены здания не должны коробиться».

* * *

– Ударить можно, но бить надо не в спину, а в морду… Понятно?

* * *

«Без страсти не делается ничего великого» – Гегель!!!

* * *

Письмо в «Комсомольскую правду»:

«Я хочу спросить Вас: можно ли не только дружить, но и любить в 10-м классе средней школы?

Вы можете подумать, что у меня голова забита только этими вопросами, но ошибаетесь, если подумаете так. На первом месте у меня **учеба** и **общественная работа**, а потом всё остальное: **дружба, легкая атлетика, велосипед, гребля, стрельба, модель фрегата и худ. литература**. Но все-таки у меня в голове остается **немного места** для таких вопросов.

Очень прошу ответить на мой вопрос. Кирьяненко Владимир».

* * *

Душевные молнии.

* * *

Стихи 3-летней Оли: «Воду пьет холодная лягушка».

* * *

Письмо Люды К.:

«Прочитав книгу “Чук и Гек”, я решила написать Вам письмо. Впечатление от этой книги у меня осталось очень хорошее, а с другой стороны, мальчики Чук и Гек поступили неверно: как они заставили переживать свою маму. Я для своей мамы так никогда бы не сделала».

Ах ты, маленькая ханжа!

* * *

Лучше поверить, чем не поверить. Лучше поверить и ошибиться.

* * *

– Брось, девушка, говорить о благодарности. Это редкое блюдо, и люди не часто его едят.

* * *

Маршак: – Сценарий «О глупом мышонке» искажает мою сказку!

Большаков[119], сонно: – И что с того?

– Как! Но там за меня кто-то переделал мои стихи!

Большаков: – И что с того?

Маршак (с отчаянием): – Но там все стихи перевраны!

Большаков: – И что с того?

Маршак: —… … …

Тут Большаков обиделся.

* * *

– Тебе меня жалко?
– Очень.
– Почему же ты не катаешься по полу?
– А зачем тебе это?
– Мне надо, чтобы ты мучилась.
– Но я мучаюсь!
– Ну, смотри!

* * *

– Когда казак плачет – это хорошо!
– Хорошо, когда мужчина плачет? Стыдно, когда мужчина плачет!
– Стыдно, когда женщина плачет, а когда мужчина плачет – это очень хорошо!

* * *

«Когда в тяжелую, в горькую минуту раскаяния я бегу к другу, я вовсе не справедливости хочу от него. Справедливость мне должен дать квартальный, ежели он порядочный человек; от друга я жду не осуждения, не ругательства, не казни, а теплого участия и восстановления меня любовью, от него я жду, что он половину моей ноши возьмет на себя, что он скроет от меня свою чистоту».
(Герцен, т. II стр. 101)

* * *

Ранить лаской.

* * *

«Никогда не говори “если бы”, да “случись бы”… да “было б лучше”… Никогда не воображай, что могло быть другое. Вложи в то, что есть, – и будет у тебя истинное. Люди сами делают себя несчастными и счастливыми… Один говорит: случись бы то, да был бы я… и переносит свою судьбу в то, неслучившееся, и всю

жизнь несчастен. Другой говорит: что есть, то по мне, и покажу себя в этом с лучшей моей стороны… сделаю, что могу… И всю жизнь счастлив»[120].

Наверное, это порочная философия. Но сейчас я хочу думать так.

17 мая 56 г.

Ереван.

* * *

«Разделенное горе – полгоря. Разделенная радость – двойная радость».

* * *

Митя про щучью челюсть: «Он всю жизнь свои зубы догоняет».

* * *

Топор страшен, а вошь – страшнее.

* * *

Неверный взгляд. Рука – мягкая, без силы, без искренности.

* * *

Детские скорби жгучи…

* * *

Самое постыдное из чувств – зависть.

* * *

Она, уныло: – Ты меня не ценишь!

Он, устало: – Я тебя ценю, Оленька, я тебя очень ценю…

* * *

– Что ж из того? Иволга иной раз такое соловьиное колено выдаст, а что из того?

* * *

Так темно, так темно, что скоро рассвет.

* * *

Жена нехотя: – Доживай свой век.

* * *

– Дальше пуговиц не пускаю.

* * *

Бабушка, принеся конфеты: – А кто меня любит?

Юра (семи лет) грубо: – Я люблю, дай конфету!

Бабушка, с раздражением: – На, бери конфету и уходи сейчас же.

Снова ласковым, певучим голоском: – А кто меня любит?

А кто меня любит?

Миша (4-х лет), ползая по полу, с вызовом: – Никито, ни ки то! Ни ки то! Ни-ки-то!

Бабушка, с восторгом: – Ах, ты мой миленький, мой голубчик, радость моя, возьми конфетку, мое солнышко!

* * *

– Она тебе понравилась?

– Нет.

– Почему?!

– Мы ходили по выставке, и она всё время записывала в книжечку: фамилию художника, название картины… Такая умненькая…

* * *

– Какая-то пигасовская[121] педагогика: если женщине три дня кряду твердить, что у нее на устах – рай, а в глазах блаженство, она на 3-й день в это поверит.

* * *

– Мама, кошка зажгла глазки!

* * *

– Ой, тетенька летит!

(Мальчик, которому запретили говорить про женщин «баба», увидев бабочку.)

* * *

Андрюша – охотник: «Я убил воробья и, сгибаясь под его тяжестью, пошел домой».

* * *

– Юра, а к вам ходит дядя Коля?

Юра, холодно: – Ну, положим, ходит. А вас это почему интересует?

* * *

– Как зовут твоего папу?

– Дядя Сережа.

* * *

В вагоне. Мать дает девчонке то по уху, то по губам, то шлепает и раздраженно, со злостью орет на нее:

– Отстань, паршивка! Замолчи, измордую до смерти.

Девчонка, в общем, почти не обращает внимания, только

увертывается от шлепков.

– Гражданка, перестаньте бить ребенка, что это вы, право! – слышится чей-то голос.

И тогда девчонка ощеривается: – А вам какое дело?

Мать, холодно: – Что, съели?

* * *

Восьмилетний Юра:

– Вот Андрюша уже в институте, а еще за девушками не ухаживает. А я как перейду в девятый класс, так начну ухаживать.

Помолчав: – А на пятом курсе начну целоваться, как в кино.

– ?

– Крепко и долго.

* * *

– Куда вы такой толпой? Да от вас все грибы разбегутся!

– Грибы, грибы, ко мне!

* * *

Не кончает ни одной фразы: – Смотрю, малина уже красная, и я… да… Впрочем… Вот медная кастрюля, я думаю, что… да… конечно… Я хотела спросить… Вот… Впрочем…

Слушаешь, слушаешь, а потом в голове начинает мутиться.

* * *

Таня Павловская (15 лет) про Анну Каренину: И чего она кобенится…

* * *

Оживлен, весел, остроумен, глаза блестят. Вдруг мгновенное превращение: начинает зевать, умолкает, глаза тускнеют. Это значит – тема разговора сменилась и ему стало неинтересно (стали говорить не о нем, не о его делах).

* * *

– Взрослые иной раз совсем как дети, ну, сущие дети.
– Да… Дети… Сукины дети…

* * *

«Скажите ему, что среди нелюбимых черт человеческого характера для меня одна из самых нелюбимых – умение делиться горем и неумение делиться радостью».

* * *

Затейник на кладбище.

* * *

Мордой пашет.

* * *

Саша, ночью: – С мамой никогда не страшно, никогда не скучно, никогда не холодно…

Несколько цитат из дневника Льва Толстого[122]

«… Потом вспомни в ту минуту, когда ты страдаешь, что если в тех чувствах, которые в тебе, есть злоба, то страдание в тебе. Замени злобу любовью, и страдание кончится». **(20 окт. 1896)**

«Я, это – самодвижущаяся пила или лопата живая, и жизнь ея состоит в том, чтобы держать свое лезвие чистым и острым. А работать уже она будет, и работа будет нужна. Острым держать и всё острить и острить, это всё делать себя добрее и добрее». **(27 ноября 1896)**

Все записи – вопль, моление о добре, о любви, а рядом постоянная, тяжкая нелюбовь к жене, то к одному, то к другому из детей. Нелюбовь, почти злоба и отвращение.

«Тип женщины, – бывают такие и мужчины, но больше женщины, – которые не могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтоб оглядеть себя. Они не то что не

хотят каяться: они не могут себя видеть… Такие люди страшны. А такие люди бывают умные, глупые, добрые, злые. Когда они глупые и злые, это ужасно». **(16 июля 1897)**

Конечно, он говорит о Софье Андреевне. А я знаю еще одну, совершенно такую женщину: Наталью Алексеевну Огареву.

«Нынче ночью думал о том моем странном тройном рецепте от горя и обиды:

1) Подумать о том, как это будет неважно через 10, 20 лет, как теперь неважно то, что мучило 10, 20 лет тому назад.

2) Вспомнить, что сам делал, вспомнить такие дела, которые не лучше тех, которые тебя огорчают.

3) Подумать о том в сто раз худшем, что могло бы быть». **(20 ноября 1897)**

Справедливо. Но – не помогает. И ему не помогало.

«Если человек говорит очевидную неправду или брань на тебя, то ведь он это делает не от радости: и то, и другое очень тяжело. Если он это делает, то, очевидно, ему нельзя иначе, и он делает это, страдая. А ты, вместо того, чтобы жалеть, сердишься на него. Напротив, надо постараться помочь ему». **(28 ноября 1897)**

Я жалею. Но помочь – нельзя.

И среди высокого, доброго, вдруг:

«… Зло есть непонятое добро». **(3/II – 1898)**

Ведь это – злая мысль.

«Дело жизни – любить. Но любить нарочно недостойных любви людей нельзя; можно не не любить, – по-божески, добро относиться к этим существам в каждую данную минуту»

(17/VII – 98)

До чего же трудно ему было.

«Желают, волнуются, страдают только из-за пустяков или из-за дурного. Хорошее совершается без волнения. От того и слово “сердце” значит – злость». **(2 окт. 99)**

Но ведь это неправда.

«Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться – это его душа». (Марк Аврелий)

Да уж!!!

* * *

В басне «Стрекоза и муравей» ребята сочувствуют стрекозе.

* * *

– Всё всем подарю!!!

* * *

– Кто у вас тут неуч? (завуч)

* * *

… Я рыжий, конопатый, некрасивый… Кому я такой нужен?

* * *

– Если работа сделала из обезьяны человека, значит, если бездельничать – можно обратно превратиться в обезьяну?

* * *

Это, Танечка, вода.
Эту воду звать река.
Эту реку звать Нева.

* * *

– Это меня не задирает.

* * *

– Эх-ма… Работаете, как волы, получаете, как кроли.

* * *

Ножки тоненькие, шея длинная. Нос в веснушках, глаза быстрые. Щедро ей отсыпано: поет, танцует, рисует, а играет как!!

Ее брали «в дети». В одной семье превратили в няню. В другой – попрекали. В третьей – скучно было. («Ихняя Танька спит – а я полоть, стирать? Фигу!»)

* * *

Старуха на кладбище сварливо: – Зачем вы со своей могилы камень на мою могилу столкнули? Кто вам дал такое право? Мы девять лет этой могилкой пользуемся, такая веселенькая была могилка, а вы камень? Как так вас не было? Хозяин всегда есть, когда решетку ставят!

Долго кричала, сердилась. Потом тихо: – У меня тут старик похоронен… А два сына убитые, их тут нет, а я всё думаю: тут они, и старик, и сыны…

Еще спустя (покойно, ласково): – Вы кого похоронили? Жену? Как звать? Елизавета? Царство ей небесное! Буду ходить сюда и ей поклоняться стану, царство ей небесное!

* * *

«Михаил Иванович!

Мы хочем принять на работу шофером после его кончины, а сейчас нужно с ним побеседовать и его зачислить рабочим в штат с тем, чтоб он у нас значился».

* * *

– Чем это вы, право, занимаетесь: на помоях, извините, сметану собираете…

* * *

У нее деталь не плясала, а, зажатая в тиски, покорно ожидала, и напильник в ее руках шел уверенно. (Циркуль завернула в чистый носовой платок – чтоб не поцарапало.)

* * *

– Мама, а что такое чуть-чуть?
– Ну, это совсем немножко.
– А сколько?
– Совсем, совсем мало.
– Я знаю: это полкапельки от снежинки.

* * *

Из стенной газеты работников конторы писательского городка [в Переделкине]:

«Вся страна готовится к XX съезду КПСС. Стройки в Куйбышеве, в Каховке рапортуют о победах. Наша контора должна взять пример с народных строек и досрочно окончить в честь XX съезда строительство гаражей и сторожек для писателей Лидина, Соболева, Ермилова».

* * *

Из заявления писателя N директору конторы писательского городка:

«Присланный вами плотник забыл поставить щеколду на калитку моей дачи и покрасить в голубой цвет перила у лестницы на второй этаж. Все эти досадные мелочи мешают мне сосредоточить свои силы над созданием образа передовых людей в моем новом романе, к работе над которым я приступил».

* * *

Из заявления писателя N начальнику милиции:

«Да, я завел сторожевую собаку. Да, она бегает без намордника. Но моя собака никогда не бросится ни на вас, ни на кого другого из должностных лиц. Что же касается рядовых прохожих, то их никто не приглашает гулять в березняке, прилегающем к территории моей дачи».

* * *

Из писем в редакцию:

«Поэтическая даровитость появилась у меня, когда работал в милиции, и я больше стал вникать в души окружающих, за что был несправедливо уволен».

* * *

«Мне 16 лет и я пишу роман “Цепи любви”».

* * *

«Уважаемый тов. редактор!

Прошу Вас ответить на интересующий меня вопрос. Недавно прочитав книгу А. С. Пушкина “Цыгане” я хочу знать, какая судьба была в дальнейшем с Алеко после убийства Земфиры и цыгана и куда девался прижитый ими ребенок?

С просьбой к вам Кузнецов».

* * *

– Бабушка, посиди со мной, я никак не усну.

– Что так?

– Мыслей много, мысли мешают.

– Какие же мысли?

– А вот я думаю: в Германии на небе – звезды или фашистские знаки?

* * *

Врач, умирая, о себе:

– У него начинается агония.

* * *

У девчонки полное ухо каши:

– ?!!

– Я хочу посмотреть, как в одно ухо влезает, а в другое вылезает!

* * *

– К чему она – пылкая любовь? Ни к селу ни к городу. Вот – вышла одна замуж с пылкой любовью – прожила полтора месяца, и бросил он ее. А другая вышла – никакой пылкой любви. И как хорошо живут! Я же говорю: ни к селу ни к городу.

* * *

Шофер 73–53. Юношеское хорошее лицо. Читает Драйзера: – Ничего пишет. Но «Мартин Иден» лучше. Уж это такая книга – ну, затягивает! Мне надоели книги про этих… контрразведчиков, ну, грубо говоря, шпионов. Мне лучше такую книжку, как «Мартин Иден». Вот еще хорошая книжка «Педагогическая поэма». А кино плохое – никуда не годится против книги.

– А «Утраченные грезы» вы видели?

– Тоска!

– Да неужели? У итальянцев всегда такие хорошие картины!

– Не в том смысле тоска, а в том смысле, что грустно. Там про девушку – ну, обычная история: ее соблазнили и вот – переживания. Такая, знаете, тоска. Я вот, поверите, не женат и никогда с девушками не гулял. А почему? Думаю: женюсь, а меня за какую-нибудь там аварию – в тюрьму. Ну, а ей каково? Другие, конечно, мало про это думают, а я не могу. И вот такой я, знаете, несчастливый, ну, грубо говоря, невезучий. Что ни возьми: одни план перевыполняют, всегда у них пассажиры, а я, верите ли, стою часами, а сядет пассажир и наедет на 3 рубля – и будь здоров! А я опять стой. Нет, надо профессию менять. Только, может, я и на другом месте такой же несчастный буду?

– У меня легкая рука – вот, пожелаю вам счастья и станете вы счастливый!

– Ах, хорошо! А то, знаете, я совсем, ну, совсем несчастливый!

* * *

Близнецы-братья – по 3 года. Один – тихий, ласковый:

– Вот какой я сорвал цветочек. Возьмите, это подарок!

Другой одержим одной идеей – чего бы еще «сломить»?

* * *

Еще шофер: – Вас курево не беспокоит?

– Нет, курите, пожалуйста.

– Что, сами курите?

– Нет.

– Муж курит?

– Нет, не курит.

– А выпивает?

– Нет, не выпивает.

– И баб не любит?!

– Почему не любит? Значит, любит, если женился.
– Нет, *чужих, чужих*?!

* * *

В Одессе мать кричит в окно детям, играющим во дворе:
– Оба – и сразу!

* * *

Там же: – Где дом № 5?
– Там, где на балконе сидит вдова Бухштаба под зонтиком.

* * *

«Смена» № 22. «Река электричества».
«В песнях и былинах поведал русский народ о своей большой любви к матушке-кормилице Волге. Все нежные и добрые слова **использовал** он, чтобы выразить чувства и думы свои…»

* * *

«Наше дело петушиное: прокукарекал, а там хоть и не расцветай».

* * *

«Я помню, как ее уводили. Она никак не могла попасть в рукав пальто, и пальто волочилось по лестнице. Оно было серое, это пальто – и волочилось по лестнице».

* * *

До чего же мне жаль ее, и почему она не понимает, что унижает себя? Она наблюдает за ним пристально, всё видит, понимает и словно всё время ловит за руку:
– А хочешь я скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь? Я знаю, как ты жил этот месяц – по дням знаю…
Я бы, наверное, резко ответила – не пожалела бы. А он

молчит.

* * *

Мы стоим с Рахилло[123] в лесу. Вокруг деревья, снег, мы примостились у березы и подставили лица солнцу.

Рахилло, задумчиво: – Такое впечатление, как будто мы в лесу.

Почему-то выходит очень смешно.

Он же: – У древнегреческих философов есть исчерпывающая формула счастья: «**Никто не лезет**».

* * *

О всаднике без головы
Читал я как-то у Майн-Рида.
Теряю голову, увы,
И я, тебя увидев, Фрида!

(Пересветов[124])

* * *

Мне звонят из «Советского писателя». Елизавета Максимовна: – Она не подходит, у нее вушко болит.

* * *

В троллейбусе: – Женщина – как земля – она же родит, ее же и топчут.

* * *

– Мы марксисты, мы материалисты, но 13-го числа я из дома не выхожу. Потому что это не суеверие, а народная мудрость.

* * *

– Какой снег красивый!

– Только не сравнивай его, пожалуйста, с алмазными россыпями.

* * *

– А вы не выражайтесь! Нет у вас такого права!

* * *

– Та машиненка повеселее будет.

* * *

Большой, но неумный лоб. Мелкие недобрые черты лица.

* * *

– Такая хорошая девушка… Такая добрая, такая бесхарактерная…

* * *

… Запах их поднялся и всей силой ударил меня, как рыдание. Я не люблю с тех пор гиацинтов и не радуюсь им…

* * *

– В предпоследний раз тебе говорю…

* * *

«Зачем, зачем она назвала меня подзаборницей? Уж лучше бы матом выругала…»

* * *

– Какое хорошее звание «Коля». Самое мое любимое: – Коля! Коля! (звонким, ласковым голосом) А не люблю я звание «Андрюша». Грубое звание какое, вот послушайте: – Ан-дрю-ша! (басом!)

* * *

«Ах расшиби тебя грозой – опять двойка». (Учителю истории.)

* * *

«Я как влюблюсь – сразу полпуда теряю».

* * *

Когда рассказывали всякие таинственные, необыкновенные истории, одна девочка неизменно говорила: – Всё это можно объяснить научно.

* * *

– Влюбился, ай нет?

* * *

В каждую дружбу, в каждую любовь погружалась, как в воду, с головой и теряла способность видеть, что делается в другой душе – и не потому, что неинтересно: просто была оглушена силой собственного чувства.

* * *

– Вы, конечно, меня извините… Но кто-то залез в мою кадушку с капустой…

* * *

– А с хорошеньким пройтиться приятно!

* * *

– Люди искусства не считают себя ответственными за полет своего чувства. У иного першит в левой ноздре, а он уверяет, что умирает досрочно от любви.

* * *

По́были хорошенькими – дайте теперь другим побыть.

* * *

– Она очень красивая.
– Кто?! Да откуда ты это взяла?
– Она мне сама сказала!

* * *

– Я тебя так люблю! Я сегодня всех люблю.

* * *

– Она очень переживала в этот период времени…

* * *

Сочинение: «Кем ты хочешь быть»: «Прежде всего я хотела бы быть мальчиком».

* * *

«Я люблю тебя. Пономарев».

* * *

Бронированная улыбка. «Наверху не понравится».

* * *

Подпольное министерство неудобств.

* * *

То роковое всё равно.

* * *

– Не думайте так громко, я всё слышу.

* * *

«Но сутки в Риме – это не 24 часа. Время здесь становится медленным, оно течет плавно глубоким, многоводным потоком». – Николай Павлович Анциферов[125].

* * *

Девочка: Я не понимаю, как можно спрашивать: «Зачем он убил Болконского?» Если я верю книге, я верю ей, как жизни. Если не верю, я спрашиваю: «Зачем он это придумал?» А здесь я верю и ничего не спрашиваю. **Так было**!

* * *

В боковой ложе самого верхнего яруса опоздавший в оперу и ничего не видящий на сцене спрашивает соседа: «Чье это отсутствие голоса?»

* * *

В войну: Мама, я буду засыпать, а ты пока расскажи мне, как сахар в сахарнице просто ставили на стол.

* * *

Аня Зайчикова: И что за человек такой несамостоятельный! Дружит с одной, а потом увидит мал-маленько покрасивше и за ней. Уж если любить, так тут хоть какая раскрасавица, а ты должен ноль внимания!

* * *

Кондуктор: – Платите за проезд и не улыбайтесь!

* * *

Вагоновожатый: – Стоит тоже, туловище!

* * *

– Дедушка, будь фашистом и побойся меня.

* * *

Николай Павлович [Анциферов] проводил лето в Норвегии на берегу Раумы. На груди на цепочке висело обручальное кольцо, оно было для него живой связью с невестой, залогом счастья. И вдруг кольцо потерялось. Он был в отчаянии, всё вокруг померкло.

Фрекен Анна сказала: – Успокойтесь, всё будет хорошо. Кольцо вернется к вам. Даже если форель проглотила его, найдя на дне Раумы, – оно не погибнет: рыбаки выудят форель, ее зажарят, и я подам вам ее с кольцом на блюде.

На другое утро обшарил дно Раумы – тщетно. Понурый брел домой, держа в руках шляпу, и вдруг услышал, как что-то звякнуло в ней – стал ощупывать – кольцо! Фрекен Анна ничуть не удивилась.

* * *

– Почему ваши дети не кричат?

– Кричат воро́ны, когда перелетают с дерева на дерево, а у меня люди, а не вороны.

* * *

– Как будем есть кабана – просто или эстетически?
– Эстетически!
– Ну, тогда наделаем украинской колбасы!

* * *

Вошел в класс – ребята стоят на партах. Не сделал замечания, стал вести урок, словно ни в чем не бывало. Рассказывал про моря и озера и время от времени спрашивал: – А у твоего отца был день рожденья? – А гости были? – За столом сидели? – А на столе кто-нибудь стоял? Нет? Так что же ты – так тебя, так!

* * *

– Я уж совсем было приготовилась плакать…

* * *

– Дайте, пожалуйста, прикурить!
– При вашей солидности давно пора бы иметь свои собственные спички.
– А при вашей плюгавости вам давно в последний раз морду били?

* * *

Шершавое самолюбие.

* * *

– Поверьте мне. Поверьте так, как верят в школе во время урока геометрии. Не раздумывая.

* * *

– Тихий: с губ мухи не сгонит.

* * *

– Мы с братом маленьки остались. Хорошо, хоть дядя есть: помогаеть.

– Чем помогает-то?

– Бьёть.

* * *

– По словам – самые святые. По делам – самые грешники.

* * *

– Кто у погромленного возьметь, тот сам погромленный будеть.

* * *

На первой странице тетради написано наискосок крупными буквами: «Собственноумные мысли». Следом идет цитата из Толстого – о храбрости моральной и физической.

– Так ведь это Толстого мысль, а не твоя?

– Что ж, что Толстого? И я так думаю.

* * *

– Одна путь.

* * *

– Вот я расскажу вам – было три мальчика, назовем их… А, В, С…

* * *

Девчонке, которая постоянно врала: – Проверять каждое твое слово?

Или иначе: раз ты сказала, значит, так оно и есть, буду

верить, не раздумывая.

* * *

– Я, как князь Мышкин[126], ужасно необразованна, ничего хорошенько не знаю, если спросить у меня: ни кто именно, ни в котором году, ни по какому трактату.

* * *

«Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительной». («Идиот»!)

* * *

Бесконечная тоска, отчаяние, бессилие. Сердце не то что тяжелое – грузное…

* * *

– Дети очень любят тебя.
– Я знаю. И мне иногда даже страшно от этого становится.

* * *

Я ждала вспышки, в которой бы он обнаружился. Но нет, этого не было. Холодная (насмешливая иногда) ровность.

* * *

«Господи, сохрани мне память!» [«Граф Монте-Кристо»]

* * *

Учитель не должен привыкать ни к достоинствам, ни к недостаткам своих учеников.

* * *

Ушел от нас, ничего не поняв, никому не поверив…

* * *

– Мама, подари мне земной шар.

– ?

– Ну, как ты не понимаешь: зимно́й шар, шар для зимы. Все так говорят!

* * *

«Человек, раз входя в мою душу, никогда из нее не уходит. Я приемлю его “с сапогами и с шашкою”»[127].

* * *

Внезапный и сильный удар. Лихорадочная, автоматическая поспешность. Как будто в ней можно было укрыться от страшной вести.

* * *

Слушали с беззаветным вниманием.

* * *

Ее послали в общежитие – посмотреть, чисто ли. Пришла, взглянула – и тотчас же, не говоря ни слова, принялась мыть полы.

* * *

– Гляжу, в заборе дырка – я – нырь туда!

* * *

Глухого мужика, который на зов откликался: «Аюшки?» – так и прозвали – «Аюшки».

* * *

Нужно быть человеком – лишь в этом решение задачи. И ценить выше всего не идею, а просто людскую судьбу.

* * *

Возвращение врагов народа в М<оск>ву – самая не-актуальная проблема из проблем соц. реализма.

* * *

«Нет, нет. Не хочу. “Не хочу” – одно из трех слов, которые я говорила в иные минуты, когда была одна. Второе было – “больно”. Третье – “ничего” – не в утешительно-ободряющем смысле, а в смысле пустоты – **ничего**».

* * *

День усталости. День молчания. И горечи. Серый день.

* * *

Монологист не терпит возражений: если ты не мыслишь так, как он, если ты выражаешь ту же мысль иначе, не так, как он, значит, ты ошибаешься. Если он тебя не понимает, значит, виноват ты. Он диалектик и материалист, и если ты думаешь иначе – значит, ты метафизик и идеалист.

* * *

Спорить честно, не торопиться с ярлыками, не подвергать сомнению наличие доброй воли у ваших противников. Мы не привыкли уважать идейного противника. Мы умеем его ставить только к стенке. Мы не умеем спорить. Мы не умеем убеждать. И нам наплевать на людскую судьбу.

* * *

– Почему ты так редко, так мало говоришь?

– Когда Бог создавал человека, он не зря дал ему два уха и только один язык.

* * *

«В тебе дремлет художник, и он громко всхрапывает порой».

* * *

Несказанное слово хуже головешки.

* * *

«Когда эта тоска – кажется, что из жизни выкачан воздух. Нет света. Нечем дышать. Нет прибежища. Тоска очень болит. Это боль души. Объяснить ее нельзя».

* * *

4 октября 1958 года

Сегодня хоронили Фалька[128].

На доске объявлений, вперемежку со всякими «объявляется конкурс… условия конкурса…» «В четверг состоится…» небрежно, размашисто написано: «Умер Р. Фальк. Гражданская панихида в МОСХе в 11 часов».

Народу было много. Рядом со мной стояла красивая, но очень накрашенная женщина. Ей хотелось плакать, но она боялась: со слезами потекли бы ресницы и румянец. Она смотрела перед собой, крепко сжав губы.

Первым говорил Эренбург, и в голосе у него слышались слезы. Он сказал очень коротко:

– Я надеюсь, что наши дети и внуки увидят, как работы Фалька станут украшением русских музеев.

Когда человек умирает, ему говорят «прости» и думают при этом «прощай». А я хочу сказать – простите, простите, что мы не сумели сделать вашу жизнь более легкой…

Нисский сказал: «Он много и незаслуженно страдал. Он учил

нас бескорыстию и подвигу в искусстве».

Потом пела Дорлиак. Я не знаю мелодии. А слова были похожи на те, что звучат, когда слушаешь трио Чайковского.

На стенах висели картины – портреты и натюрморты. Я видела их в его мастерской несколько лет назад[129]. Нынче врезался в память и неотступно стоит перед глазами красный, почти алый графин рядом с каменной египетской головой.

Я глядела и думала, что только сейчас поняла: когда Блок говорит о музыке, он имеет в виду не только мелодию, но и слово, и живопись. Вот этот алый цвет звучал. Звенел.

Я так и не увидела его лица – цветы, цветы и людские спины.

Я не стала проталкиваться…

* * *

1959 г. Тамбов, Избердей, Ивановка.[130]

– Тетя Маруся, а ты не горься, не горься, плюй ты на него! Вот я иной раз скажу маме грубо, а она и не поглядит в мою сторону.

– Твоя мать со своим дедом живет, вот она на тебя внимания и не оборачивает. А я… Мой дед на фронте убитый. Сын в моей избе живет, меня кормит, как же мне на него внимания не оборачивать? Это хуже нет наказания, когда твой сын тебя никогда не приутешит, а только на тебя волком смотрит и даже не хочет, чтоб ты за стол с ним садилась, и за всё, за всё тебя винуе. Ведь он однова́ чуть меня не убил… Как же мне на это внимания не оборачивать? Как же это не считать за беду? Маленький такой желанный был… А теперь только огрызается.

* * *

Бабка Ариша: Когда сына убило, уж я кричала, кричала. И не могу я его забыть и каждую что ни на есть минуту его помню…

* * *

Метет, метет. Окна залепило. А хозяйка стрекочет над ухом:

– Чего ж ты лицом молодая, а волосы седые? Какое у тебя переживание было? А скажи, скажи мне, вот запустили новый шар, надо же, наука что делает, в самое небушко шар запустили, а ну, как этот шар столкнет солнышко с места? Что мы тогда будем делать?

* * *

Она же: – А в Москве харчуются хорошо, там всего вдоволь, рыба и такая, и растакая и у всех телевизоры.

* * *

Она же (поздний вечер, мы лежим на печи, и она рассказывает мне свою жизнь): А сын жанился в город, на яврейке. А яврейки, они знаешь какие? Агромадные, здоровущие…

* * *

Она же: – Я ее переупрямила, она не за того вышла, а за этого, за которого я хотела.

* * *

Бочаров, первый секретарь Избердейского райкома комсомола:

– Наша область закупила десять тысяч телят, а куда их девать? Какую мы можем устроить им теплую зимовку? И думать нечего! Наука дошла: воспитывать холодным способом. Чтоб круглый год – на холоде. Очень полезно.

– А теленок знает, что это ему полезно?

– Должен знать! Раз сверху указано – должен знать! (Глаза в сторону, короткая, быстрая улыбка). У нас тут в одной деревне свиноматка убежала. Через полгода отыскали ее в поле – сама толстая, поросятки при ней, как налитые. Лучше, чем те, что остались на ферме. Вот теперь и учимся воспитывать в температуре, близкой к уличной.

* * *

Он же: – У нас секретарь райкома партии требует, чтоб мы сельское хозяйство назубок знали. Соберет всех – и ну гонять: «Бочаров, – скажет, – объясни, как отличить утку от селезня?» Я: «По перу?» Он: «Вот и нет! Еще как?»

Я и то, и се, а он – недоволен. Еще, говорит, есть отличие. Я,

знаете, совсем голову потерял с этим селезнем. «А еще, – говорит, – кто из вас умеет доить коров? Как же так – с других требуете, а сами не умеете?» Стал я втихую учиться доить коров. Приеду на ферму, отыщу доярку постарше – бабушка, мол, поучи! Сначала всё в рукава доил, всё в рукава. А сейчас – с кем хотите поспорю, здорово научился.

* * *

Правление колхоза. Гаснет свет. Главный агроном равнодушно говорит: «Ах, мать вашу…» Свет тотчас зажигается, агроном смотрит на меня испуганно.

* * *

Объездчик Дятичев Василий Андреевич: – Я помню, давал я ему солому… В счет помощи давал… (Глядит в сторону.)

– А документ где?

– А вы что ж – мне не верите?

– Почему? Верю. Но только я и Голышкиным верю. Я вас не знаю, их не знаю. Вы говорите одно, они – другое. Как же мне без документа разобраться?

Из толпы, наперебой:

– И правда! Что ей Голышкин, сват, что ли? Он ей никто. Ехала из Москвы, чтоб разобраться! Подумаешь, как приятно на лошади 20 верст в эдакую погоду – вон как лицо ветром обдуло. Что она, с Голышкиным детей крестила, а? Ей – что ты, что Голышкин – всё одно. Человек хочет разобраться, понять, вот и дай ей документ, нечего языком трепать!

* * *

«Пишу вам пожелания в вашей яркоцветущей жизни… Целую вас несколько тысяч раз…»

* * *

Водитель: – Сыновья у меня хорошие. Один уж выучился на инженера, а другой через год учиться пойдет – если, конечно, живы будем. Загад – не богат.

* * *

Эвакуация. Вечер. К дому подъезжает телега, на ней четыре куля. Кули выгружают, несут в дом, кладут на пол. Один куль зашевелился: ребенок. Четверо ребят.

Ни стола, ни стула, ни кровати.

* * *

Начальник тюрьмы Головкин:

– На имя нас… если хотит…

* * *

Раскосяк: – Тут у нас с вами, дорогой товарищ, получился форменный раскосяк.

* * *

Мы с Володей Муравьевым провожаем Руню[131].

– Не люблю провожать, – говорю я.

– А встречать?

– Встречать люблю. А вы разве не любите?

Он пожимает плечами:

– Нет, не люблю.

– Почему?

– **Вокзал – это нейтрально**.

Мне здорово хотелось дать ему по затылку.

* * *

Алик Н.: – Провожать – это пошлость. (Он же: – Быт мешает творчеству.)

* * *

– И лицом хороший, и характер тихий… А не люблю я его, вишь, как получается.

* * *

– Что ж ты за такого маленького вышла?
– А на что мне высокий? Собак на него вешать, что ли?

* * *

– Сгинь-ка, сделай мне такое великое уважение.

* * *

– Что такое «ни то ни се»? А, понимаю: это отметка «тройка».

* * *

– Евгений Онегин – хороший или плохой?

* * *

Чужие жизни душили его.

* * *

У маленькой Ирины любимый герой – кошка: никому не лижет рук.

* * *

Если бы вашими соседями по коммунальной квартире были ангелы, вас раздражал бы шелест их крыльев. А наши соседи – ох, не ангелы… И стучат они – ох, не крыльями…

* * *

– Ты кыску из себя не выстраивай!

* * *

Рядом – и так далеко – жила покинутая ею страна.

* * *

Когда-то в детстве после всякой горести она уходила к себе в комнату и повторяла несколько раз вслух: «Через неделю всё пройдет». И утешалась.

* * *

Нельзя было сделать эту синеву будничной – это означало перестать видеть.

* * *

Легче самому уступать, чем гнуть других.

* * *

– И за что только девушки тебя любят?
– А я ласковый.

* * *

Белые глаза убийцы.

* * *

Рогатая вишня.

* * *

На всё отвечала с готовностью: – С-сию же минуту!
(Со свистом!)

* * *

– Он всегда готов лаять в нужном направлении.

* * *

Единственный сюжет о поездке в Белоруссию, не вошедший в «Блокноты журналиста» (см. главку «Теперь ты поняла, как у нас?», стр. 113).

В Борщовке меня отыскал Николай Михайлович Василенко из Масонов. У него 13-летний сын, который с младенчества не ходит – больные ноги. А голова хорошая. Около братишки кончил 4 класса, и учителя помогали. А семилетки в Масонах нет, ходить из Борщовки в Масоны учителя не станут. Как быть?

Я сказала, чтоб завтра пришел за мной, я посмотрю на парнишку и соображу, как быть. Николай Михайлович заехал за мной на той самой белой лошадке, которую ни один колхозник, кроме бригадира, до той поры не запрягал.

До Масонов 7 км – лесом и полем. Я сидела на соломе и глядела вокруг и не могла наглядеться – день был золотой, осенний, чистый. Лошадка шла медленно. Это был самый мой лучший день в Белоруссии.

Василенко навек загорелый, очень высокий, а глаза синие, почти у всех белорусов такие. Лицо умное, смотрит пристально. Мальчишку, видать, очень любит. Мальчик чем-то похож на отца, только глаза зеленые и тоже очень светлые:

– Когда я был малым, у меня была болезнь полиомиелит. И с тех пор я не могу ходить. Если я вырасту невученым, как же я буду жить?

На ногах новенькие башмаки. Всегда новые.

На обратном пути Василенко приостановил лошадь и показал мне волчьи следы. (Привет Акиму Мореву[132].)

Василенко: – Я около сына тоже читаю. «Три мушкетера» все пять книг прочитал. А вашу статью я читал, как вы выручали хлопца из лагерей[133]. Выручили?

Помолчав: – А моего хлопца выручите?

* * *

От Миши Василенко пришло письмо: «То, что я обещал, я делаю. Но Петруненко ко мне еще не приходил. С приветом к вам Миша Василенко.

Жду ответа».

* * *

Старый, больной, проигравший себя человек. Что с него возьмешь?

* * *

Прокурор в бешенстве, кричит девушке, которой он только что сообщил: ее отец осужден на 10 лет без права переписки: – Что вы на меня смотрите, будто запугать хотите? Не запугаете!!!

* * *

– Будете жаловаться, все материалы поднимем. Если ваши юбки потрясти, то и не такое узнать можно. Идти против решения горкома – это значит идти против партии. Я не советую вам жаловаться, а то мы и прошлое ваше вспомним… Таким путем…

(Первый секретарь Ново-Алтайского горкома партии – учительнице, которая пришла искать у него защиты.)

* * *

– Какая вы худенькая.

– А я никогда справная не была.

* * *

– Топора боюсь, пилу не уважаю.

* * *

Когда я была в Ярославле, Шура звонил мне каждый вечер. Соседка по комнате Нина Прохоровна сказала:

– Каждый день… Не пойму я – денег вам девать некуда или вы сохранили чувство?..

Шура, услышав это, немедленно сказал:

– Ты должна была ответить: «Мы сохранили чувство, что денег девать некуда!»

* * *

Ярославль. Идут экзамены. За окном голосит петух.

– Наполеон претендует против Турции… Чернышевский написал драму «Дмитрий Калинин»[134]…

* * *

Бывалоча…

* * *

– Всё это – пустые слова!

Лицо гладкое, холеное, шея толстая и голос тоже толстый и гладкий.

* * *

Комиссар собственной безопасности.

* * *

Литые, крупные, какие-то геральдические гуси.

* * *

Фамилия: Наумкин
(а зовут его все Недоумкин).

* * *

Девушка отвечает на вопрос билета покачиваясь, монотонным, высоким голосом, не останавливаясь, как заколдованная. Вопросы ее сбивают, она теряет нить и потом больше не может поймать ее.

* * *

Основное заболевание: здоров. Сопутствующие заболевания: наглость.

* * *

Милиционер: – Я – человек, а не буква закона.

* * *

Эренбург на встрече с Полетаевым[135]:

– Нельзя, чтобы на Луну высадился хам.

Пишут: нельзя без Пушкина, Бетховена, но никто не написал: нельзя жить без Сталина.

Сталин не может без физики? Да.

Физики не могут без Сталина? Не верю.

По таланту нельзя ходить сапогами. Мода на оглоблю кончилась. Но теперь другая мода: на средне-арифметическое.

Я рад, что люди лучше одеваются и едят. И спокойнее спят по ночам. Но это еще не всё.

…Меня теперь называют «некоторые литераторы». Словно я размножаюсь почкованием.

Почему нужно много сортов хлеба? Почему не может быть разнообразных писателей?

Если б я разводил розы, то получил бы почетную грамоту. А нового писателя? Нет, не моги, не выводи.

У старого дерева – отруби ветви – вырастут новые. А попробуйте по саженцу прогуляться.

* * *

Удивительная книга. На ее страницах плачут, падают на колени, целуют руки и говорят: «Кристин, золото мое бесценное, не плачь так горько»[136].

Сейчас так уже не пишут. Но разве сейчас не плачут, не стоят на коленях? Плачут. Стоят. Но написать об этом ни у кого не повернется рука. Прочитать об этом было бы почти оскорбительно. Сдержанность. Скупость. Всё загнано глубоко внутрь. Это верно. Так и должно быть. Но, может, она так любила музыку оттого, что рыдание в ней звучало не заглушенное ничем, звучало, не стесняясь себя, бесстрашно. Тут не было запретов.

* * *

– Это то же самое, что владеть Летним садом для единоличных прогулок.

* * *

В меховом ателье. Заказчица:

– Плечи какие безобразные.

– Да не сказать, чтоб безобразные… Ну, почему безобразные? Плечи, можно сказать, как плечи. Обыкновенные плечи.

– А вы, гражданка, не лезьте, не ваше дело.

* * *

Она заведовала мной.

* * *

Мысли какие-то бледные, робкие, вялые – не кровь, а сукровица.

* * *

У Гете торжествует незаконная любовь.

У Киплинга – законная.

* * *

– Ты меня обидела.

– Чем же я тебя обидела?

– Лобиком.

(Мать хмурилась).

* * *

– Она кусается лапами (про кошку).

* * *

– Ты меня жутко утешил.

* * *

– Сейчас такое веяние…

* * *

– У меня пьеса готова. Осталось только слова проставить.

* * *

Надо было, чтоб любовь выболела. Чтоб ее не стало. Надо было ее сломать, разрушить.

* * *

– Моя болезнь, знаете, как называется? Я в медицинской энциклопедии вычитал: старость – не радость.

* * *

Выпьет, крякнет: ремонт!

* * *

– Вы гуляете в одиночестве?

Высокомерно: – О, если бы вы знали, сколько друзей сопровождает меня сейчас.

Понимать ее надо было так: они мысленно с ней, она оживляет их своим воображением.

– Ну что ж, передайте им привет.

* * *

Август в Тарусе.

Ночью падают звезды. В саду слышен стук яблок, падающих с деревьев.

Днем из-за всех заборов слышен стук – оббивают бочки для засолки огурцов и капусты. Трава усеяна молодыми гусиными перьями.

Георгины, гладиолусы, золотые шары.

* * *

«Виновные будут караться вплоть…»

* * *

Я: – После того, как Тамара пошла в партком, муж к ней вернулся и теперь, говорят, носит ее на руках.

Шура: – В партком?

* * *

Я знаю женщину, которая говорит о себе: – Я пишу такую густую прозу.

* * *

У меня советский паспорт!

– Тут у многих советские паспорта!

* * *

Мне говорят: чтоб прозвучало то, что ты хочешь сказать, надо пользоваться этой терминологией. А я считаю, все эти слова так скомпрометированы, что ни до кого не доходят. А молодежь их попросту слушать **не может**.

* * *

– От зависимости вашей семьи… До такой шикарности мы еще не дошли.

Надо навещать сюда. Да почаще. И там будет хорошо видно.

* * *

По природе предатель…
Убийца по природе…

* * *

– Если в бабе ничего от мужика нет, это плохо. Это значит, что она баба и только баба, и курица и больше никто. А если в мужике ничего от бабы нет, это тоже плохо. Это значит, что он звероватый и злобы в нем много.

* * *

– А ты его любишь?
Подумала и ответила: – Уважаю.
– Что значит уважаю? Я б удавилась, если бы меня уважали – пусть лучше не уважает. Плевать мне на уважение!

* * *

«Но мне понравилась веселая жизнь на колесах, легкий труд; и я стал студентом прохладной жизни и опустился на дно».

* * *

– И жил он, как сказано у Лескова, в неопределенном наклонении…

* * *

Иуда, целующий Христа. Круг, вписанный в квадратную рамку. Темное, почти неразличимое лицо Христа. И фигура Иуды, змеинообразное объятие, губы, протянутые к Христу, и взор, обращенный к римским воинам[137].

* * *

«Высóко, как Коккинаки» – Это может прокудахтать курица, но человек это произнести не может.

* * *

– Он оскорбил его по щеке.

* * *

Цветочница с лицом убийцы.

* * *

– Если ты мертв, не берись помогать.

* * *

– И во мне всё гулом пошло – в позвоночнике гул, в мозгах – гул, в руках, в ногах, во всем организме.

* * *

В эфир ворвалась злобная, решительная, очень деловитая колоратура. Она как-то мстительно выводила свои коленца.

* * *

– Стою в вене! (Медсестра делает укол).

* * *

– Моя прелесть! Сейчас сделаем укольчик! Золотце, поработайте кулачком… так, так… Где там венка? Вот она. Разожмите пальчики, моя прелесть.

* * *

– Он глазами как вцепится…

* * *

Вкрадчивый дождик.

* * *

– Извлеки мне корень поквадратнее.

* * *

И вот она гремит, и вот гремит: «Я зарабатываю… Я покупаю…» Подумаешь! Все зарабатывают, все покупают. И еще: сядет за стол и опять гремит: «Я не голодная». А остальные, что ли, голодные?

* * *

– Дети у тебя. Зачем ты пьешь?
– Подружки такие попались. Подбивают.
– Тебе что, десять лет? Какие подружки?

* * *

– Учителя говорят: язык у тебя бедный. Читай, мол, больше. Я читаю. А что толку? Иной раз скажешь какое-нибудь такое слово из книжки, ну, например, эрудированный – ну, знаете – говорят так, например, эрудированный человек, а девчонки смеются – что это ты воображаешь о себе…

* * *

А я знаю еще слово «концентрированный», но в разговор не вставляю, стесняюсь.

* * *

– Про таких у нас на Украине говорят: куда ни повернется, там верба растет.

* * *

Рыжая, быстрая, полная доброжелательства. Но ее боятся, как чумы: если уколет в ляжку, будь уверен: эта нога из строя вышла. В вену попадает с пятого примерно раза.

* * *

Генерал: – Вот, понимаешь, теперь военное дело немодно. Два сына у меня. Один в инженеры пошел, а другой по гуманитарной линии – в цирковое училище.

* * *

– Не пей, тебе же машину вести.

– «Скорую помощь» не останавливают. Я потому на «скорую» и пошел.

* * *

Детские годы, это годы настоящей, а не пустяковой жизни.

* * *

– Ты что невеселая, с людьми неласковая?

– Будешь за 300 рублей ласковая…

* * *

– Пить надо по месту жительства. (Кондуктор в автобусе.)

* * *

– Идите по направлению прямо.

* * *

– Мы не для того сюда пришли, чтобы они праздновали женский день и кидали свои посты.

* * *

– Курица. А лицо мадонны.

* * *

Голосом срывается на высоких нотах. До писка.

* * *

– Я закрою глаза и с закрытыми глазами попаду в сосну. Видишь, попал! Но ты не удивляйся: я не совсем глаза закрыл, а прижмурился только.

* * *

– Покрывал врагов. А теперь не хочет поглядеть людям в глаза. Прячет их от людей. Нет, не спрячешь, тов. Пономаренко! Не спрячешь от народа своих преступных глаз…

Так говорил один оратор, и другой, и третий. А тот, о ком говорили, всё не поднимал головы, не опускал руки. Он просто умер.

* * *

Представляли начальство, водили по комнатам. Привели в отдел очерка, а там один сотрудник говорил с женой по телефону. Он в смятении положил трубку на стол, а оттуда несся голос жены: «По бабам шляешься, дрянь такая!»

* * *

Пьяная весна. Капли прыгали с крыш, как пьяные. И птицы свистели, как пьяные. И облака неслись высокие, хмельные. И высоко в небе неслись пьяные облака.

* * *

Он был готов к смерти. И к посадке. Но когда угроза посадки стала явственной, он подумал: «Раньше бы…» Теперь он был женат, и у него был ребенок.

* * *

– Ты давно за ним замужем?

– Всю жизнь…

———

Рассказы А.А.А. [Ахматовой]

– В Гослите при заключении договора платят 25 %. По сдаче рукописи в набор – 35 %. Когда книга выходит – остальные сорок. И вот, когда сдали книгу в набор, я попросила свою редакторшу выписать мне 35 %.

– Кажется, вам 35 % уже выплачивали.

– Если вам кажется, проверьте.

Она куда-то удалилась, а вернувшись, сказала:

– Старшему редактору тоже кажется, что мы оплатили вам 35 %.

– Если и вам, и старшему редактору так кажется, я попрошу вас проверить это обстоятельство у бухгалтера.

Редакторша удалилась, а вернувшись, сказала:

– Бухгалтеру тоже кажется…

И тут я ответила так:

– Если бухгалтеру кажется, его надо связать и тотчас вести в пробковую комнату. Казаться может лирическому поэту, а бухгалтеру ничего казаться не должно. Он должен знать.

———

Когда мне вручали премию, за моей спиной стоял чей-то бюст – то ли Тита Ливия, то ли Нерона. Он всё время гримасничал, он был недоволен происходящим, и на лице у него было написано: «Кто это? Поэтесса? Ахматова? Первый раз слышу. Сапфо – вот это была поэтесса!..»

Министр подал мне небольшой конвертик. Я поблагодарила и положила его на стол, неподалеку от себя. Министр улыбнулся, взял мою сумочку, расстегнул ее и сам положил туда конвертик.

Оказалось, что в нем было миллион лир.

Знаете, как я их потратила? Мы купили шесть чемоданов и напихали в них всякого женского барахла – кофты и прочее. Я приехала в Ленинград под самый Новый год и была как дед Мороз – всем раздавала подарки.

* * *

Я спросила Шуру: – Как ты думаешь, это много – миллион лир?

Шура: – Для человека, который всю жизнь привык обходиться одной лирой – наверно, много.

* * *

– Бог правду слышит, если доживешь.

* * *

– Поменьше рвенья (Талейран).

* * *

– Всякая вещь бывает 1-го сорта или второго (похуже) или третьего (совсем плохого), но дерьмо – не сортится.

* * *

– До 3-х часов ночи играли в бридж, чтобы нас не вытаскивали из постелей. А потом отец ложился и клал рядом с собой револьвер[138].

* * *

Каспий мелеет со времен Петра Первого. Но такого обмеления…

* * *

А. А. Ахматова.

– Рим… Кто построил все эти здания? Не человек же. Тогда кто же?

* * *

Когда меня подвели к старинному замку, где я должна была получать премию, я остановилась, онемев. Огромная, почти отвесная лестница. Каждая ступенька в полметра. Как же я взойду, если я даже на второй этаж поднимаюсь в лифте? Я одолею несколько ступеней – и похороны по четвертому разряду – покойник правит сам – обеспечены.

Я постояла, подумала и сказала себе: поднимись.

– И что?

– Ничего – поднялась.

* * *

В Ташкенте Нечкина пришла с визитом к Анне Андреевне. На светский вопрос «Над чем вы сейчас работаете?» Милица Васильевна ответила полуторачасовой лекцией на тему «Грибоедов и декабристы». Когда она ушла, А.А. сказала: «Я вижу, что из этого города меня без высшего образования не выпустят».

* * *

– Я хорошо веду себя только, когда я печальный (грустный). Когда я веселый, я веду себя плохо и никак не могу остановиться!

* * *

– Добрый человек любить маслины не может.

– Да никто и не любит, просто притворяются.

* * *

– Как уютненько, как интимненько. Хотите я расскажу вам свои взаимоотношения к мужу?

* * *

– Пушкин очень гладко пишет ямбами, поэтому все понятно. А Маяковский когда ямбами – тоже понятно. Но иногда он переходит на хорей – и тогда – ну, ничего не понятно.

* * *

Уму это было не в подъем.

* * *

Букинист возвращает бывшему другу эту книгу в надежде, что в следующих книгах не будет пропусков ни по вине главлита, ни по вине редактора, ни страха ради иудейска.

* * *

«Порой мне бывает грустно, и в эти минуты мне кажется, что только ты сможешь всё понять, тонко оценить сложившиеся обстоятельства и дать соответствующий совет».

* * *

– Ну, хорошо: я тебе тапочек не купил, ладно. А ты что сделала? Оставила своего мужика в лесу на платформе и ушла с чужим мужиком. Это как будет? Хорошо?

(Он одноногий, с костылем. Она востроносенькая, в платочке. Не очень молодая.)

* * *

– У тебя в душе́ не работают дворники. Они не подметают, и вот всякая мелочь застаивается, и мучает тебя, не оставляя сил для настоящего горя.

– А это горе?

– Нет, – отвечал он беспощадно. – Горе впереди.

* * *

Жизнь трудна, и никто дневников не ведет. Что-нибудь себе сказать. Реже, но на большей высоте.

* * *

– Он за две минуты внимания требует двадцати лет страсти, преданности, любви и пожизненной верности.

* * *

«Тихое оподление души человеческой ужаснее всех баррикад и расстрелов в мире» (А. Куприн).

* * *

– Во-вторых! – кричал он с трибуны. Никто не помнил, что «во-первых» и было ли оно вообще.

* * *

В больнице[139].

Девочка Оля: – Портки надевать не буду. А зачем мне портки?

* * *

– Ты мне на нервы не действуй! Не капрызничай!

* * *

Неслышно капает из стеклянного баллона кровь – через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле, по капле – без стука, неслышно: кап… кап…

* * *

Мальчик откуда-то из глубинки, 12 лет:

– Вре-е-едные… Мучают… Если эдак лечить, так уж лучше не надо… одно мученье. Никогда в больницу не поеду больше…

Уеду, не вернусь…

Злобно, мне:

– И вы – мучаете.

– Мне уйти?

– Не знаю.

Стало мне скучновато.

После сонного укола, проснувшись:

– И вы спите, тетя…

– Не хочу, мне тебя жалко.

– Спасибо.

* * *

Я ведь постановила – никогда не ждать спасибо. Однако, нужно? Это плохо.

* * *

Искательно: – Где тут кипяченая вода?

– Я не из этой палаты.

(Стояла рядом с бачком.)

* * *

Ирочке Мещаниновой, которую вчера оперировали, сегодня 2 года. Муж одной больной принес ей верблюда – про верблюжью голову говорит: сяпка (шапка), про снежинки: мухи.

Рот большой, выразительный. Волосы, как лен – белые и кудрявые.

* * *

– Я запоздала с личным счастьем.

* * *

– Я в смысле гуманности хотела стать медсестрой, а в смысле развитости науки я этого представления нисколько не имела.

* * *

Тонкий, страдальческий голос:
– Можно ли откашляться?
– Можно, можно, наши нитки всё выдержат.

* * *

Ночью не так интересно. Спят.

* * *

На одну санитарку 50 человек.

* * *

Сердце, как испуганная птица – нет сравнения точнее.

* * *

Зашитое: как кривая строчка, которую поперек и вдоль перечеркнули красными чернилами.

* * *

Перевязочная. Женская смотровая. Мужская. Одна буфетная на 100 чел.

* * *

– Мы родственникам не врем.

* * *

Вот эта толстая – инструктор по стрелковому спорту! С закрытыми глазами – в яблочко.

* * *

У всех, кто пришел справляться о больных, – просительные глаза. Это делает их всех похожими друг на друга.

– Я насчет Иваницкого… Я относительно Громова…

Одна тетка всё время возвращается:

– Я еще вот чего хочу сказать… Знаете, она какая… Выстирать, вымыть – это только моя обязанность… Она еще когда маленькая была…

Доктор всех помнит. Ни разу не раскрыл книгу.

– Она не поправится.

– ?!!

– Неоперабельный рак пищевода.

* * *

Зоя Флоридовна.

* * *

– Какое с вашей стороны будет мнение?

* * *

– Я вас хочу спросить словесно…

* * *

В халате длинный, очкастый, лысый. Ходит с поилочкой и поит больную мать. Она лежит желтая. Оранжевая. Будто выкрашена в растворе стрептоцида.

* * *

Напротив по коридору – мужчины. Стук костей домино.

* * *

– Каких только болезней не бывает! Подумать только!

Ресниц и веснушек – на троих человек.

* * *

– Вы мне отвечаете за все сердца!

* * *

– Больше всего не люблю дежурить в справочной. Как говорить: «Надежды нет»?

* * *

– Его бы после такой операции – на два-три месяца в санаторий. Как в Швеции делают. А [у нас] он пойдет в пятиметровую комнату.

* * *

Неоперационный день легче. Послеоперационный – куда труднее.

* * *

Хирург долго глядит на эту огромную толстую женскую ногу, которую он должен сейчас ампутировать.

– За мной, ребята! – говорит он и решительным жестом делает первый надрез.

* * *

– Разлука ты, разлука.

– С кем же у вас разлука?

– Со свободой.

* * *

– Можно ли глохнуть, если несчастен? Нельзя. Умирай, погибай, а душа пускай будет жива.

* * *

Раздумья крупной солью я посыпаю веселье.

* * *

Поливанова кто-то со страшной силой хлопает по плечу:

– Здоро́во!

Поливанов видит: незнакомый, ошибка. Но страшно зол за удар. Поэтому, когда тот спрашивает:

– Ну, как Федор Федорович?

– Удар хватил.

– Не может быть! А Петр Иванович?

– Проворовался! – и т. д.

* * *

– Не врет только ленивый.

* * *

– Честные – они жестокие. Им не жалуйся, не пожалеют.

* * *

В позе спящего гладиатора – пьяный.

* * *

В 37-м заступилась и испугалась.

* * *

Ирина: – Одуванчики – цветы из детства.

* * *

– У нее, как у ведьмы-русалки, так и сквозит «черная середина»[140].

* * *

Ничто так прочно не гасит свет в душе, как личные несчастья. Тут уж не отмахнешься, не забудешь – оно вечно с тобой.

* * *

В спокойствии всегда есть какой-то холодок. «Уходилась». Да.

* * *

– При коммунизме на каждом углу будут три крана: с водкой, с пивом и с водой.

* * *

Тесть – зятю: – Не за то я тебя люблю, что ты горький пьяница. И не за то, что ты жизнь моей дочке покалечил. И не за то, что ты вчера морду мне набил. А люблю я тебя за то, что ты простой советский человек.

* * *

«Если б собрать в одно место людей из разных лет жизни – по выбору… Кто был бы у меня тогда?»

* * *

«Я бы сейчас охотно почитала бы Уильяма Локка[141]. Красиво, трогательно и неправда».

* * *

Истину дубиной не вколачивают.

* * *

– Я б его в доме вместо кошки и то не держала бы.

* * *

– Это была семья со всеми мещанскими добродетелями: с чтением вслух по вечерам, с Диккенсом и прочей сентиментальностью.

– Да, припоминаю: что-то такое и в самом деле было…

* * *

– Она такая тихая, такая тихая, даже плюется и то лампадным маслом.

* * *

– Какие у тебя отметки?

– От двух до пяти.

* * *

– А не помешает ли это гражданским установлениям и дальнейшим видам России?[142]

– Перестаньте паясничать.

* * *

Онемевшее от ужаса время.

* * *

– Глаза потускнели, оплыла, на человека стала непохожа. Зачем жила, объясни, зачем?

* * *

– Ненавижу пьяных.
– Ну и глупа. Ты подлецов не люби, а пьяных – обожай.

* * *

Пьяный – он счастливый. Всем кажется, что он как свинья, а сам себе он кажется птицей.

* * *

Тайная внутренняя работа. Ждать неожиданного от телефонного звонка, письма, стука в дверь. Ведь она сказала: вот возьму и приеду. Значит, могла позвонить по телефону или постучаться в дверь.

* * *

Обошли по службе:
– Я давно решил, что это меня не касается. Ну, а он всегда лает в указанном направлении. Он любит начальство. Искренно любит.

* * *

Незрячий дом.

* * *

Заплаканные окна.

* * *

Советчику первая оплеуха, это он наблюдал не раз.

* * *

– Я был бы там не из последних удальцов (в психиатрической больнице).

* * *

В штабе идет совещание. Звонок. Говорит жена. Всё слышно: полевой телефон – он самый звонкий.

– Феденька, третий день мяса нету, я же тебе говорила.

– В гарнизоне нет, и у тебя нет. Будь здорова.

Кладет трубку.

Но ведь можно позаботиться, чтоб в гарнизоне было мясо. Возможна и такая трактовка. Ведь теперь не война, в гарнизоне – жены, детишки.

* * *

– Юмористы очень обидчивые.

– Да, правда. Зощенко, например, очень обиделся на постановление[143].

* * *

– Не такие мои годы, чтоб это читать – у меня ноги гудут.

* * *

Подлецов, конечно, на свете много. Но самое легкое и самое страшное, что мы можем сделать, это сказать: всё равно тут ничем не поможешь. Нет, я верю в каплю воды. Она всё же точит камень. И в каплю в море. Ничего не проходит без следа. Ни доброе, ни дурное. И, как любила повторять Софья Ковалевская, «говори, что знаешь, **делай, что должно, а там будь, что будет**».

* * *

«Если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то даст много плодов».

* * *

Из рассказов Ахматовой.

Тышлер[144], как ни странно, видел меня очень реалистически: два глаза, один нос – подумать только! И отсюда (тронув висок) ничего не растет. И вот, как будто, в 3-м № «Лит<ературной> России» будет мой портрет работы Тышлера и хвалебная статья обо мне!

_____

– Я выбрала самые понятные стихи Осипа[145]. Но и самые понятные могут показаться кому-нибудь непонятными, и он станет эпицентром землетрясения.

* * *

Обидели при тебе человека – и ты виноват.

* * *

Подполковник Шимкевич сильно возлюбил меня, потому что я его землячка: родилась в Орше[146].

Этот симпатичный подполковник, опрокинув себе на колени тарелку с ухой, орал на жену, которая ровно ни в чем не была виновата:

– Черт бы тебя подрал! Пошла бы ты к чортовой матери, проклятая баба!

Она – веселая, милая (уралка), даже бровью не повела – вытерла ему табуретку и налила в тарелку новой ухи.

* * *

Во время ухи и водки секретарь парткома сильно распоясался и всё норовил положить руку мне на колено или на плечо. Больше всего ненавижу таких вот седовласых, которые всё делают будто бы по-отечески. Их руку отвести как-то совестно, чего, мол, худого подумала про такого почтенного с благородной сединой.

Потом проводил до дому, зашел в комнату. По дороге всё толковал, какая я хорошая, простая («хоть и такой большой человек») – и что на уху вы приняли приглашение, мы так оценили, вы даже представить себе не можете. А мне вы прямо всю душу перевернули. А когда пришли, сказал:

– Дайте я вас поцелую по-отечески.

– Нет, – говорю.

– Ну, один раз.

Мне сильно хотелось его стукнуть.

– Нет.

– Почему?

– Не хочу.

– Можно я посижу?

– Нет, идите, я устала, хочу лечь.

– Ну, можно я только папиросу докурю?

Мне стало тревожно. Я знала, что со мной ничего не может случиться, но мне не хотелось ни давать в морду, ни бить стекла.

Тут раздался звонок – звонил майор Манухин, начальник отделения, предупредил, что ко мне сейчас придут женщины о чем-то советоваться. Велел передать трубку секретарю. Уверена, что позвонил он не случайно. Он, видно, знает секретаря и понимает, чего от него можно ждать. Секретарь ушел: «Гоните их скорее, я еще зайду». Почти тотчас за ним пришли три женщины, жены офицеров, советоваться насчет своих дочек. Мы сидели долго, а потом я закрыла дверь на ключ. Еще немного спустя началась беготня, топот, звонки – из лагеря убежал заключенный.

Наутро секретарь был со мной холодно вежлив.

* * *

Мать: – Ох, надоел своими вопросами. Да перестань ты спрашивать!

Мальчишка: – А па-ачему? Ты знаешь, а я не знаю.

* * *

Когда даешь на чай, удивляются безмерно. Проводник в поезде Свердловск – Москва возьмет за 2 стакана чаю и три рубля, и пять и ничуть не удивится. Здесь мне пытались с рубля дать сдачи.

Шофер Коля, пока мы ехали к поезду в Новую Сосьву, подобрал трех человек. Останавливал машину и кричал: «Эй, ты, в лесу, иди, довезу!»

Я не удивилась – получит, думаю, с каждого по десятке, вот и хорошо. Ничуть не бывало. Приехали, вышли, каждый на прощанье: «Спасибо!» – и всё. Коля не удивился. Видно, с тем и приглашал.

* * *

В шестом номере «Октября» за 1963 год есть статья критика Идашкина “Еще раз о “вечной теме” и “героине у зеркала”. Он спорит с И. Виноградовым и Н. Ильиной. Понятия: естественный человек, внутренняя свобода, суверенность личности он ставит в кавычки.

Блистательный памфлет Ильиной совершенно серьезно принял за «опыт литературоведческого анализа». Да…

* * *

Ирочке 4 года…

Она спрашивает:

– Бывает так, что один другого любит, а другой одного нет?

– А почему ты спрашиваешь?

– Я сказала мальчику Вите: я тебя люблю, как маму и папу. А он сказал: а я тебя, как жабу…

* * *

– Ирочка, у тебя есть друзья?

– Это было давно. Я была на саночках, а он на коньках. И он сказал: Ирочка…

* * *

Женя Лисин, 6 лет:

– Мама, кем нужно стать, чтобы зарабатывать много денег?

– Мама, почему у всех соседи, а у нас – хозяева?

– Мама, почему они не верят, что я не буду рвать ягоды, ведь я дал честное слово?

Ночью:

– Ты почему не спишь? Ты думаешь про то, где мы будем жить, когда приедет Петин папа?

– Мама, ты говоришь, чтобы я во всем уступал Пете. А что, если я его обижу, нас выгонят? Нам опять негде будет жить?

* * *

– Я хоть и пенсионерка, а воспитание молодежи плохое.

* * *

Игнатий Иванович Иванов: – Из жизненной практики скажу, что в большинстве своем в выпивке мужа виноваты жены. Такой пример: муж пришел выпивший, хочет кушать. Жена начинает его упрекать, укорять и так далее. Вот и получился скандал. Можно было обойтись без этого? Да, можно было – жена бы думала: муж выпивший, а выпивший человек ненормальный, быстрее накормить его и спать уложить. А утром, когда он нормальный, обсудить его поступок без крика и шума, но только опять не сильно задевая самолюбие и без присутствия детей.

* * *

Был напичкан латинскими изречениями и прочими крылатыми фразами и ни с того, ни с сего – и нисколько не к месту – говорил: «И ты, Брут?»

* * *

– Тебе восемь лет или девять?
– Как когда.

* * *

Самуил Яковлевич Маршак:

– Если человек сызмальства не поймет, что есть нечто более драгоценное, чем золотые часы, он непременно украдет их. Непременно, как бы интеллигентен он ни был. Страшный удар в легкие не так страшен, если у тебя легкие полны воздухом. И он может быть смертельным, если легкие пустые.

Жизнь – как решетчатый мост, мост в дырках: лошадь не пройдет, а быстрый автомобиль промчится, одолеет дыру, не увязнет. Жизнь без высокой мысли – улица без фонарей. Там возможен всякий разбой.

Он же: когда ты слышишь слова «стругать», «рубить» – у тебя возникают ассоциации. Когда ты читаешь, что кто-то «обрабатывает дерево» – никакие ассоциации у тебя не возникают.

* * *

Рассказ Ольги Михайловны Кучумовой (ее не было десять лет)[147].

Осенью приходили отымать жеребят от маток. С утра жеребят заняли, а кобыл впрягли в арбы и телеги. И отправили на полевой стан на обычную работу. И вечером они вернулись. Когда их распрягли, они с громким ржаньем бросились искать своих детей. Они стрелой проносились мимо нас, гривы и хвосты их развевались, глаза метали молнии. Страшное ржанье, адский хор. Их старались загнать по конюшням, тогда они стали выбивать копытами рамы и выпрыгивать из окон. Мы стояли на противоположной стороне, прижавшись к стенам базов[148], и смотрели. Длилось это буйство до тех пор, пока не вышел старшой и приказал открыть жеребячий загон. Тогда лошади, словно ослепнув от гнева, стали прыгать через жеребят, они носились взад и вперед с громким ржанием, каждая искала своего детеныша. Жеребята вторили им дискантами! Наконец каждая мать нашла своего. Ржанье постепенно стихло, слышалось только какое-то нежное бульканье… Пришлось на эту ночь оставить их вместе.

Но этой картины – как лошади выпрыгивали из окон – мне не забыть. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и не могли опомниться.

– Вот матери, не нам чета, – сказал кто-то. – Вот как надо было бороться за своих детей!

* * *

Маршак:

– Пушкин, когда ему не нравилось написанное, говорил: вяло.

А Станиславский говорил: не верю. Вот это и есть: вяло и неправда.

* * *

Он же:

– Знаете, как мы назвали книгу о вакууме? «Для чего – ничего». Это – название! Это – находка! А теперь говорят: «Напишите о Красной Армии».

Всякая книга должна быть событием, если она не событие – она брак. Перегрузка при недогрузке ума и воображения. Мы не

ищем, теряем. Было много колодцев, мы их зарыли, заменили одним водопроводом.

Он же:

– Из будуара в гроб, конечно, неохота.

* * *

Надо было кому-то помочь. Самуил Яковлевич колебался, но потом сделал всё, что надо. Некто: «А почему он так долго не решался?»

Тамара Григорьевна[149]: «У него стеклянный пищевод. Видно то, что у других обычно не видно».

* * *

От писателя что требуется? Александр Сергеевич давно сформулировал. Первое – чувства добрые пробуждать. Лирой. Второе – прославлять свободу. И третье – призывать милость к падшим. Три пункта. И всё.

* * *

– Как ты себя чувствуешь?

– Как дикобраз, проглотивший ежа.

* * *

Нам уже под 70, нам не под силу бороться за правду. Был один, боролся, так ему было 33 года. В 33 года оно легче.

* * *

Проблема шиворота.

* * *

Красивый маленький рот на толстой гнусной харе.

* * *

– Ты нервная?

– Я эмоциональная.

* * *

Из рассказов Паустовского:

Одесса, 6 утра. К Паустовскому, только что сошедшему с поезда, подходит старуха в митенках и бусах:

– Извините, конечно, зря я вмешиваюсь в вашу личную жизнь, но скажите – ваша фамилия, случайно, не Файнштейн?

* * *

Тэффи:

– Я в последнее время совсем одурела от лекарств и работать не могу. Дилемма: погибать в полном уме от спазм или жить идиоткой с лекарствами. Я дерзновенно и радостно выбрала второе.

А я – первое.

* * *

Она же: «Все мои сверстники умирают, а я всё чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста. Он вызывает пациентов, явно путая очередь, а мне неловко сказать и сижу, усталая и злая!»

* * *

Она же: «Мы очень старые, облезлые, вставные зубы отваливаются, пятки выворачиваются, слова путаются, головы трясутся – у кого утвердительно, у кого отрицательно, глаза злющие и потухшие, щеки провалились, а животы вздулись!»

* * *

О Ремизове: выходя из дому, вешал на никогда не запиравшихся дверях бумажку с надписью:

– Выхожу один я на дорогу.

* * *

«В самый тискучий тиск и последний загон – много о ту пору мудровал человек над человеком – когда, кажется, ну ничего не подскрести, всё использовано, и завалящего не может быть, – я видел – подают!» [Ремизов]

А я видела: не подают.

* * *

В церкви, на отпевании его жены, кто-то подошел к нему и сказал, как приговор, одно слово:

– Несчастный!

«И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убивец». [Ремизов]

* * *

Он же: слово – живое существо, а не побрякушка и свинцовый типографский набор.

* * *

Надо терпеть. С этого начинается день. Терпеть со стиснутыми зубами. Меня надо распружинить, так я закручен. А своими недугами я погружаюсь в темное рабство… [Ремизов]

* * *

Меня всегда мучило забвение. Воскрешающая сила памяти. – Бердяев.

* * *

– К какой политической партии вы принадлежите?

– Поэт.

* * *

Утонул, потоп в беде.

* * *

Куда идет Коля, когда он выходит из себя?

* * *

Человечество не придумало ничего лучшего, чем десять заповедей.

* * *

Провалился сквозь асфальт, прожег пятками…

* * *

«Бог ждет от человека дерзновенного творческого опыта. (*Это я нечаянно написала: опыта, у него – ответа*.) Но этим налагается на человека безмерно бóльшая ответственность и тяжесть, чем обычное требование победы над грехами. Предельное дерзновение в том, что от человека зависит не только человеческая судьба, но и божественная судьба». [Бердяев]

Вот это мысль!!!

* * *

– Чем вы заняты?

– Интриги, адюльтеры, и притом чужие.

* * *

– Я люблю таких людей, как Софья Петровна[150]. Не очень умны, но трогательно доверчивы…

– Да, но почему-то они всегда бегут за колесницей победителя…

* * *

– А почему я должен этим заниматься? (И это говорит журналист.)

* * *

Канарейка, на которую повесили инвентарный номер, перестала петь.

* * *

Какую чушь, какой условный безжизненный вздор пишут журналисты по сравнению с тем, что знает хлебнувший горя человек.

* * *

– Алешенька, сегодня у тебя день рождения, можешь просить, что хочешь. Я всё исполню. Хочешь, пойдем в кино. Хочешь, покатаемся на машине. Хочешь, куплю тебе любую игрушку в «Детском мире».

Алеша:

– А теперь расскажи мне еще какую-нибудь сказку.

* * *

3 мая 63 г.

Есть такие слова: Ялта. Гурзуф. Мисхор. От них пышет солнечным жаром, морем, густым запахом магнолий. Моя магнолия распустилась. А я загадала на это.

* * *

26.06.64

Распустилась, а на другой день стала черной. Как уголь: сгорела.

* * *

– Ничто не проходит без следа.
– Кроме жизни.

* * *

И вместо человека – имя, фамилия…

* * *

Длинный взгляд. Длинно поглядела.

* * *

Маленькая Нора:
– Танцы бывают вот какие: топные, кружевные, крыльные (показывает).

* * *

– И вот лежат, лежат эти письма. До востребования. И никто их не спрашивает. Не востребует.

_____
Что в этом разговоре его касалось? Что его задело? Что не давало покоя? И мучило, как зубная боль. «Жизнь до востребования». Невостребованная жизнь.

* * *

Июль 63 г.
Шура болен. За окном звенят птицы.
– Запрети им чирикать, – говорит он.

* * *

– Что такое мир?
– Мир – это и ты, и я, и небо, и деревья, и наш дом.
– И тарелка – это мир? И цветочки? И эта чашка?
Во время обыска двухлетняя Галя:

– Дядя, чего ты ищешь?

И потом:

– И этот дядя – мир?

Он:

– Чего она говорит? Сидеть спокойно.

* * *

– Меня зовут Леонид Иванович. И к тому же – Соловьев.

* * *

– У меня как было? Женился, одного шампанского десять бутылок распили. А потом… Эх-ма… Ведь в нашей семье какой был порядок? В получку – она мне пол-литра, я ей конфет. А потом…

* * *

Парикмахерша:

– Экий бы даме вавилон выложил на лобик!

* * *

Дождь хлещет, как прутьями.

* * *

Молодая, хорошенькая:

– Я всё думаю: какой дурак возьмет меня за себя, на свою голову.

* * *

Санитарка, во время войны:

– Мамы, я предупреждаю: головы детям мойте с керосином. Волос тогда будет гладкий, скользкий, и вошь с него будет легко скользить, и яйца не станут откладываться.

* * *

Во время войны молоденькая студентка только что из сельской школы, глядя на запасы директорской жены:

– Это всё ваше?! Ксения Петровна, я вас *уважаю*.

* * *

Катя:

– Солнце сегодня ржавое.

* * *

Митя Дьяконов – третьеклассник:

– А меня в старосты не выбрали. И я знаю, почему: девочки все голосовали за Люсю Коршунову, а они ко всему очень серьезно относятся, и кричали много, и ее выбрали. Мальчики, конечно, были за меня, но им это всё неважно, и потому меня и не выбрали.

* * *

На могиле преподавательницы директор говорил речь:

– Высокие показатели… Проверка домашних заданий… Снижение неудовлетворительных отметок…

Кончил с веселым облегчением так:

– До свидания… То есть прощайте, Анна Федоровна…

* * *

– Да она, сынок, просто время с тобой провожает. Не нужен ты ей.

– Что ты, мама, она же сказала, что любит меня. Не станет же она врать?

* * *

– А он работает?

– Нет, он занимается.

– В институте?

– Да нет. Он так: в магазине получит кое-что, а на толчке продаст подороже.

* * *

Когда очень есть хочешь, а нечего, положи на живот подушку и прижми покрепче.

* * *

– Мы на дачу нерешительно едем. Может, на месяц, может, на два.

* * *

Голова всё время согнута, словно для того, чтобы ему дали по шее. И хромает, да не просто, а с вывертом, выкидывая ногу в сторону, и похоже, будто он пританцовывает или куражится.

* * *

– Сколько, к примеру, Бельгий поместится в России?

– На Бельгии не мерим.

* * *

Преподавательница математики:

– Ну что ты мямлишь, Смирнов, что ты мямлишь? Ты что, на литературе, что ли? Ты на математике, ты здесь должен отвечать эмоционально, это там, на литературе какой-нибудь, можешь бубнить, как пономарь.

– Разве это школа? У них солдатская форма, солдатская дисциплина, солдатский страх…

* * *

«…Миша вел себя плохо. На уроках русского языка обертался на заднюю парту».

* * *

У Вентцелей[151].

Андрей укусил Сережу – тот не давал ему кубик. Наплакавшись вволю, Сергей подходит к Андрею.

Сергей: Я тебя никогда не прощу. И летом не прощу, и весной не прощу, и сегодня не прощу.

Андрей: А я тогда к маме уеду и ты меня не увидишь.

Сергей (завелся): И завтра не прощу, и ночью не прощу, и на первое мая не прощу!

Елена Сергеевна: Ну вот что, Сережа! Имей в виду, что ты в Андрее нуждаешься больше, чем он в тебе. Если ты его не прощаешь, так не разговаривай с ним, иди в свою комнату и играй там один. (Уводит Сережу в другую комнату и закрывает за ним дверь, через минуту оттуда доносится:)

Сергей: Я прощу его!

Елена Сергеевна: Когда, на первое мая?

Сергей (неуверенно): Да…

Елена Сергеевна: Ну и играй один до первого мая!

Сергей: Я его сейчас, сейчас прощу!

Елена Сергеевна: Ну, выходи тогда.

(Сергей выходит, идет к Андрею.)

Андрей (!): Я тебя прощаю, Сережа!

Сергей: Я тебя прощаю, Андрей!

(вместе убегают)

* * *

– Пиши заявление «по собственному желанию» и тикай отсюда…

* * *

Последнее письмо Диккенса невесте начиналось словами: «Милый мой критик!» Первое после свадьбы: «Милая Кэт!»

* * *

Маршак: природа ищет линии наименьшего сопротивления: река всегда течет вниз… А человек… На то он и человек, чтоб идти навстречу трудному.

* * *

Он же: какое разное бывает знание. Вот мать знает своего сына. И следователь в тюрьме – тоже его знает… Такая же разница между наукой и искусством. Наука – следователь, она шпионит за правдой, за жизнью. А знание, которого добивается искусство – материнское. Знание = понимание.

Он же: всё человеческое – в частном. Влюбляются – частно. Рождаются частно. Человеческое проглядывает в частном.

* * *

Когда Фришу[152] сказали, что он насильно сохраняет открытыми раны (и в этом его несчастье), он ответил: «А я считаю нечестным завязывать раны, которые полны гноя… и забывать о вещах, которые еще не рассмотрены по-настоящему, не поняты, не преодолены и поэтому не перестали существовать».

* * *

Никогда не забуду осенние желтые березы на ветру. Ветер был сильный. Вся роща разом подалась в сторону, и казалось, что она сейчас понесется в хороводе.

* * *

– Ты, ты, ты, вечно ты… – кричала женщина и, как только он вошел, плача повторила эти слова по-английски. Закидывая рюкзак на верхнюю полку, он сказал:

– Я преподаватель английского языка.

Не взглянув на него, не сделавши паузы и по-прежнему давясь слезами, она пробормотала по-французски:

– Ты… ты…

Мельком взглянув на ее спутника, он вышел из купе.

– Тебе лучше помолчать, – услышал он ленивый мужской голос, – по-моему, наш новый сосед полиглот.

Вот он и на воле… И снова слышит, как мужья разговаривают со своими женами.

* * *

Музыка всё удваивает: если тебе плохо, то она сделает так, что становится вдвое хуже.

* * *

– Белая кость.
– Да, белая гнилая кость.

* * *

– Социальное происхождение?
– Князь.

* * *

– Я для него всё сделала: его уже исключили из партии, выгнали с работы, демобилизовали. А вот она не работает, сидит дома. Как вы думаете, что я могу для нее сделать?

* * *

В вагоне. Неподвижно сидит красивая мама. А молодой папа одевает Олега, вытирает ему нос и проговаривает все слова, которые положено говорить маме:

– А вот мы сейчас наденем Олежке валеночки… А вот мы сейчас…

Мама сидит у окошка и говорит:

– Должна же я куда-нибудь смотреть.

* * *

– Какой обаятельный салат!

* * *

– Мы смотрели с Люсей фильм – обревелись. Там один влюбился в девушку и опоздал на подлодку. Ему грозят. Ну, наказание. Девушка переживает – ужас. Отец у нее адмирал, она просит: выручи, мол. А отец – ни в какую.

А пока молодой человек на свидание ходил, лодка потонула, и потонул его задушевный товарищ. Как он переживал – это ужас. Взял наган и пошел на кладбище, чтоб себя застрелить. А тем временем приезжает в город мать того, кто потонул. Приезжает в гости, ничего не знает, веселая такая. И вдруг известие, представляете?

Переживала она – ужас. Мы с Люськой обревелись. А тот, что влюбился, себя не застрелил, его один капитан отговорил…

* * *

Глеб Иванович Коржуев.

– Вот вы написали про клеветницу Соловьеву. И зачем только она клеветала? Невозможно понять. Женщина, сидишь в тепле, платят тебе зарплату – ну и помалкивай. А она доносы строчит. Все плохие, она одна хорошая. Вот я вам сейчас тоже про одного клеветника расскажу. Он нам родственник. Но далеко, далеко, почти, можно сказать, никто. На какую гулянку ни придет – сразу шум устраивает. На заводе то же самое – выпьет и круг почета делает – обходит всех и каждому что-нибудь этакое скажет. Прямо в цель – ты, мол, сволочь, а ты, мол, жулик. А за что, про что – неизвестно.

А еще у меня сосед. Сильно пьющий. Я рассуждаю так: напился? Ну и сиди у себя в комнате и безобразничай там. Но тоже – не свыше нормы, поскольку комната у тебя не изолированная. А он, понимаете, не только выпивает, но и пацана своего бьет. Семи лет нету, а его бьют, один раз чуть голову не пробили. Я сказал ему – ударишь его еще раз, я тебя под суд отдам. А он: Мой ребенок, что хочу, то и делаю. А я ему: «Не твой, а общий, раз у тебя такая установка». С тех пор не пьет, а мальчик оживел.

* * *

Давайте по фактам, а не по логике.

* * *

– Статья 58-гроб-десять.

* * *

19 апреля 65 г.

Под открытыми больничными окнами стоит женщина и заклинает:

– Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!

Тот, кому это говорится, должно быть, не очень верит. Но голос выкликает всё надрывнее:

– Всё будет хорошо, всё будет хорошо.

* * *

Холодные апрельские сумерки. По бульвару идет старушка: оглядывается, оступается, постоит, подумает, опять пойдет.

– Бабушка, вы куда идете?

– В Тверь…

Жутковато…

* * *

«Мысли едва ворочаются, как раздавленные крабы» – *вот это со мной и происходит сейчас* (22 апреля 65 г. Больница) – Ренар, Дневник.

* * *

«Отец и мать всем обязаны ребенку. Ребенок им не обязан ничем». (Жюль Ренар. Дневники. 141 стр.)

* * *

«Часы отвращения, когда хочется не иметь никакого отношения к самому себе» (там же, стр. 265).

* * *

«Каждое утро при пробуждении ты обязан говорить: “Я вижу, я слышу, я двигаюсь, я не страдаю. Спасибо! Жизнь прекрасна”. (Стр. 458, там же.)

* * *

«Мучиться от одиночества и искать его…» (Там же.)

* * *

Яркий голос соловья[153] – *надо же уметь ТАК сказать*!

* * *

Еще крик под окнами больницы:
– Ба-а-бушка! Выйди! Ба-а! Выйди!

* * *

К одной из девочек в круглосуточном детском саду – двухлетнему заморышу со сплющенным личиком и кривыми, радугой, ногами – ходили только брат и сестра. А мама всё не шла. И на четвертый или на пятый раз, когда мама не пришла, эта девочка, не умевшая говорить ни слова, вдруг с плачем вытолкнула первую фразу:

– А мама-то всё на работе! – мама, которая, тем временем, умерла.

* * *

20 мая 65 г.

Вчера умерла женщина после такой же операции, что у меня. Накануне ей исполнилось сорок лет.

* * *

Мы имеем факты грубостей и чаевых.

* * *

Столовая в сорок посадочных мест.

* * *

Подрался с Труфановым и применил нож.

* * *

– У меня настроение не в тех оттенках.

* * *

– У нас уже имеются должные ростки среди населения.

* * *

– Общественного лица не имел по причине фронтового ранения.

* * *

– Я скажу по линии баритонов.

* * *

«Он оскорбил меня разными поименованиями, как-то: сволочь».

* * *

Следующая запись – пародия Ф.А. на монолог ее хорошего знакомого, писателя Н. Д. Оттена[154].

В 1919 г. Евгений Иванович Замятин[155] чувствовал себя так, будто он держит в обеих руках разорванную цепь культуры, которую только ему дано соединить…

Происходит одна очень простая вещь… Происходит одна любопытная вещь…

Катулл[156], будучи обманутым своей возлюбленной, как кость бросил бессмертие своему сопернику… Когда в 1916 году у нашего швейцара Никифора умерла жена, мой отец надел креп на рукав и пошел к нему… Он не поручал этого своей секретарше…

Кстати, я вспомнил одну вещь. Однажды, это было под Ленинградом, кажется, в Репине, старик Эйзенштейн сказал мне:

знаете, Коля, должен сказать вам одну любопытную вещь. Я окончательно понял: кино – самое массовое из искусств. Я хотел бы, Коля, чтобы вы вдумались в мои слова.

Я вдумался. И я понял одну очень любопытную вещь…

Да, удивительная, разительная вещь… Кино, действительно, тут уже совершенно не может быть спору, самое массовое из искусств. Не спорьте, Фрида: самое!

Удивительная все-таки штука, давайте наконец подумаем, Фрида, для чего служит пища, которую мы поглощаем: а) она питает стенки желудка, б) попадает в вены, в капилляры, и наконец…

Простите, я сделаю логический прыжок… Так, возвращаясь к тому, что я хотел сказать… простите, я перескочу… Я хотел сказать, что вы назвали свой роман[157] довольно нахально…[158] Счастье, которое вы нарисовали – вполне умозрительно… Боже, как робко вы прошлись по целой куче вещей… Вы, в сущности, человек неталантливый… Простите. Я перескочу. Однажды Миша Шнейдер сказал мне одну любопытную вещь… Он сказал… В нашем кругу происходит одна любопытная вещь: у нас не жены, а переходящие кубки… Простите, я сделаю логический прыжок… Видите, Фрида, вы человек несомненно одаренный… Но если бы я писал на тему «Семейного счастья» настоящий роман, я женил бы Репина на Тане, Лешу на Марине, а Зимарева на Саше…[159]

* * *

Попутчик:

– Женился я рано – и вот, начал по бабам бегать. Даже в другой город уехал и вроде бы про жену забыл. Ан, нет. Прошло пятнадцать лет, и я вернулся к ней. И сейчас мы очень хорошо живем.

– А жена, пока вас не было?..

– А что она, не человек, что ли?

* * *

В парикмахерской – клиенту:

– Вы на него внимания не обращайте, это мой муж.

* * *

Манекены с нездоровым цветом лица.

* * *

Строгая чистая комната, в которой нет места ни котенку, ни ребенку.

* * *

Загадка четырехлетнего Сережи:
– Что такое: было – и нет… (сон)

* * *

Больница. Дежурю у Веры Максимовны. На соседней кровати плачет парализованная старуха. Около нее дочка лет 35-ти:

– Ну, чего ты плачешь? Хочешь на другую койку? Думаешь, лучше тебе от этого будет? Только хуже. Температуру нагонишь. Всё выдумываешь чего-то. Ну тебя, в самом-то деле. Не всё тебе равно, где лежать? Кто это виноват, что тебе плохо? Не понесу я тебя. Что это я тебя понесу, я тебя грохну на пол. Этого ты добиваешься? Тебе всё не слава Богу. Еще плачет… Тоже мне… Хоть плачь, хоть кричи – лучшего-то не выплачешь. То ей, видите ли, не так. То ей, видите ли, тёмно. Чего бы тогда-то думала? Как маленькая, прямо я не знаю. Да замолчи ты, Христа ради. Ой, ей-богу, ну что такое…

* * *

Пустые, остановившиеся глаза.
Измученные губы.

* * *

Истошная мысль.

* * *

Вода. Паводок. Сын. Пасынок. Дочерица (не доченька, а

дочерица, девица), падчерица. Между обедом и ужином был паужин – неполный ужин.

* * *

Маршак:

– Я не люблю, когда всё ясно. Я люблю, когда остается загадка. Пушкин оставил много загадок. И Леонардо оставил неразгаданную улыбку: думайте, мол, гадайте…

* * *

– Правда, что я тебе не родимый?

– И что ты говоришь? Вот ты болел, я с тобой столько возилась. Стала бы я с чужим столько возиться. (Успокоился, больше не спрашивал.)

* * *

Старая еврейка, нараспев:

– В какое трудное время мы попали жить…

* * *

Недоволен эпохой? Охай!

* * *

Спившимся надрывным голосом:

– Граждане! Я только что из тюрьмы! Через три дня иду в психическую больницу! Подайте! Спасибо, девушка! Спасибо, мамаша! Спасибо, граждане, добрые люди!

Тем же спившимся голосом на весь вагон:

– Самое дорогое на свете, это мамочка! Некоторые говорят, что жена! Неверно! Мать сама куска не съест, а ребенку отдаст. А жена сожрет, а про тебя не подумает!

Чуть погодя:

– И врагу не пожелаю получить шизофрению! Стать дурачком! Прощайте, граждане!

* * *

– Здоровье мое больное.

* * *

О грядущем не ведать, не ведать, не ведать. О прошедшем забыть и сегодня проспать; не любить, не читать; не грешить; не обедать; не учить и не спорить; не думать; не ждать. – И.М. [Дьяконов][160].

* * *

Лицо, рябое от слез.

* * *

Высокий, прозрачный, холодный день. Голубая лыжня.

* * *

Голая пуля. Грохочущий ливень.

* * *

Кто это знает, кто это знает, об чем думает человек, когда он жизни себя решает? Вот повесился наш сосед. Ты спросишь – почему? Вот слушай. И пойми, если можешь.

У соседа у нашего, у Николая, жена и пятеро детей, а шестой уже отделился и живет в Векшине. Николай с женой жил не больно хорошо, однако, видишь, шестерых ребят прижил.

И вот заболела у Николая мать. А он, хоть и сам скоро дед, свою мать любил очень. Она у него в 26 лет вдовой осталась. Молодая, красивая, а замуж не вышла, чтобы сына отчим не обидел. Молодая, веселая, ее мужики вот как любили, но она всем – от ворот поворот. У меня, мол, сын, я про него думаю. И Николай это ценил.

Ну, когда мать заболела, Николай собрался к ней в больницу и говорит жене – дай, мол, мне два яйца и пол-литра молока. А

жена ему: «Нет у нас ни яиц, ни молока». Ну, он вздохнул и пошел в больницу пустой. Навестил, вернулся, сел на кровать, снял сапоги и слышит ногой, что под кроватью корзина. Вытащил корзину, а там полно яиц. Крупные, белые, одно к одному. Тогда он пошел шарить по избе и что ты думаешь? Молоко нашел. Целый бидон. Тут он позвал детей и каждому дал по два яйца. А потом себе взял парочку и как шваркнет их об пол – разбил. Вот, мол, матери их пожалели…

Тут жена возьми и приди. Увидела скорлупки и как вскинется. Побежала в Векшино, привела старшего сына, и тот как почнет отца лупить. Жена Николаю глотку заткнула, а сын ему по зубам – хрясь! А потом под вздох – хрясь! И пока бил, всё зверел, зверел, а мать его подбодряет: бей, мол, бей, чего жалеть! Он добра не жалеет, и ты его не жалей!

Избили Николая. Он лежит – и вздохнуть не может. Сын ушел, дети спать легли, а он пошел в сарай и повесился…

* * *

Урок музыки.

– Я выкрикиваю слишком?

– Да. Выкрикиваешь. Эту тему в оркестре ведут четыре фагота, представляешь, какой густоты должен быть звук?

* * *

Он такой ленивый, что ему лень даже иметь черты лица. У него лицо постепенно превратилось в пятку.

* * *

В Ленинграде был Детский Университет. Маршак сказал Тихонову[161] в 37-м году:

– Если со мной что-нибудь случится, возьми это дело в свои руки. Оно поэтом начато, поэтом будет и продолжено – это хорошее, святое дело…

Разговор был наедине.

Чуть спустя Мирошниченко[162] сказал с трибуны:

– А Маршак государственное учреждение передает из рук в руки – какое у него на это право? И, значит, он знает за собой вину, если понимает, что его могут репрессировать.

Вот таким путем…

* * *

Если не просишь сочувствия, т. е. не жалуешься – люди страшно легко начинают думать, что тебе и так легко, без сочувствия.

* * *

Белые ночи и черные дни.

* * *

Беззвучно – как во сне. Без запаха, без цвета – как во сне.

* * *

И.М. [Дьяконов]: «Когда человек перестает интересоваться другими людьми и новыми стихами (если раньше любил!), это – грозный признак, это – начало конца».

* * *

Могу – помогу. Не могу – глазом не моргну.

* * *

«Дорогая редакция! В нашем классе очень много плохих ребят. Но всех хуже Толя Петрушкин.

Зоркий Глаз.

Писать больше нечего. Прошу пропустить мою заметку. А фамилию скройте. А то ребята узнают. С пионерским приветом!»

* * *

Без гитары ты не комплект.

* * *

– Что делать? Как на похоронах Сталина: разбегайся, а то задавят.

* * *

– Ты учитель и потому указываешь им путь по лестнице. И, конечно, не советуешь прыгать с десятого этажа. Между тем все лестницы ведут в тупик. Можно спастись только прыжком. Но можно и так: всю жизнь ходить по лестницам и коридорам и не замечать тупиков. И хорошо себя чувствовать. Да, можно и так. Но лучше воспитывать детей по мерке великого человека: полная свобода! Никаких иллюзий! Будут ходить как в башмаках на несколько номеров больше. И натрут мозоли. Но, может, дорастут до этой обуви.

А уж кто непременно должен уметь прыгать – это писатель. Прыгать с шансом 10/1, что разобьется. Бросаясь в водоворот, нельзя знать, хороший ли образец ты подаешь. Бросаешься, потому что не можешь иначе.

* * *

Знание – это яд. И человек не может спокойно жить с тем знанием, которое у него есть. Конечно, он может закрыть глаза. Но это уже давно не выход…

* * *

Мальчик семи лет:

– А я в школу больше не пойду. Ведь читать уже научился. И всё.

* * *

Кто едет верхом на тигре, с него не сойдет. [Французская пословица.]

* * *

В суде. Ждут решения суда. Говорят о подсудимом.

– Застал у жены и стукнул.

– О, доведись мне, я бы ему ноги повыдергивал…

– А он пьянствовал, муж-то. И по бабам бегал. Что же ей? Она взяла и сама об себе позаботилась.

– А зафиксировано это дело?

– Какое, то есть?

– Ну, что пил он и прочее.

– Нет, только сейчас, на суде выяснилось.

– А ведь какое дело: тот, которого у чужой жены застали, сам тоже женатый. Ох, я бы ему показал! Сам бы его стукнул и его жену ро́дную тоже привел бы, чтоб она от себя добавила.

– А самоуправствовать не положено. На всё закон есть.

– Закон – законом, а застанешь…

Парень. Слушает внимательно, молча. И вдруг задумчиво говорит:

– Вот женюсь и жену свою сразу повешу.

* * *

В доме у знакомых про гостя, который ел без передышки, Шура спросил меня потихоньку:

– А что он делает в свободное время?

* * *

Бешено блестя глазами, с упоением сообщила, что бросила курить и потолстела, стала делать зарядку, похудела, вырвала зуб, хочет вставить фарфоровый, а ей суют металлический…

* * *

200 книг Явича[163]. Он сжег их – одну за другой, одну за другой.

* * *

– Денег совсем нет. Давай продадим черту душу.

– Он и так затоварился…

* * *

– Ох, какая здесь немыслимая красота. Теперь я понимаю, почему писатели и художники и другие ТОНКИЕ натуры хотят жить вне Москвы. Здесь им легче творить и создавать свои полотнища. Теперь я понимаю, почему Толстой Лев Николаевич говорил: «Вне своей Ясной Поляны я не могу творить и достигать». В этой части он был прав…

* * *

– Я – человек редкой душевной чистоты и прелести.

* * *

– Непонимание движет вперед науку. Вот Ньютон – не понимал, почему яблоко падает на землю. Посидел, подумал, понял. Теперь и мы понимаем. Но… упиваться непониманием не следует.

* * *

Жонглеры выбежали легкие, веселые, нарядные. Стали подкидывать мячи, кегли, обручи и… ронять их. Как будто их задача была – не поймать, а уронить. От сраму все пропадали и не знали, куда девать глаза. Поскольку это были ученики циркового училища, кто-то с надеждой сказал:

– Может быть, у них по общеобразовательным предметам отличные отметки?

* * *

– Любишь ли ты жизнь?

С глупым выражением:

– Да!

– А чего любить? Чего любить?

* * *

«У меня нет ни времени, ни сил касаться чуть-чуть. Или – только доверие, только уважение, только – сколько смогу – забота. Если бы вы стали поступать скверно, я бы горевала, но приняла бы это, как стихийное бедствие. И мне непонятно – как это – ссориться, мириться… Если человек – не твой, значит он исключается. И всё. И больше он никогда не включается.

Бывают и другие люди – тут может быть и лад, и ссоры, и расчет, но это не те люди, которые необходимы как элемент самой жизни и которые и есть жизнь, смысл ее».

* * *

10-летняя дочка – матери:

– Я все двойки исправила, так ты обрадовалась и совсем мне на шею села.

———

Она же:

– Я *тебе* все задачи на каникулах решила, а ты…

* * *

– Нет ничего дороже детской ласки. (Помолчав, патетически добавляет.) Искренней детской ласки.

* * *

– Бюрократов надо жрать и выплевывать пуговицы.

– Я знаю. Но у меня нет зубов.

* * *

Голос человека, который посадил его.

* * *

Объявление на заборе в Малаховке: «Девочка лет семи ищет подругу».

* * *

Какой тоской душа ни сражена,
Быть стойким заставляют времена[164].

* * *

– Для меня асфальт кончился.

* * *

Ниже мы приводим письмо Ф.А. к писательнице А. Я. Бруштейн[165], ее близкому другу. Письмо находится в РГАЛИ, в фонде А. Я. Бруштейн.

12. II 1965 г.

Дорогой друг, милая моя Александра Яковлевна! Мы с Вами виделись в проклятые мартовские дни 63-го года. Верно. Очень помню их. Темные и беспросветные были денечки. Но у меня было еще одно свидание с Вами: 9 октября 1964 г. В большом, битком набитом, зале ЦДЛ. Я ненавижу юбилеи. Мне на них всегда безумно скучно. Но тут всё было по-иному. Я никогда не видела зала, который был так полон любовью. Так заряжен любовью. Зал, готовый взорваться от любви. А мне от любви к Вам всё время хотелось плакать.

Мы с Овадием Герцевичем[166] пытались прорваться к Вам, когда всё кончилось. Но Вы нас просто не увидели – так устали и такое множество лиц было вокруг Вас.

Очень я Вас люблю и всегда помню.

Послезавтра будет месяц после операции. И больше двух месяцев, как я в больнице. Вы ведь знаете, это совсем особая страна – больница. И если мне еще суждено когда-нибудь сидеть за пиршественными столами, я никогда не забуду мысленно сказать: «За тех, кто в больнице!»

Как с желтухой у Михаила Сергеевича?[167] Вот уж чего ему не надо, так не надо! Если будет у Вас свободная душа, напишите мне про него хоть несколько слов.

У меня есть читатель в Магадане, шофер. Я на днях получила от него письмо. Он рассказывает о разных своих горестях и добавляет: «Видно, мой асфальт кончился».

Так вот, я не знаю, кончился ли мой асфальт. Боюсь, что кончился. Но идти можно и по булыжнику и по незамощенной

дороге, верно ведь? Ну вот, так держать! А пока меня лечат каким-то сильно-действующим заморским лекарством[168]*. Судя по тому, как оно лишает сил, оно, наверно, здорово полезное.*

Целую Вас крепко, моя дорогая и любимая. <…>

Ваша Фрида.

Да, еще вот что хотела Вам сказать: рождение Гали и Саши – предусмотрительнейший поступок всей моей жизни. Они выхаживали меня неотступно, спокойно, твердо, мягко, толково и даже как-то весело. Я знаю, Вас это порадует.

Отрывок из повести Фриды Вигдоровой «Учитель»

От составителей

Это книга о Сергее Навашине, учителе, который, просидев пять лет, возвращается в 1955 г. из лагеря, едет по стране, встречая бывших учеников и многих-многих людей – как знакомых, так и тех, которых видит в первый раз. Ф.А. писала ее с конца 1963 г. до июня 1965 г. Повесть была задумана ею задолго до этого, замысел вынашивался годами и со временем претерпевал существенные изменения.

В повести большинство глав относится к 55-му году, но есть и воспоминания Навашина о прошлом. Начало публикуемой главы относится к 1949 г., т. е. действие в ней происходит за год до ареста героя.

Как это было, или Рассказ одного молодого человека

Как это было… Что послужило поводом или, вернее, к чему придрались… В самом деле, как это было…

…Есть такие слова: Ялта. Гурзуф. Мисхор. Слышишь их и понимаешь: слово – живое существо. От него пышет жаром, морем, густым запахом магнолии. Так вот, он возвращался из Ялты. И вез с собой нераспустившуюся магнолию – твердый, лакированный бутон. В купе их было двое – он и какой-то длиннолицый, унылый дядька. Он сидел за столиком, пил коньяк и всё угощал Навашина.

– Я проводнице велел больше никого к нам не сажать. И так духота, – говорил он.

По лицу нельзя было понять, сколько ему лет. То казалось, не больше сорока. То будто за пятьдесят. Длинное лицо, мутные от коньяка глаза. Чуть выпирающие вперед верхние зубы. И длинные, очень тонкие, какие-то лягушачьи губы. Он всё пил, пил, голос его звучал сварливо: и постельное белье в вагоне не такое, как надо – вот в ленинградской «Стреле» простыни как снег, и перед иностранцами не стыдно. И вентилятор шумит, а выключить нельзя – душно. Он то закрывал окно, то открывал. И пил, пил. Когда они уже легли – Навашин по своему обыкновению на вторую полку, хоть нижняя была свободна, а попутчик у себя

внизу – вдруг в темноте раздался его размеренный спокойный голос. Ни раздражения, ни суеты. Задумчиво звучали снизу его слова:

– Вызывают меня и говорят: ты – комсомолец. Время, сам видишь, трудное. Мы не ко всякому обратимся, а к тебе, видишь, обратились. Доверяем. Нам надо, чтоб ты сообщал про разговоры, какие ведутся. Я: да что вы, я всегда скажу, если какая антисоветчина, сам приду и скажу. Они: да нет, не так ты понял. Совершенно не так. Нам просто изучить настроение, знать, чем дышат люди. И, как комсомолец, ты должен помочь. Мы тебе доверяем.

Ну, я стал приходить, и сообщать: ребята, мол, волнуются, что города сдаем. И потери большие. Волнуются, поскольку не раз говорилось, что ни пяди своей земли не отдадим, и в песне пелось, что к бою готовы.

Проходит месяц, проходит другой, и вдруг сажают одного парня, тоже, как и я, радист. Я прибегаю, говорю: да вы что, он ни в чем не виноват, он не какой-нибудь враг, он просто горевал, что потери большие. А они: да что ты панику поднял? Не из-за тебя он сел, не за разговоры, а сел он по серьезному делу, а ты ни при чем, спи спокойно.

Какое там! Я ни есть, ни спать не могу, всё опротивело. Всё вспоминаю, что тот парень говорил. Спать ложусь, обедаю, в полете ли, на танцах – всё перебираю, перебираю, что же он говорил? А он говорил: малой кровью, да… Вот, и ничего больше не сказал. Неужто за это надо сажать?

И тут стал я замечать странную вещь. Если вижу, люди разговаривают, меня ноги несут туда. Как магнитом тянет. И еще стал я за людьми примечать, чего прежде не приметил бы. Вот, например, Егоров вызывается стоять на посту. Никто не хочет, а он – пожалуйста. С чего бы это? И еще он запаливает папиросу, а может, он кому сигнал подает?

Я поделился этим подозрением, и его вскоре посадили. Тут уж я совсем убедился, что он шпион. Не зря на посту курил, не иначе как сигналил…

Но спокойнее мне не стало. Один раз я в ночном полете всё всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь: штурман мне велел: ищи костер! Ищу костер. Но не вижу. И меня будто кто уколол: как же Егоров папироской сигналил, если ты костер – и тот не можешь с такой высоты углядеть? Значит, не шпион? Вот так я мучился и просто не понимал, на каком я свете.

И тут вдруг перевели меня на Дальний Восток. Что, почему, не знаю, а только сам не свой от радости: такая удача! Освобожусь от них, от этих, и, если уж по правде говорить, так

ведь и от огня подальше, это тоже надо ценить. Ведь не сам с фронта бегу, переводят. И вот стал я работать на Дальнем Востоке. Летаю, стал ухаживать за одной девушкой, радисткой. Ее звали Таня. Глазастая такая, приветливая. Ко мне относилась хорошо. Я приглашал ее и в кино, и на танцы. И вдруг опять меня вызывают и говорят: сообщайте. Обратились на «вы». Очень вежливо.

Тут бы мне твердо сказать: нет. И я сказал: нет. Но, видно, нетвердо. Потому что они сказали: что это вы выдумали? Не валяйте дурака, работайте. И еще сказали: вы на Таню не заглядывайтесь, она вам не пара. Обратите внимание на Валю из библиотеки. Как? Почему? Никаких объяснений. Такая меня взяла тоска. Таня спрашивает: что с вами? Что случилось? А я думаю: Бог с тобой, замучаешь ты меня вопросами. А что я мог ей ответить? Я стал избегать ее, она с самолюбием, больше никаких поводов не подавала…

И вот иду я раз по улице и вижу, что ноги меня ведут в библиотеку. Хотите верьте, хотите нет, я туда нисколько не собирался, но вот, оказывается, ноги свое знают: ведут меня прямиком в библиотеку. Я в тот раз повернул к дому, не пошел. В другой раз опять та же самая история, как будто меня кто в спину толкает: иду в библиотеку. Пришел, выбрал книжки, разговариваю с Валей. Она ничего, интеллигентная, симпатичная и привлекательной наружности. Что вам сказать? Мы через месяц поженились.

Как-то ночью я думаю: сейчас ей всё расскажу. Всё, как есть. Не могу больше. И вдруг она шепчет: Виктор, я хочу тебе сообщить… И сообщает, что она тоже у них осведомителем. И плачет. Сообщает и плачет. Я говорю: но мы же ничего плохого не делаем, мы говорим только правду. И никакой корысти в нашей работе нет – нам ведь ничего не платят.

Ну вот, живем мы с ней. И время от времени то меня вызывают туда, то ее. И если ничего не рассказываешь, то недовольны. И вдруг случается несчастье.

Был у нас ночной полет, и мы заблудились. Требуют от меня пеленг. А я коды перепутал, не с той станцией связался. Рыскали мы, рыскали. Я совсем голову потерял, и кончилось тем, что машину разбили и сами едва живы остались. Ну, меня под суд. Приговорили отправить в штрафную роту. А тут война возьми и кончись. И меня отправили в лагеря. И как ни страшно, как ни тошно мне там было, но зато освободился от тех. Такое облегчение, рассказать нельзя. И вдруг вызывают: сообщай. Я голову потерял: когда же конец? И на кого сообщать, говорю, тут все одинаковые, все несчастные. А они: сообщай. Что тут долго

говорить? Как я жив остался, не знаю. Меня там заключенные чуть не укокали, там законы строгие. Но – вышел я. Вернулся домой. Жена меня дождалась, родился у нас сын Валера. Взял я ребенка, жену и к ее матери в Рачейск. Я стал в школе физику преподавать, жена в библиотеке работает. Только с жильем неважно: в одной комнате с тещей, занавеской отделились. И живем, не тужим, рады, что освободились и никто нас тут не знает. Встали на очередь на жилплощадь, но знаем, что не скоро переселимся, каждый квадратный метр на вес золота.

И вдруг вызывают меня: даем, говорят, вам с женой отдельную двухкомнатную. И положим ей шестьсот и тебе шестьсот. Одна комната – ваша. А другая вас не касается. Живите тихо, и гостей особенно не зовите.

И вот живем мы, как мало кто в городе живет: комната большая, светлая, потолки три десять. И кухня нам вместо столовой, можно считать, столовая. И водопровод, и канализация. И каждый месяц тысяча двести чистых плюс к зарплате.

А во второй комнате никто не живет. Приходят туда какие-то, у кого от нашей квартиры ключ есть. И штатские приходят, и в форме. С нами не общаются. Приходят, уходят. Телефон там есть, иногда ночью звонит.

Живем мы тихо, гостей не зовем, молчим. Нас не вызывают, ничего с нас не требуют. А я ночами не сплю и чувствую, что жизнь моя проклятая…

* * *

Навашин слушал молча. Рассказчик, видно, ответа и не ждал. Он вышел из поезда на рассвете. А год спустя, в пятидесятом, в учительскую вошел директор и сказал:

– Вот, товарищи, знакомьтесь, наш новый завуч. Локтев Виктор Алексеевич.

Сергей поднял глаза и увидел ночного своего спутника. Я его не знаю, успел он подумать. Я тебя никогда не видел – было написано на лице у Локтева, когда он протянул Навашину руку.

До этого Навашин о чем-то говорил с математиком. Но тотчас забыл, о чем. Надо уезжать. Надо уволиться и уехать. Не дожидаясь конца учебного года. Придумать любую причину… Убедить, уговорить, чтобы его отпустили. Скорее!

Но за ним пришли в ту же ночь. Вот как это было.

Из архива Н. Я. Мандельштам

О Фриде Вигдоровой[169]

Написать о Фриде нужно. Люди должны знать, чем была Фрида. Но среди нас нет художника, который мог бы дать портрет этой женщины; на это я даже не смею претендовать. Моя задача проще: я расскажу, как складывались наши отношения и о чем мы говорили в наши немногочисленные встречи.

У меня нет концепции Фриды. Я не знаю, как могла в наши горькие дни появиться такая Фрида. И я наверное знаю, что она не имеет ничего общего с добрыми девочками доброго Диккенса, которые делают добрые дела согласно своим наивным и добрым понятиям. Здесь я полемизирую с Лидой Ч[уковской], которая с легкостью свела мою таинственную Фриду к уютной рождественской сказке Диккенса с его кукольщицами и крошками в злой и сердитой доброй старой Англии[170]. То ли это? Так ли

это? Время диккенсовских девочек давно прошло, а может, его никогда и не было, и это просто умилительные куклы на шарнирах для младшего и среднего возраста, чистая литература…

Из недр журналистики, газет, писательских секций и дискуссий на незапоминаемые темы вдруг появилась эта женщина – совсем другая, ни на кого не похожая и думающая о вещах, о которых в ее исконной среде не думает никто. В первый раз я услыхала про нее от Оттенов[171].

Кстати об Оттенах – они очень скрасили мне годы последней – хрущевской ссылки, которая была и не ссылкой, а просто невозможностью прописаться в Москве. Вот тогда-то Оттены заехали за мной и отвезли меня в Тарусу. Они прописали меня у Голышева на второй половине своего дома[172]. Там я и зимовала, перебегая по лестнице от одной печки к другой, а по вечерам распивая с Оттенами чай. Сам Оттен привозил из Москвы вороха невероятных новостей, из которых добрая половина почему-то подтверждалась. Оттены настойчиво опекали меня и удивлялись, когда я их не слушалась, и были мне настоящими друзьями в те одинокие тарусские годы. И с Фридой я познакомилась именно у Оттенов в первую свою тарусскую зимовку, следовательно своим возвращением в Москву я косвенно обязана Оттенам.

О сотруднице «Известий» они говорили как о человеке высоких душевных качеств. Зная, что у Оттена воображение разыгрывается по всякому поводу, я не поверила. А смысл рассказа был такой: Фрида входит в кабинеты к вельможам, смотрит им прямо в глаза и объясняет, что они наделали. У вельмож почему-то не хватает мужества не принять Фриду, прервать ее на полуслове, отшить и выгнать, а ведь они на это большие мастера. Фрида действует как удав, а вельможа оказывается кроликом. Весь разработанный арсенал ответов, все испытанные способы парировать любые доводы, которыми так сильны наши вельможи, оказываются негодными, Фриде отвечают, с Фридой разговаривают. Взявшись за дело, Фрида вгрызается в него мертвой хваткой и не выпускает, пока не добьется своего. Она берется при этом за безнадежные дела и [все-таки] добивается своего. Это были дни хлопот об Ивинской[173], попавшей в лагере в какие-то невероятные условия. Фрида добилась ее перевода[174].

Оттены мне рассказали про Фриду, я им не поверила. Зачем, спрашивается, сотруднице «Известий», советской журналистке, жить и дышать как Фрида. Эпоха таких не воспитывает ни у нас, ни на Западе. Да и возраст Фриды для этой роли неподходящий – она выросла в эпоху, когда активное добро высмеивалось, самого

этого понятия не существовало, даже термин «абстрактный гуманист», ругательная кличка Левы Копелева[175], появился уже в хрущевское время, когда Фрида была уже зрелым человеком. В селе, может быть, и существуют еще последние праведницы, но откуда им взяться в городе, да еще в столице, да еще в пропылесосенном здании «Известий», где столько дел совершалось за эти полвека?

Вскоре после этого моего разговора [с Оттенами] Фрида приехала в Тарусу, и взглянув на нее, я поняла, что в информации Оттенов есть какая-то реальность. Она была седой девочкой в широкой только ей свойственной сборчатой юбке, которая придавала ей какую-то семилетнюю солидность. Стриженая седая голова казалась совсем молодой, почти ребяческой, немножко озорной даже, как у девочки с мальчишескими повадками. И это впечатление усиливалось ее пристальными, серьезными, пытливыми глазами. Она всегда и на всё пристально глядела отличными коричневыми, до конфуза круглыми и серьезными бляхами, в которых не было ни удивления, ни любопытства, а только сосредоточенное и постоянное внимание. Вероятно, это внимание одно из редкостных свойств Фриды.

Большинство людей, которых я знаю, поражают меня своей непроницаемостью. Их нельзя ни в чем убедить по той простой причине, что все чужие слова и доводы скользят по их сознанию, и это оттого, что внимание у них скользящее. Они часто готовы согласиться со своим собеседником, но по их репликам видно, что они просто твердят свое, прежнее, против чего приводились доводы, хотя и оформляют их в виде признания чужой правоты. На следующий день всё повторится сначала, пока спорщик не поймет, что броня, которой окружают себя люди, непроницаема. Все попытки убедить кого бы то ни было в чем бы то ни было у нас бесплодны. Все твердят свое в определенной тональности и последовательности.

Общение возможно только там, где есть частичное совпадение тональностей, тогда разыгрывается несложный этюд в четыре руки или собеседники попеременно то говорят, то одобрительно кивают, узнавая знакомые звуки. Каждый ведет энергичную борьбу за сохранение интеллектуальной целины. Люди даже не притворяются, что слушают друг друга; они просто терпеливо дожидаются своей очереди заговорить. Я не знаю, повсеместно ли такое явление, но у нас оно выражено очень резко, быть может, потому, что людям приходилось слишком часто соглашаться и одобрять вещи, в которые лучше было не вникать. Это начинается в раннем возрасте – и мальчишка-студент уже обладает даром обтекаемости и абсолютно

непроницаем.

Фрида одна из редкостных людей в нашей жизни, сохранивших дар внимательного слушанья и вникания в любую ситуацию. Ее глаза говорили о постоянном неослабевающем внимании и реагировали на всё происходящее вокруг нее. Таких говорящих, слушающих и думающих глаз, как у нее, я давно не видела.

В первую встречу мы почти не разговаривали. Фрида мелькнула, что-то почитала и уехала. Вторично мы встретились в той же Тарусе в период собирания «Тарусских страниц»[176]. Нам пришлось вместе ездить по району, чтобы написать очерки для этого альманаха. Всем нам хотелось, чтобы он вышел, ради стихов Марины [Цветаевой], прелестной повести про школяра [Окуджавы] и первого дебюта Володи Корнилова. Оттен требовал очерков, и мы их быстро изготовили[177].

В одном из колхозов Фриде досталась энергичная старуха, на все руки мастер[178]. Я подъехала на машине к старухиному дому. Мне хотелось поскорее домой, но вышла Фрида и позвала меня: пойдите посмотрите. В избе старуха разливалась соловьем: куда ее ни пошлют, она всюду идет и зарабатывает свои трудодни: за конями так за конями, и свиньи, и огороды, и в поле, и всюду. Вот только прибрать дома нет времени, и так уже 30 с лишком лет. Фрида смотрела на потолок – текла крыша. Потом в красный угол. «А иконы сняли». «Мы в бога не верим, мы в Советскую власть верим», – бодро ответила старуха. Это была показательная колхозница, к которой председатель сразу посылал всякого журналиста и товарища из центра – районного, областного или всесоюзно-столичного. Старуха тут же заводила пластинку о своей трудовой деятельности, которая удовлетворяла любого товарища и, главное, была насыщена конкретными деталями: суточный рацион курицы, подкормка гречихи, навоз и последние советы Лысенко. Все углы густо заросли паутиной. Фрида молча и грустно стояла среди этого разорения и нищеты. Мы сели в машину. «Подумайте, – сказала Фрида. – Зачем она работала все эти годы? Вы видели, как она живет?» И Фрида повторила на память несколько старухиных фраз, из которых я запомнила только одну, про Бога и Советскую власть.

В то время Фрида жадно читала, словно наверстывая за потерянное время. «Вторая литература» началась с «По ком звонит колокол»[179]. Запрещенный перевод передавался из рук в руки в виде непомерно толстой папки с залапанными машинописными страницами. Когда мы встретились, уже широко циркулировали стихи Пастернака, Цветаевой, Мандельштама. Ахматова пока придерживала свое запретное, на божий свет

прорвалась только «Поэма без героя». Оттен, всегда идущий с веком наравне, как все киношники, поразил Фриду своей осведомленностью и, кроме поэтов, угостил ее раздобытым мною Бердяевым[180]. <…>

Присмотревшись к Фриде, я увидела, что у нее в душе есть Бог, вера в которого определяет всё ее поведение, всю ее жизненную линию. Отсюда ее деятельная любовь к людям, ее уважение к ценностям, ее железная твердость, ее неспособность к компромиссам. Отсюда ее зоркость и сознание долга. Чувство долга у Фриды, о котором она никогда не говорила и которое никак не показывала и не называла, было настоящим «категорическим императивом», настолько властным, что мне не понять, как его могла вместить в себя эта хорошенькая седая девочка. А кроме того, у нее был прекрасный слух на человеческую речь, на ее социальное звучание, на ее смысл. Ведь все мы пропускаем мимо ушей почти всё, что слышим, и живем своей замкнутой, непроницаемой жизнью, как в болоте, погрязнув в себе и в своих заранее заготовленных концепциях. А Фрида слышала и видела и поэтому имела возможность всегда меняться и пересматривать идеи, которые ей смолоду вбивали в голову. Я убедилась в этом летом 1959 года, когда она прочла мне записи из своего «Дневника журналиста»[181], особенно ту, где начальник лагеря горько жалуется на систематическое невыполнение плана, потому что нет безропотной категории работяг, пригнанных по пятьдесят восьмой статье, и при этом беспрестанно путает имя своей собеседницы – то она Марья, то Софья, а то иногда и Фрида Абрамовна…[182]

Едва ли не сильнее «Дневника журналиста» оказался Фридин «Дневник депутата»[183], где жалобщики произносят монологи о своих квартирных делах и других обидах: последние годы своей жизни Фрида металась по учреждениям, добывая комнаты для своих жалобщиков. <…>

Всё это были живые люди – новые Фридины знакомые, и она болела их горем и не жалела сил, чтобы им помочь. Среди ее клиентов была и я, ведь это она вернула меня в Москву, свернув для этого горы. Такое дело, как вселение нежелательной старухи в Москву, считалось заведомо безнадежным, и никто за него не брался. Сурков[184], например, умыл руки на первом этапе: «они говорят, что вы добровольно покинули Москву». И: «у меня нет времени поговорить о вас с товарищами»… Фрида взялась за это без малейшей моей просьбы и несколько лет подряд долбила советские учреждения и влиятельных людей, заставляя их писать письма, звонить и настаивать. Она вовлекла в свои хлопоты толпу людей – поклонников поэзии Ахматовой, своих приятелей из

«Известий», Маршака, Симонова и еще, и еще… Каждый из них верит, что это он помог мне, но я всех заверяю, что это сделала Фрида. Единственное место, куда она не обращалась, зная, что такое обращение было бы бесполезным, это Союз писателей. В Союз писателей с такими делами не обращаются – он слишком для этого влиятелен.

* * *

Фрида приехала в Псков поговорить со мной и вместе подумать о разных простых вещах, а чтобы окупить расходы, выправила командировку от «Известий» и обещала написать очерк о том самом институте, где я работала. Пробыла в Пскове она недолго – ее вызвали в Ленинград спасать кого-то от очередного тура травли[185], и она забежала во время занятий в институт проститься со мной, и мы стояли в вестибюле, окруженные студентками, когда вдруг к нам подошел человек, про которого я твердо знала, что он-то и есть Смердяков[186].

Ко мне, рядовому преподавателю института, где он занимал совсем особое положение, этот почтенный руководитель, разумеется, бы не подошел, но Фрида – другое дело: современные Смердяковы полны уважения к печати, особенно к центральной, и ко всем ее полномочным представителям. В дни, когда Фрида болталась по институту, он был отменно [внимателен к ней] и даже водил ее на закрытое партийное собрание, потому что не мог себе представить, что в партийной печати работают беспартийные журналисты. В этом, как будто, действительно нет логики, а смердяковская порода всегда рассудительна и логична. Собрание поразило Фриду, особенно выступления профсоюзных женщин, но я объясняю это просто тем, что Фрида не потеряла способности удивляться. Я бы не удивилась.

Сейчас, когда он подошел к нам, девчонки испуганно отступили, а он поздоровался за руку – сначала с Фридой, а потом и со мной. Я в уме отметила это рукопожатие, потому что про меня-то он наверное знал, что я беспартийная и к тому же довольно подозрительная. Меня всегда держали в институтах только из-за нехватки кадров. Я занимала пустующие места и числилась пустым местом. Пустые места называются в институтах единицами. Я заполняла такую единицу и числилась в реестрах единицей. Один мой приятель рвался уйти из ташкентского пединститута и сказал деканше: «Я вам найду человека на свое место». Она сердито ответила: «Мне не нужен человек – мне нужно заполнить единицу». Это было последней каплей. Он

покончил с собой, оставив эту фразу про единицу в посмертной записке. Он тоже не утратил способности удивляться и реагировать на слова начальников и администраторов. Говорят, его чувствительность объяснялась тем, что он происходил из крестьян. Такие почему-то легко сламывались. С меня бы такое, как с гуся вода. Жить было возможно только с притупленными реакциями, и я себе их притупила. Фрида на это не шла: она надеялась еще что-то сделать и потому всё замечала и на всё реагировала. Это ей дорого обошлось.

Смердяков, разговаривая с Фридой, был воплощенной любезностью: он слегка извивался в талии и играл кончиком отлично начищенной ботинки. У него была квартира в студенческом общежитии, и все знали, что ботинки ему по утрам чистит на лестничной площадке жена. Он отличался чистоплотностью, был одет с иголочки, потому что по занимаемой должности имел пропуск в закрытое ателье. Обедал он обычно дома или в закрытой столовой. Сами столовые в ту пору закрытыми не считались, но их размещали в учреждениях, куда входили только по пропускам. Я не знаю, как там готовят в этих столовых, но слышала, будто там на второе подают даже судака, редчайшую из пресноводных рыб, рекомендуемых для диетпитания. Изнеженный желудок Смердякова не выносил вульгарной пищи. Иногда, задерживаясь в институте, он требовал, чтобы ему принесли поесть из студенческой столовой. Подавальщицы жаловались, что он брезглив, ворочает ложкой в супе, ища затонувших мух, морщится и вечно упрекает их за то, что посуда плохо вымыта. Они уверяли, что это несправедливо, потому что для него всё ошпаривалось кипятком, а потом покрывали марлей. Впрочем, чистоту столовки я защищать не собираюсь…

Как все Смердяковы, он получил звание кандидата каких-то наук, но лекций не читал. Его коньком была борьба за дисциплину, и, услыхав звонок, он выбегал из своего кабинета на ловлю запоздавших преподавателей или застрявших в коридорах студентов.

Из разговора выяснилось, что Фрида спешит на стоянку, чтобы подцепить такси. «Зачем такси?» – возмутился он и выбежал на улицу. Перед входом что-то затарахтело, и он вернулся: «Сейчас вам подадут автобус». Фрида ахнула и машинально повторила: «Автобус!» У нее закружилась голова при мысли, что она поедет одна в большом автобусе. Выручили студентки – услыхав про автобус, они осмелели и приблизились: уже звенел звонок, но они отпросились с занятий, чтобы проводить на вокзал корреспондента «Известий». Смердяков

милостиво кивнул, и они бросились к автобусу. Институт гордился своим автобусом. Для поощрения групп с хорошей успеваемостью им время от времени разрешали съездить на экскурсию на этом автобусе. Сейчас мои студентки были премированы поездкой на вокзал за то, что сумели разговориться с журналисткой Фридой. Смердяков усадил Фриду в автобус и помахал ручкой. Он не знал, о чем говорила Фрида со студентками…

Смердяков не подозревал, что Фрида три дня подряд подкапывалась под его воспитательные планы и уговаривала девочек не травить свою однокурсницу, собравшуюся рожать от неизвестного отца. Защищая безмужнюю мать, Фрида даже превысила свои полномочия и заявила директору от имени «Известий», что газета не потерпит травлю матери и выступит со статьей, ибо материнство священная вещь. Девушка благополучно родила, и я поставила ей переходную оценку, хотя она запустила все занятия. Подобные истории были узкой специальностью Фриды[187]. Всюду, куда она попадала, именем газеты Фрида предотвращала издевательства над влюбленными и брюхатыми.

Студентки жужжали в автобусе, Смердяков подсадил Фриду, я помахала ей рукой и радостно пошла домой, потому что у меня сорвались целых четыре лекционных часа. Такое удовольствие редко выпадало мне на долю, потому что я была воплощением дисциплинированности и точности, хотя едва не засыпала под звук собственного голоса, толкующего о средневековых фаблио или о германском сдвиге согласных.

В автобусе разговор вряд ли продолжался – шофер.

Мне еще раз пришлось встретиться со Смердяковым – на этот раз в кабинете директора. Наш директор[188], добродушный старик, еле держался на своем посту – его выживали со страшной силой. По моей просьбе Фрида помянула его добрым словом в «Известиях»[189], и он продержался на этом добром слове еще несколько лет: такова сила печати – как ее не уважать… Я зашла к нему в кабинет с заявлением об уходе. Он на прощание разговорился и рассказал мне про судьбу своего брата. Студентом-первокурсником он сел и был отправлен в лагерь. Ему удалось бежать и добраться до Москвы. Ярый комсомолец, он отправился к самому Вышинскому жаловаться на несправедливый арест и на то, как велось следствие. Оба брата добились приема. Вышинский любезно расспрашивал беглеца и, видимо, нажал кнопочку. В кабинет без стука вошли чекисты, забрали мальчишку, и он как в воду канул.

Когда директор рассказывал мне эту историю, в кабинет к нему – тоже без стука – вошел Смердяков. Своим тонким чутьем

он почуял что-то неладное и внимательно поглядел на директора. Старик весь осел под его взглядом, превратился в дрожащее, потное желе. Я пожалела директора, встала, простилась (с ним, конечно) и ушла. Старик с перепугу даже не привстал, прощаясь со мной. А может, это была сознательная начальственная небрежность, чтобы хоть как-нибудь искупить свою вину перед Смердяковым, – ведь наболтал же он немало лишнего про брата и всё прочее… Он еще слегка обжулил меня при окончательном расчете, недоплатив так недельки за две, и всё это случилось, потому что он встретился с непреклонным смердяковским взглядом. Так он покарал себя за то, что разговорился с подозрительной беспартийной единицей, и потерпела убыток на этом деле всё та же единица.

На этом кончилась моя педагогическая деятельность, и это мое последнее вузовское впечатление. Всё это происходило в начале шестидесятых годов – самую светлую пору нашей жизни. Когда я приехала в Москву, меня встретила Юля Живова[190] и сказала, что Фрида ворочает горы, чтобы добиться для меня прописки. У Фриды было много подопечных – я одна из них. Если бы не Фрида, я в жизни не попала бы в Москву. У Фриды была мертвая хватка, когда она чего-нибудь добивалась для своих подопечных. За меня она билась несколько лет и получила за это время тысячи отказов. После очередного отказа она с удвоенной силой наседала на новых людей, пока наконец не приехала ко мне в Тарусу с доброй вестью, что какое-то важное лицо обещало поговорить с другим важным лицом, когда встретится с ним в бане. У наших правителей среднего масштаба, оказывается, есть особая баня, где они, как римляне, обсуждают и устраивают текущие дела. Баня самая настоящая – со скамейками, парилками и шайками. Там решилась моя судьба.

* * *

Фрида была прирожденным журналистом с острым глазом, глубоким вниманием и умением делать выводы. Все эти качества советскому журналисту не нужны. Вероятно, поэтому она выбрала узкую область личных драм и столкновений человека с чиновничьей мутью и нашими священными обычаями. В то лето, когда она жила в Тарусе, к ней ездили товарищи студента, затравленного вузовским начальством и покончившего самоубийством[191]. Она вела дело с точностью беспристрастного следователя, по ниточкам разбирая целую паутину клеветы, которой те, кто толкнул мальчишку на самоубийство, оплетали

покойника, чтобы выгородить себя.

Я хорошо знаю вузы и тысячу раз равнодушно проходила мимо студенческой драмы – хотел на один факультет, а его статистики ради сунули на другой. В нашей жизни каждый день приходится равнодушно мимо чего-нибудь проходить. У Фриды не было равнодушия. Там, где любой из нас говорит: «ну, это постоянная история… что ж делать», Фрида вступала в бой. Для нас слово «постоянный» служит поводом для умывания рук, для Фриды это постоянство и повторность ситуации (скажем, сунуть студента не куда ему хочется) были основным доводом за вмешательство. Мы – люди окостеневшие, невнимательные и равнодушные ко всему, кроме своих личных дел – а этому нас научила жизнь, – с удивлением смотрели, как Фрида спокойно, без лишних фраз, без ссылок «против рожна не попрешь» садится в поезд и едет куда-то по зову обиженной девушки, студента, арестанта или бог знает кого. Ее даже не смущала мысль, что искоренить дурной обычай, а у нас их миллионы, ей не удастся.

То, что для всякого журналиста бывает иногда «показательной» историей для демонстрации «борьбы с конкретными носителями зла», для Фриды было и личным, и общественным делом, и она бралась за самые безнадежные дела и умела войти в самый железобетонный кабинет к железобетонному деятелю, чтобы пожаловаться ему на созданный и поддерживаемый им порядок и потребовать немедленного исправления. Седая девочка с прелестным живым лицом озорного подростка входила в страшные кабинеты – я вспоминала английское «she would beard the lion in his den» [она хватала за бороду льва в его собственном логове] – и, глядя прямо в глаза владельцу кабинета, письменного стола и кресла, излагала ему свое дело. Нередко она добивалась успеха – лев, очевидно, не выдерживал Фридиного взгляда. Но иногда он оставался тверд. Так она прочла Аджубею свою запись суда над Бродским, и он не смог не признать, что вся эта история безобразна, но вмешиваться всё же отказался: зачем ему заступаться за какого-то мальчишку, который еще неизвестно что думает…

Круг Фридиных дел был широкий и непрерывно расширялся. Если она за что-нибудь бралась, то годами не переставала. Об Ивинской и Ире Емельяновой[192], которых нужно было перевести в другой лагерь, так как они попали в жуткие условия, я рассказала Эренбургу: «Этим делом занимается Фрида… Возьмешься ли помочь, если она одна не вытянет?» Он рассмеялся: раз Фрида, то, конечно, он сделает всё, что может… Только Фрида вытянет, она никогда не отступает. И он рассказал, что они с Фридой нередко согласовывают свои действия и

объединяют силы. Но Илья Григорьевич обычно писал письма на депутатских бланках[193] и ждал ответа, Фрида же ходила сама из кабинета в кабинет, терпела десятки неудач и придумывала десятки новых ходов – к кому обратиться, какую дать новую мотивировку, на кого повлиять и кого попросить – пока не добивалась своего[194].

Фрида была полководцем и стратегом водворения меня в Москву и действовала в течение нескольких лет с переменным успехом, пока мне на паспорте наконец не поставили заветного штампа. Если бы не Фрида, не видать бы мне Москвы, как своих ушей. Любой человек остановился бы, скажем, на десятой неудаче, но не она.

Как бы я жила сейчас, если бы не было Фриды? Где бы я торчала? Прописывалась? Снимала комнату? Меняла адреса… И так ведь надоело и жить не хочется, а тут еще эти вечные скитания, оставшиеся мне по наследству от О[сипа] М[андельштама].

А таких дел было у нее в любой момент десятки. На последнем этапе параллельно с тяжелым делом Бродского это были сотни обездоленных, обращавшихся к ней, как к депутату. Большинство требовало комнат. Депутатская деятельность Фриды – это погружение в нищету и неблагоустройство рядовых москвичей. Чего она только тут не увидела! Инвалид с туберкулезной женой в подвале, беременная в перенаселенной проходной комнате, жители углов, коридоров, задворков, кухонь, полуразвалившихся хибарок. «Мне нужен один пятиэтажный дом», – говорила Фрида.

* * *

Говорят, что рак поражает людей, переживших нервное потрясение. Раскрывшаяся во всей яркости действительность поразила прозревшую Фриду. Дело Бродского было выходом Фриды на широкую общественную арену, и это зрелище, открывшееся ей оттуда, поразило ее. Она была недостаточно к нему подготовлена. Глухой, внезапно обретший слух, или слепой, к которому вернулось зрение, первое время страдают от дисгармонического шума и яркого света. Так и Фрида, увидав, заболела.[195]

У нас всех создалась твердая уверенность, что Фридина болезнь – рак поджелудочной железы – результат депутатства и дела Бродского. Она слишком много вкладывала душевной энергии и в то, и в другое. А дело Бродского грозило серьезными

осложнениями. За несколько недель до роковой операции, когда хирурги, увидав собственными глазами, чем больна Фрида, зашили разрез и сказали родным, в чем дело, Фрида была у меня на дне рождения. Неловким движением подростка она сунула мне в руку свой обычный подарок – флакончик французских духов, а потом за столом заговорили о том, что в Союзе писателей приступили к организации судилища над писательницей Вигдоровой, которая изменила долгу советского писателя, сделав протокол суда над Бродским. Это было ответом на напечатание за границей этого протокола. Я ехала на следующий день в Ленинград и должна была передать это известие Адмони[196], который тоже мог ждать репрессий.

Уже кто-то обращался к Суркову, и он объяснил, что Вигдорова ему надоела[197]. При Сталине такой протокол был бы невозможен, потому что ни до какого суда дело бы не дошло, а напечатанье чего бы то ни было за границей квалифицировалось как измена родине. Впрочем, под эту статью подходило что угодно, даже неосторожное слово, сказанное в присутствии лучшего друга. Прогресс налицо… Но люди никогда не довольствуются малым, и нам почему-то не хотелось, чтобы Фриду шельмовали и выгнали из Союза. «Надо что-то предпринять, – сказала я. – Может, поговорим с Паустовским?…»

«Ничего делать не надо, – рассердилась Фрида (она и тут оказалась новатором и запретила «хлопоты»). – Что я такого сделала? Что за преступление для журналиста – пойти на суд с блокнотом? А речь Хрущева тоже я за границу отправила?» На новом этапе нашей жизни бумажки и документы обрели странную летучесть: стоило отдать что-нибудь в редакцию или просто выпустить из рук, как оно оказывалось на страницах западной печати. Это факт, и обвинить Фриду в передаче протокола за границу было невозможно, поскольку она отдала его в целый ряд редакций. Но судилище и шельмование не состоялось только из-за Фридиной болезни – не слишком ли дорогая цена за освобождение от писательского правосудия?

* * *

Уже прописанная и живущая в Москве, я пришла к Фриде в больницу. Она смутно понимала, чем она больна, но еще не знала, как близок конец. Это был тот этап болезни, когда человек еще полон жизни и на лице нет смертных теней, но тело стало легким и почти прозрачным. Фрида неслыханно в те дни помолодела и похорошела, и уже не казалась мне седой девочкой,

а худенькой и прелестной девушкой с очень светлыми волосами. Мы говорили обо всем, об ее книге – той, которую она приезжала обсуждать ко мне в Псков[198]: про бывшего учителя, вернувшегося из лагеря и тщетно разыскивающего какого-то своего ученика; а потом еще про Оттена, он в сущности добрейший человек, хоть и крикун; и про Сашку – как она живет с мужем Сашкой[199]; и про Кому[200] – какой он молодец…

В тот день Фрида получила извещение, что одному из ее подопечных, кажется, туберкулезному, все-таки дали комнату, усовестились, узнав, что Фрида ходила к ним смертельно больная… «Это потому, что я больна, – сказала Фрида, а потом прибавила: – Слишком большая плата за одну комнату»… У нее была только одна жизнь, и она могла отдать ее только один раз. Фрида заплатила за всё – за всех туберкулезных из ее «дневника», за меня и за знаменитое «Дело Бродского». Первая в Советском Союзе, на пример всем, Фрида заступилась за арестованного поэта и сделала протокол обоих заседаний суда. Дело Бродского – один из первых этапов в скрипучем процессе освобождения людей от смертного испуга перед советским правосудием, в процессе образования чего-то похожего на общественное мнение. После процесса Бродского [властям] пришлось мобилизовать все юридические силы для проведения дела Синявского и Даниеля. Мы знаем, что из этого вышло. Но хоть Фриды и не было, это судоговорение тоже было записано очевидцами[201] – лиха беда начало.

* * *

Фрида росла на глазах и превращалась в большую общественную силу. Изменялись и ее литературные вкусы и интересы, но не думаю, чтобы она стала читательницей стихов: это вряд ли было ее областью[202]. Но в ней было то, чего у нас не полагалось иметь, – уважение к поэзии. В доме ее уже завелись собранные ею тетрадки стихов Марины [Цветаевой], Пастернака, Мандельштама. Умирая, она подарила список стихов Мандельштама одному из своих врачей, а в больнице снабдила всех врачей всеми доступными образцами «второй литературы», той – догутенберговской, как называла ее Анна Андреевна, литературы, которая расходится по всей стране в списках в неслыханных машинописных тиражах.

Приведу один из рассказов Фриды, который она, может, не успела записать. Это история молодого человека, но она никогда бы не попала в «Историю молодого человека», запроектированную

Горьким[203]. Некий очень молодой человек, служа еще в армии, а может, учась в школе, согласился, как примерный комсомолец, сообщать куда следует все подозрительные вещи, которые он заметит. С тех пор молодого человека не оставляли в покое и требовали от него сведений, явок и сообщений. Он менял города и службы, но всюду рано или поздно его вызывали на какую-нибудь частную квартиру и принуждали продолжать свою деятельность.

В конце сороковых годов – в очередной приступ террора – он был арестован и попал в лагерь. Как ни страшно в лагере, он вздохнул с облегчением, считая, что на этом закончится его деятельность. Но радость оказалась преждевременной: через несколько месяцев его вызвали к оперу – так, что ли, называется этот лагерный чин? – и приказали собирать сведенья о своих товарищах заключенных – что говорят и что думают… Это означало, что с воли пришли его бумаги, в которых он числился как завербованный в агентуру. И он снова должен был включиться в кадры.

Наступил 56-й год – реабилитация, освобождение… Этот уже немолодой человек пристроился в каком-то городе, женился и получил, как реабилитированный, комнату, но она оказалась в двухкомнатной квартире, где вторую почему-то никто не занимал. И снова его вызвали куда-то, оформили и вторую комнату на его имя, но запретили занимать ее и слушать, что в ней происходит. Эта вторая комната так и осталась пустой, но время от времени в нее приходит неизвестный человек в штатском, к которому являются какие-то неизвестные молодые люди и делают свои доклады. Здесь же происходит вербовка новых молодых людей, а эта задача становится всё более трудной, и разговор, который нельзя слышать, продолжается иногда по многу часов.

Уже состарившийся человек, прошедший через лагерь и реабилитированный, всё еще не может вырваться из того круга, куда он попал глупым мальчишкой[204].

Мы почти во всем понимали друг друга с Фридой, но она до конца жизни сохранила уважение и любовь к педагогическим идеям Макаренко, хотя я отчаянно, изо всех сил убеждала ее, что вся эта система построена на доносах и воспитывает таких молодых людей, которые с легкостью совершают ошибку, подобную совершенной героем ее рассказа. Но с макаренковской иллюзией Фрида расставаться не хотела[205]. А может, у нее просто не хватило для этого времени. <…>

Фрида была седой девочкой с темными, как будто слепыми, а на самом деле очень зрячими глазами. Вернее сказать, что Фрида

была и слепой, и зрячей. Она сохранила какую-то капельку свой юной слепоты, но, прозрев, получила на редкость острое зрение.

Она была по-настоящему добра блаженной человеческой добротой, по доброте старалась спасти из-под обломков всё, что можно и чего нельзя, и не что иное, как доброта, призвала ее к жестким и беспощадным записям в «Дневнике журналиста и депутата». Эти дневниковые записи – лучшее, что она сделала в жизни.

К «Дневникам», то есть к кульминации своей деятельности, Фрида шла последовательно и логично. Мерой вещей для нее был человек, его живая душа, его достоинство и его право на жизнь. В сущности, Фрида верила в право человека на счастье – на самое маленькое и скромное счастье, хотя бы семейное, но всё же счастье. Фрида была как-то своеобразно и застенчиво религиозна. Однажды она мне пожаловалась, что над ней подсмеиваются, когда она признается в своей вере.

В то время до нас впервые дошел Бердяев. Она брала его у меня и с интересом читала. Мне пришло в голову, что она приняла модернизированную религию Бердяева с его таинственной свободой, возвеличенным человеком и «творчеством», которого Бог ждет от человека в этом недоделанном им мире. Но Фрида замотала головой: она отказывалась от упорядоченного бердяевского Бога.

Как я поняла из двух-трех отрывочных разговоров, она верила в христианскую благость и любовь, но не принимала страдания. В ее вере было что-то от веселья хасидов и от радости еврейской семьи и деторождения, и именно этого она желала всем людям. Даже в праведности Фриды, а она была праведницей, что-то напоминало о ее предках – мудрых и веселых еврейских старцах. От еврейства у нее была эта вера, что всякому полагается его доля земного счастья, она выбрала себе профессию, чтобы хоть кого-нибудь оградить от беды и вернуть ему ту крупинку, на которую он имел право. Так Фрида [еще в юности] стала журналисткой, плохо представляя себе, что такое наша печать, но полная желания и воли бороться за человека и защищать его от того, что она считала случайными несправедливостями, порожденными не менее случайным несовершенством отдельных людей.

Первой темой Фриды были дети, спасенные Макаренкой от улицы, нищеты и преступности. Затем Фрида занялась служебными конфликтами и служебными травлями. Здесь были женщины с неудачными романами, мальчики, доведенные до самоубийства, тысячи разновидностей обид и пострадавших от этих обид. Каждое дело она доводила до конца, и газетная статья

была лишь крохотным эпизодом в ее деятельности. Обиженные, о которых она узнавала из редакционной почты[206], на какой-то срок превращались в подопечных и даже домочадцев, и только выпрямив их жизнь, Фрида выпускала их из-под своей опеки.

Второй период ее деятельности выпал уже на хрущевскую эпоху, и Фрида, пользуясь своим журналистским билетом, научилась входить в кабинеты начальников и требовать от них содействия и помощи. Даже матерые волки как-то поддавались тихой настойчивости этой прелестной женщины. Я уверена, что большую роль в их покорности играло то, что Фрида была не только красотка, но еще очень приятна и даже очаровательна. Неотразимое сознание своей правоты и красота действовали даже в служебных кабинетах, и большой долей своих удач Фрида обязана именно этим своим качествам. Будь она хоть чуточку вульгарна, хоть капельку резка или неприятна, то укоренившийся в служебном кресле чиновник отлично сумел бы выставить ее, как ежедневно выставлял из своего кабинета стопроцентно правых людей, требовавших только того, что им принадлежало по праву. Эти чиновники обладали вполне разработанным методом, как затыкать рты: ошарашив посетителя готовой и по отличному рецепту построенной фразой, они сбивали с него веру в свою правоту, а затем, превратив в лепешку, выгоняли вон. Но попав под ее очарование, они не могли не выслушать ее, и готовые фразы, шлифовавшиеся с двадцатых годов, застревали у них в горле, и Фрида пользовалась их невольной растерянностью, не подозревая даже, чем она вызвана.

И тут-то начался третий период деятельности Фриды: ей пришло в голову, что все конфликты, с которыми она возится, спасая людей, не такая уж случайность. До сих пор она придерживалась теории «малых дел» – одного пропишешь, другого не позволишь снять с работы, а третьего защитишь от ярости сослуживцев – стоило ей пригрозить статьей в «Известиях». В хрущевское время эта теория привлекла множество адептов: «по нашим грехам и то хорошо». Появились люди, которые не захотели смотреть сквозь пальцы на любые гнусности, объясняя их историческими закономерностями и благословенной формулой: «иначе нигде и не бывает». Началось какое-то шебуршание и постепенное очеловечивание, но всё же сторонники «теории малых дел» принадлежали к породе заядлых гегелианцев и свято верили, что количество когда-нибудь перейдет в качество. Впрочем никакого количества не накопилось, и нет надежды, что оно накопится, потому что деятели, восстанавливавшие справедливость в мельчайших делах, уже исчерпались.

У Фриды рано наступил третий период деятельности, когда, по-прежнему занимаясь «малыми делами», она вдруг сообразила, что все конфликты, которые она распутывает, спасая людей, не такая уж случайность, и она стала искать общего в частном. И вот тогда-то в женщине удивительной мягкости и доброты появилась та беспощадность, которая поражает в ее дневниках.

Лучшие записи сделаны в форме монолога. Почувствовав доверие к Фриде, во-первых, из-за ее личной прелести, во-вторых, благодаря «мандату» из центральной газеты, который удостоверял, что подательница сего принадлежит к своим в доску, мелкий Тарелкин[207] открывал ей всю свою душу. Он делился с ней заветными мечтами и антропофагскими надеждами. <…>

Чего только не наговорили ей эти наивные люди, принимавшие ее за свою! Мне запомнился начальник лагеря, мечтавший о массовых пополнениях не по уголовным – с уголовниками трудно ладить и невозможно выполнить план – а по настоящей пятьдесят восьмой: это статья безропотная – падают, а работают[208]. И еще руководящая гражданка из провинции, которая пришла жаловаться депутату на то, что ее сына судили за убийство открытым судом в угоду обывателям и врагам отечества. Это поставило мать, специалистку по воспитанию масс, в самое невыносимое положение… Ведь злопыхатели подрывают веру в ее воспитательный дар и тычут ей в глаза, что даже собственного сына она не сумела воспитать. Эту женщину почти не волновало, что ее сын получил вышку – вероятно, она надеялась, что из уважения к материнским заслугам его потихоньку помилуют. Ее возмущали местные власти, не проявившие к ней чуткости, и Фрида не забыла зарегистрировать, что работница культурного фронта читала подряд все премированные романы[209].

Кульминацией в деятельности Фриды была запись процесса Бродского, которая разошлась по всему миру. У нас она сыграла огромную роль: это впервые за десятки лет советский журналист беспристрастно записал судоговоренье[210]. Такое не приходило в голову никому, и – мы слишком привыкли к закрытым судилищам и даже немногочисленные открытые привыкли считать чем-то священным, на которые никто посягать не смеет. Судьи не выбирали слова и могли сказать что угодно: отсутствие резонанса, да еще искусственно созданное, – очень опасная вещь. У поставленного в такие условия человека исчезают все критерии – он действует как попало и в конце концов попадает впросак.

То же относится к нашей прессе. У нее есть один единственный резонатор – цензура, и если в цензуре отозвалось

благополучно, остальное журналиста не касается. После Фриды запись стала если не обычным, то хоть частым явлением, и это оказало известное влияние и на начальников, и следующие суды велись с кое-какой оглядкой, но нормального умения, уничтоженного в эти долгие годы, за короткий срок восстановить нельзя.

Писательские организации готовились к преследованию Фриды за то, что она нарушила заговор молчания (скорее посягнула, чем нарушила). <…> Она отказалась что бы то ни было предпринимать и готова была предстать перед судилищем в стиле того, которое проводилось над Пастернаком или Оксманом[211]. Исключение – это остракизм, нищета, бедствия. Оксман вышел на пенсию, Фрида по возрасту еще на пенсию права не имела. Ее избавила от этой «радости» только болезнь, от которой она вскоре умерла. Иначе мы имели бы еще одну стенограмму с первоклассными выступлениями писателей, осуждающих.

У Булгакова в «Мастере и Маргарите» распятый в Иудее дал мастеру не вечное блаженство, а только покой. И Марина [Цветаева] в статье «Искусство в свете совести»[212] тоже усумнилась в нравственной оправданности искусства и его носителей. А я думаю, что писательница и член Союза советских писателей Фрида Вигдорова заслуживает вечного спасения и вечной памяти в своей родной стране.

Надежда Мандельштам

Письмо к Н. Я. Мандельштам от 2 марта 1965 г.

2/III-65.

Дорогая Надежда Яковлевна, помнится, я все свои письма в Тарусу адресовала на обе половины дома – Вам и Оттенам. И обращалась, наверно, так: «Мои дорогие» – или что-нибудь в этом роде. Отвечать порознь у меня просто не было сил – физических. А теперь они потихоньку прибывают.

Я уже не желтая: белая.

Кончился мучительный курс лечения заморским лекарством.[213] *Я на ногах. Хожу по коридорам, подолгу стою у окошка и гляжу на снег, на лыжников, на деревья. Я захотела есть, черт подери! И когда мне прислали Полиных*[214] *моченых яблок, я была просто счастлива – передайте ей это, пожалуйста. Мне очень повезло в этой больнице: большую часть времени я провела в очень маленькой, но* ***отдельной*** *палате. И меня то и дело спрашивают:*

– А вам не скучно одной?

Не так давно к нам зашел врач и сообщил, что мне придется перейти в общую палату, а в мою привезут тяжело-больную. Я, разумеется, собралась и пошла, подумав: пора и честь знать. Только я устроилась в новой палате – ну, прошло минут сорок, не более, приходит сестра-хозяйка и говорит:

– Пошли назад.

– ?!!!

– А старушка преставилась. Померла. Всё.

И я поплелась назад. И все меня спрашивали:

– А вам не страшно будет? Вам как – ничего?..

Я тупо отвечала:

– Я постараюсь об этом не думать.

И не думала: жалко ее, она, бедняга, переехала в новую палату, чтобы умереть там. Но я ее не видела – не привыкла – не полюбила – и я сказала себе: не думать.

И опять я одна. Это, конечно, не домашнее, не тарусское одиночество, оно – больничное, однако – одиночество, и я радуюсь ему каждый день.

Что же до того, что мысли, толчки, понимание людей зарождается только в общении с людьми, то скажу Вам: я повесть свою начала после поездки во Псков и разговора с Вами.

Я долго ходила, думала. Носила в себе, но чего-то главного всё не могла, не могла додумать. Потом мы с Вами повидались и без помех о многом говорили, и, уезжая, я знала, что сяду за работу.

Если Вы меня спросите, что именно я додумала и поняла, я ответить не сумею. Нечто очень важное. То, без чего я не могла начать. А именно – Бог его знает.

Похоже, что я числа 10-го марта буду дома. Если ничего не произойдет с кровью. (Заморское лекарство может оказать влияние на состав крови. Тогда начнут переливать кровь, и всё такое прочее, и задержат. Если же анализы крови ничего такого угрожающего не покажут, меня отпустят.)

Что будет со мной потом – Москва ли, Переделкино ли – не знаю[215]*. Надо сначала вернуться и оглядеться. Одно хорошо, и прекрасно, и замечательно: мое депутатство кончилось. Какая гора с плеч! Вернусь домой, перепечатаю свои депутатские блокноты и подарю Вам.*

Сашки живут замечательно: дружно и весело. Но загадывать боязно. Вокруг все разводятся – и молодые, и старые. Раскалываются браки, которые казались очень прочными и дружными.

Но пока у них (у Сашек) славно.

Целую Вас, дорогой друг, и очень люблю. И очень хочу видеть. И

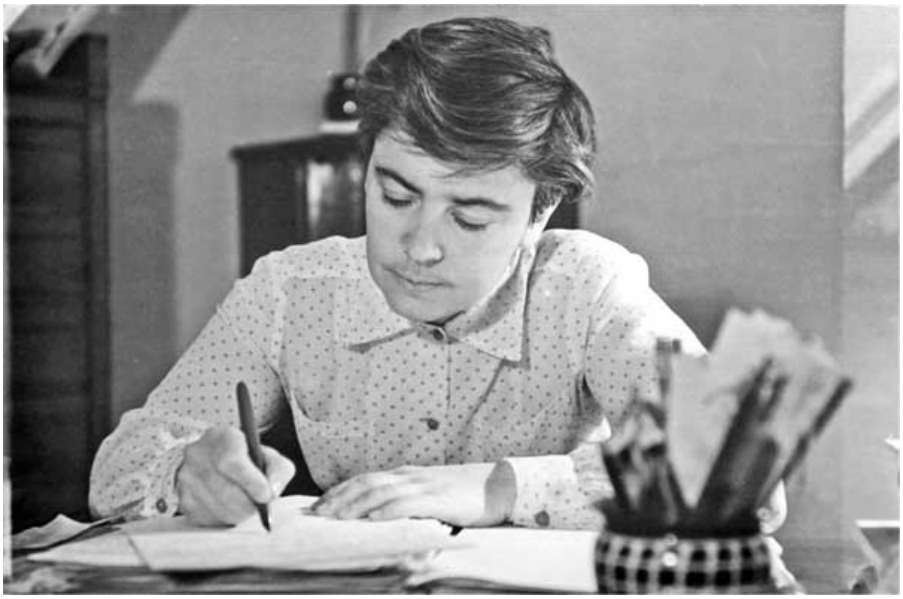
поговорить.

Обнимаю Вас.

Фрида

Фрида Вигдорова. Осень 1958 г. Фото С. А. Круглова

Ф.А. с дочерьми: слева – Саша, справа – Галя. 1958 г.



Ф.А. Осень 1958 г. Фото С. А. Круглова

Брат Ф.А. И. А. Вигдоров дома на побывке. Слева – мать Ф.А. и И.А. С. Б. Вигдорова, сверху – Галя, снизу – Саша. 1944 г.

Слева направо: Ф.А., Р. Е. Облонская, Н. Я. Галь. Осень 1958 г. Фото С. А. Круглова

Л. К. Чуковская. 1965 г. Фото из архива семьи Чуковских

Е. Г. Эткинд. Конец 60-х годов

И. Грекова. Конец 60-х – начало 70-х годов

О. Г. Чайковская. 1960-е годы

А. Я. Бруштейн. 1960-е годы. Из семейного архива Е. А. Болотовой, правнучки А. Я. Бруштейн

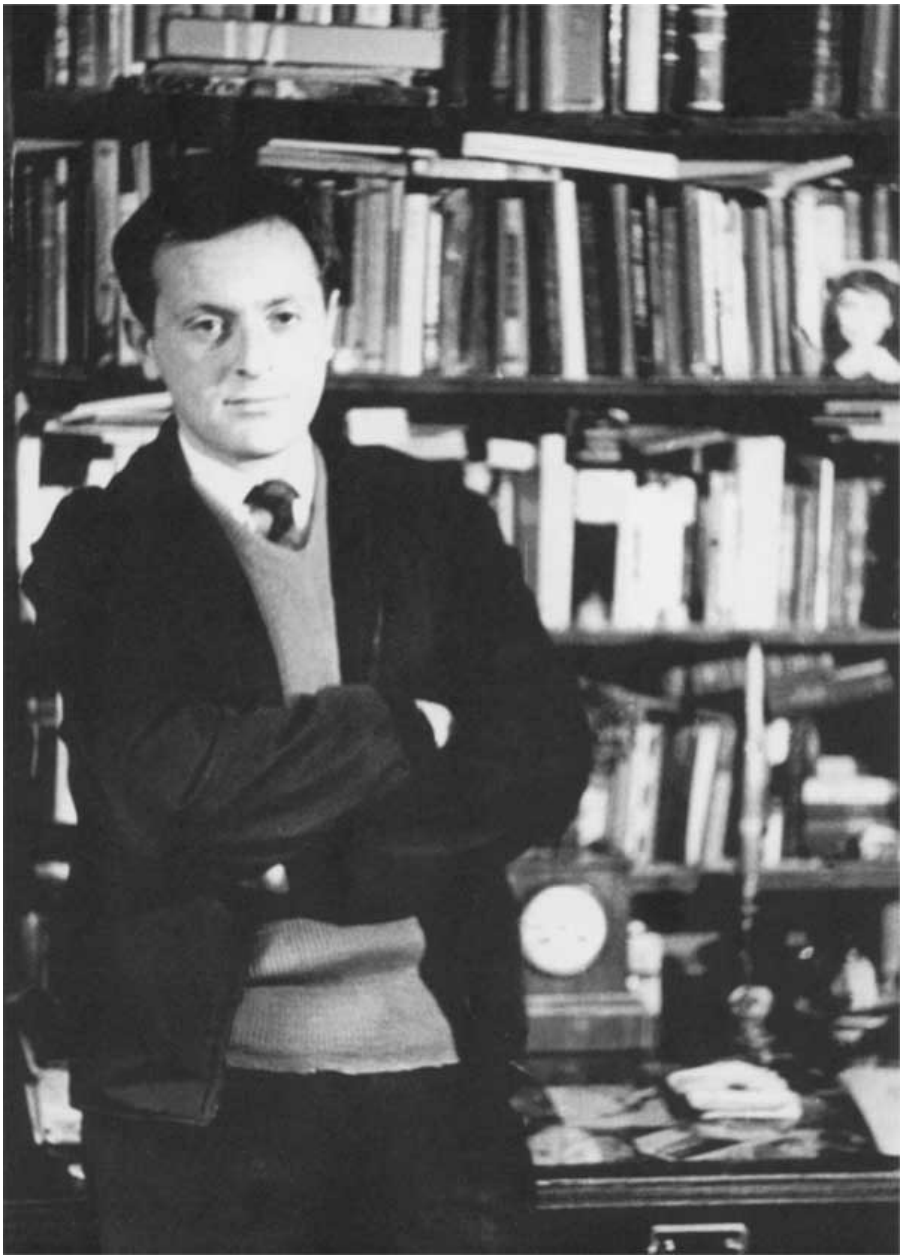
Н. Г. Долинина. Лето 1968 г. Фото А. С. Киселева

К. И. Видре. 1960-е годы

Н. Я. Мандельштам, ее брат Е. Я. Хазин и П. Ф. Стёпина («тетя Поля»). Таруса, 60-е годы

Анна Ахматова читает свои стихи А. Г. Найману. Фотография подарена Ф.А. с надписью на обороте: «Ф.В. Я читаю – Ахм. А я слушаю. А. Найман 20.10.64»

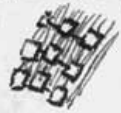
Ф.А. с внучкой Наташей. 1963 г.



Иосиф Бродский в своей комнате в Ленинграде. На второй полке сверху, справа, стоит фотография Ф.А. – та же, что на обложке этой книги. Фото Иосифа сделано в 1968 г. его отцом А. И. Бродским, который после отъезда сына передал его М. И. Мильчику, любезно предоставившему нам это фото

~~Зачал~~ Он не был знаком с делом.

„Не занимался общ. полезным трудом, ведет паразитич. образ жизни."*

В перерывах не работал. Но он не работал! 

Я в перерывах занимался тем, чем занимаюсь сейчас - пишу стихи.

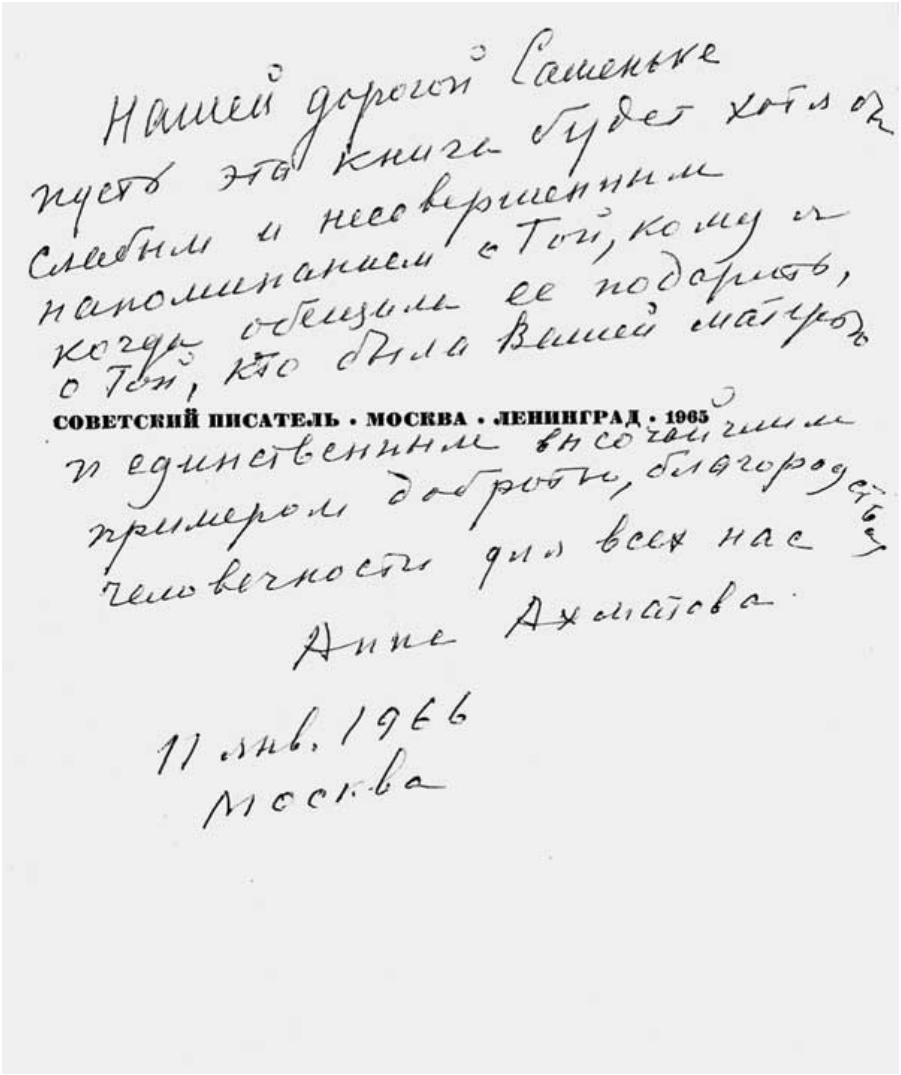
- Что полезного в том, что вы ~~часто~~ часто меняли место работы?

- Я менял работу потому, что я хочел больше знать.

Страничка из блокнота, где Ф.А. записывала суд над Бродским

Ф.А. с мужем А. Б. Раскиным. Переделкино, 1962 г. Фото М. Л. Поляновского

Одна из последних фотографий Ф.А. Переделкино, март 1965 г.



Дарственная надпись на книге «Бег времени», сделанная Ахматовой в больнице и посланная ею А. Раскиной

notes

Примечания

1

В Сети, в Журнальном зале: http://magazines.russ.ru/zvezda/2016/4/uchitel.html, помещена полная версия этой публикации, без каких бы то ни было неточностей. Однако в бумажной версии журнала допущена досадная ошибка: на обложке журнала и в оглавлении вместо названия повести «Учитель» дано название «Читатель».

2

Н. Мандельштам. Собрание сочинений в 2-х т. Т. 2. – Екатеринбург: Гонзо, 2014. С. 556–558.

3

Статья опубликована в «Литературном обозрении», 1996, № 3, стр. 66–67 под названием «О Фриде Вигдоровой».

4

Исаак Абрамович Вигдоров (1919–1968) – военный летчик. После войны испытывал самолеты, работал инженером.

5

В своей статье, написанной задолго до публикации, И. Грекова не решилась написать, что Ф.А. сказала на прогулке в лесу: «Я глубоко антисоветский человек». Но вспоминала об этом и рассказывала близким людям очень часто.

Ф. Вигдорова. «Девочки (дневник матери)». – М.: АСТ, 2014.

7

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996), знаменитый русский поэт, Нобелевский лауреат (1987 г.), в ту пору молодой ленинградский почти нигде не печатавшийся поэт, в 1964 г. был приговорен к 5-летней ссылке в северную деревню и к принудительному труду по обвинению в тунеядстве, так как он не имел постоянного места работы. Ф.А., несмотря на все препятствия, записала этот чудовищный процесс и последние полтора года своей жизни боролась за освобождение Бродского, рассылая повсюду свою «крамольную» запись.

8

Как известно, усилия Фриды Вигдоровой в конце концов привели к успеху – не будь ее записи, Бродский провел бы в ссылке не полтора года, а все пять лет, – но это случилось, когда ее уже не было на свете.

9

Кое-что из этих двух блокнотов публиковалось уже посмертно, в «Литературной газете», кое-что в сборниках статей «Кем вы ему приходитесь?». На мой взгляд, оба блокнота необходимо издать отдельной книгой (удивительно, как мало изменилась человеческая речь за прошедшие годы). – *Прим. автора*.

10

На самом деле у Виктора была другая фамилия.

11

Наталья Григорьевна Долинина (1928–1979) – педагог, журналист, писатель. Близкий друг Ф.А.

12

Дом-музей Поленова находится в Поленове, через реку (Оку) от Тарусы.

13

Александра Яковлевна Бруштейн (1884–1968) – писательница, драматург, автор знаменитой книги для детей и взрослых «Дорога уходит в даль». Старший друг Ф.А.

14

Статья принадлежала перу писателя Всеволода Кочетова (1912–1973), который был одной из самых одиозных фигур 50-х – 60-х годов, воинствующим противником всего свежего и нового, что появлялось тогда в литературе и обществе. Статья была направлена против тех писателей, которых сейчас называют шестидесятниками, – они просто стояли ему поперек горла.

15

Очерк был написан автором в 1964 г.

16

На самом деле у Бориса была другая (но похожая) фамилия.

17

См. также статью: Ф. Вигдорова. Преступление и выводы из него // Литературная газета. 21.06.1955. № 73. С. 2.

НКПС – Народный Комиссариат путей сообщения.

19

См. также статью: Ф. Вигдорова. «Глухая душа», сборник «Кем вы ему приходитесь» 1960 г., стр. 46–49.

20

См. также статью Ф.А. «Кем вы ему приходитесь» в этой книге, стр. 28–36.

21

См. также статью: Ф. Вигдорова. Авторитет // Литературная газета. 02.03.1961. № 38. С. 3.

22

См. также статьи Ф. Вигдорова. Пресная вода резонерства // Литературная газета. 30.06.1962. № 77. С. 2; Пять судеб и комиссия // Комсомольская правда. 15.02.1962. № 39.

23

«Звездный билет» – повесть Василия Аксенова, опубликованная в журнале «Юность» (№ 6, 7 за 1961 г.), которая немедленно завоевала всю читающую молодежь страны. Однако начальство встретило повесть в штыки. Положительные рецензии в печать не пропускались. В архиве Ф.А. лежит ее неопубликованная положительная рецензия на «Звездный билет».

См. также статью: Ф. Вигдорова. О понятиях совсем не старомодных // Литературная газета. 22.01.1963. № 10 (4597). С. 2.

25

На XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев добился продолжения линии XX съезда по борьбе с культом личности Сталина. Впервые прозвучали в печати и по радио слова о «чудовищных преступлениях» и необходимости восстановления «исторической справедливости».

26

Литературная газета. 22.01.1963. № 10 (4597). С. 2. Название соответствующей главки в «Блокнотах журналиста» – «Аморальное поведение»; см. в настоящей книге стр. 129.

27

Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) – литературовед, переводчик, профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена, близкий друг Ф.А… Был свидетелем защиты во время суда над Бродским в 1964 г. В 1974 г. под давлением КГБ был вынужден эмигрировать. С 1974 г. жил и работал в Франции.

28

Алексей Иванович Аджубей (1924–1993) – журналист, главный редактор газет «Комсомольская правда» (1957–1959) и «Известия» (1959–1964). Будучи зятем Хрущева, Аджубей иногда мог протащить в печать то, что другим не удавалось, и Ф.А. этим пользовалась.

29

Зам. министра МВД.

30

Улица в Москве, где находилась известная тюрьма, и неофициальное название самой этой тюрьмы.

31

В письме была указана настоящая фамилия Виктора.

См. в Сети: http://www.chukfamily.ru/Humanitaria/Frida/posleslovie.htm.

33

Третьей части трилогии Ф.А. о детском доме «Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка». Учительница Ирина Феликсовна Валюкевич (настоящее имя дочери Анны Никифоровны) играет заметную роль в «Черниговке».

См. примеч. на стр. 39.

35

Н. Г. Долинина. Душа, которая слышит // Семья и школа. 1967. № 2. С.38–40.

Напомним, что преподаватели кафедры педагогики Ленинградского пединститута им. Герцена были недовольны, что Долинина на встрече со студентами согласилась с ними, что учителям мало платят. На вопрос Ф.А., что же та должна была ответить, они сказали: «Она должна была увести студентов от этого вопроса».

Видимо, аллюзия к строчкам только что упомянутого Аполлона Майкова из стихотворения «Картинка»:

И, с трудом от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя.

38

Леонид Ефимович Пинский (1906–1981) – филолог, педагог, мыслитель-эссеист. Узник Гулага. Входил в близкое окружение Н.Я. Ф.А. до войны училась у Пинского в Московском педагогическом институте им. Бубнова (впоследствии им. Ленина).

39

Ф.А. директора (ректора) не то чтобы похвалила, но доброжелательно помянула. Свою статью в «Известиях» Ф.А. начала словами «Ректор Псковского педагогического института Иван Васильевич Ковалев сказал мне однажды, что с детства не забыл, как мужики из их села ходили в соседнее – “за ро́зумом”. <…> Я думаю, что в педагогический институт молодой человек приходит за тем же: за розумом». Ф.А. делает метафору «хождения за розумом» ключевой и на протяжении статьи несколько раз к ней возвращается.

40

Сайма – студентка, «собравшаяся рожать от неизвестного отца», травлю которой предотвратила Ф.А., будучи в Пскове. Н.Я. пишет об этом в очерке о Ф.А. (см. стр. 394).

41

См. интервью с Ольгой Розенблюм в Сети: http://gefter.ru/archive/14543.

Литературная газета. 21.06.1955. № 73. С. 2.

08.03.1957. № 67. С. 4.

Я ничуть не преувеличиваю. В 1960 г. у Владимира Буковского, тогда еще начинающего диссидента, отобрали при обыске его сочинение о необходимости демократизации ВЛКСМ. Через пару лет этот документ был квалифицирован следователем как «тезисы развала комсомола». См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Буковский,_Владимир_Константинович.

45

Критик Д. Еремин опубликовал 5 марта 1957 г. в «Литературной газете» статью «Заметки о сборнике «Литературная Москва»», где он обвинял его авторов в «очернительстве».

46

Гале вырезали щитовидную железу. Операция прошла успешно.

47

Таруса – маленький город в Калужской области, в 137 километрах (автомобилем) от Москвы. Многие писатели и деятели культуры жили или проводили лето в Тарусе; самым знаменитым из них был К. Г. Паустовский. «Тарусские страницы» – альманах, изданный Калужским книжным издательством в 1961 г.

48

Стёпина Пелагея Федоровна (1904–1985) – в просторечии «Поля» или «тетя Поля», жила в Тарусе. У нее был свой дом, где в разное время снимали комнату (а то и две) сама Н.Я. (в конце 50-х и летом 1964 года) и многие другие литераторы.

Н.Я. дружила с Полей, приходила к ней и тогда, когда не жила там. Она ценила то, что с Полей можно свободно разговаривать: та происходила из семьи раскулаченных и советскую власть ненавидела не меньше самой Н.Я. Знакома с Полей была и Ф.А.

50

О. Г. Чайковская (1917–2012) – историк, писательница и, с начала 60-х годов, журналистка.

51

Николай Давыдович Оттен (1907–1983) – драматург и критик, живший со своей женой Еленой Михайловной Голышевой (1906–1984), переводчицей английской и американской литературы, в Тарусе.

52

Повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр».

53

Владимир Николаевич Корнилов (1928–2002) – в ту пору еще не выпустивший ни одной книги, но уже известный в среде литераторов молодой поэт.

Н. Мандельштам. Собрание сочинений в 2-х т. Т. 2. – Екатеринбург: Гонзо, 2014. – С. 156.

55

Андрей Алексеевич Амальрик (1938–1980) – писатель, историк, политический заключенный и диссидент; эмигрировал в Голландию в 1976 г. Его письмо было написано в 1961 г., по-видимому, в июне.

См. в этой книге: «Дорогая редакция», стр. 104.

Ольга Чайковская. Фрида Вигдорова // Тарусские страницы. Второй выпуск, М. 2003, стр. 313.

58

Автор имеет в виду, что они не встретились после возвращения Бродского из ссылки. Вигдорова познакомилась с Бродским в 1963 году и до суда не раз с ним встречалась. – *Прим. сост.*

59

Ф. Сорокин введен в состав суда вопреки возражениям И. Бродского и адвоката.

Статья была опубликована 29 ноября 1963 года и подписана, кроме Я. Лернера, А. Иониным и М. Медведевым. 8 января 1964 года в том же «Вечернем Ленинграде» была напечатана подборка писем читателей под общим названием «Тунеядцам не место в нашем городе».

61

Е. Воеводин (как и далее Ф. Сорокин в своей обвинительной речи) намеренно искажает смысл стихотворения И. Бродского «Люби проездом родину друзей…» (1961), в котором под «чужой родиной» подразумевается Москва.

62

Вырванная из контекста строка из поэмы И. Бродского «Шествие».

63

За честь К. И. Чуковского и С. Я. Маршака вступился историк и публицист Е. А. Гнедин (1898–1983) – в прошлом ответственный работник Наркомата иностранных дел, шестнадцать лет провел в сталинских лагерях и ссылке.

64

Е. Ц. Чуковская (1931–2015) – дочь Лидии Чуковской, химик по профессии, но после смерти в 1969 г. ее деда, К. И. Чуковского, унаследовав права на его архив и произведения, стала филологом, архивистом и редактором. Одна из самых мужественных наших правозащитников.

65

Писатели Андрей Донатович Синявский (1925–1997) и Юлий Маркович Даниэль (1925–1988) были судимы за публикацию своих якобы «антисоветских» произведений за границей под псевдонимами. Синявский получил 7 лет лагерей, а Даниэль, как участник войны, «всего лишь» пять лет.

66

Владимир Константинович Буковский (р. 1942) – писатель, политический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского движения в СССР. Неоднократно арестовывался и помещался в спец. психиатрические больницы.

67

Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) – журналист, писатель и литературовед, активный диссидент, узник ГУЛАГа.

68

Юрий Тимофеевич Галансков (1939–1972) – поэт, диссидент. Помогал Гинзбургу в его работе над «Белой книгой» о деле Синявского – Даниэля и получил 7 лет лагерей строгого режима. Умер в лагерной больнице.

69

Лариса Иосифовна Богораз (1929–2004) – лингвист, активная правозащитница, участвовала в демонстрации семерых на Красной площади 25 августа 1968 г., за что была сослана в Сибирь на 4 года.

70

Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2013) – поэт и диссидент, участница демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г. Арестовывалась, подвергалась принудительному психиатрическому лечению, сидела в тюрьме. В 1975 г. эмигрировала во Францию.

71

Илья Янкелевич Габай (1935–1973) – поэт и диссидент, узник Гулага. Под угрозой повторного ареста покончил с собой.

72

Людмила Михайловна Алексеева (р. 1927) – одна из самых известных наших правозащитников. В 1977 г. под угрозой ареста эмигрировала и поселилась в США.

73

Павел Михайлович Литвинов (р. 1940) – физик, правозащитник, за участие в «демонстрации семерых» на Красной площади 25 августа 1968 г. против ввода советских войск в Чехословакию был сослан в Сибирь. В 1974 г. эмигрировал. Живет в США. Автор дает много информации о деятельности диссидентов, которых он здесь упоминает. Мы в своих сносках этой информации постараемся не повторять и постараемся ограничиться временным периодом, о котором рассказывает автор.

Текст написан автором на основе его выступления на вечере памяти Фриды Вигдоровой в 2015 г.

75

Эдуард Львович Безносов (р. 1950) – московский учитель, литературовед, составитель первого поэтического сборника Бродского, выпущенного в СССР.

76

Анатолий Генрихович Найман (р. 1936) – писатель, поэт, переводчик. Друг Бродского и Ахматовой, автор воспоминаний о них.

77

Яков Гордин. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: о судьбе Иосифа Бродского. – М.: Время, 2010, стр. 75–76.

Р. Д. Орлова. Воспоминания о непрошедшем времени: Москва, 1961–1981 гг. – М.: Издательство советско-британского совместного предприятия СЛОВО/SLOVO, 1993, стр. 303–304.

Samuel Kucherov, *The Organs of Soviet Administration of Justice: Their History and Operation* (Leiden, Netherlands, 1970), 227.

80

Яков Гордин пишет в своей статье «Что за мифом?» в «Литературной газете», 12 ноября 1997 г., стр. 11: «Из зала суда за весь процесс были выгнаны только три человека: химик Юрий Варшавский, архитектор Александр Рапопорт и выдающийся советский дипломат тридцатых годов, бывший политзаключенный Евгений Гнедин».

81

Соломон Моисеевич Волков (р. 1944) – журналист и музыковед, эмигрировавший на Запад в 1976 г. Он опубликовал *Conversations with Joseph Brodsky*, «Разговоры с Иосифом Бродским» (The Free Press, 1998). Статья Гордина была написана как ответ на публикацию в «Литературной газете» от 10 сентября 1997 г., стр. 12, этой самой выдержки из книги Волкова.

82

С. М. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. – М.: Независимая газета, 1998, стр. 74.

83

Яков Гордин. Что за мифом? // Литературная газета, 12 ноября 1997 г.

Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. т. 2 (1996–2003) // Звезда, 2006, С. 76.

85

Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997) – литературовед-германист, участник войны, узник ГУЛАГа, и его жена Раиса Давыдовна Орлова (1918–1989) – литературовед-американист, были друзьями и «товарищами по оружию» Чуковской и Вигдоровой. За диссидентскую деятельность Копелев и Орлова были исключены из партии и Союза писателей, а в 1980 г., будучи в Германии по приглашению, они были лишены советского гражданства.

86

См. Аркадий Иосифович Ваксберг. Моя жизнь в жизни. – М.: Терра-Спорт, 2000, т. 2, стр. 404.

87

См. Надежда Мандельштам и Фрида Вигдорова // Октябрь, 2016, № 1, Послесловие.

88

Чуковская Лидия. Дневник – большое подспорье. – Москва: Время, 2015. – С. 28.

89

См. примеч. № 1 на стр. 18.

90

См. очерк А. Раскиной «Вокруг статей» (стр. 152), а также интервью Ольги Розенблюм с А. А. Раскиной: http://urokiistorii.ru/node/52519.

Как это было обычно в те времена, автор и издатель делали вид, что автор не имеет никакого отношения к публикации. Иногда издание предварялось заявлением, что это «публикуется без ведома автора». Так было в случае повести Лидии Чуковской «Софья Петровна», которая была опубликована (по-русски) на Западе примерно в это время под заглавием «Опустелый дом».

92

Кена Иосифовна Видре (1923–2009) – филолог и мемуарист, младшая подруга Ф.А., автор нескольких воспоминаний о ней.

93

К. И. Видре. Какая она была, Фрида Вигдорова? // Звезда, № 5 за 2000 г., стр. 211–218.

94

Лилиана Зиновьевна Лунгина (1920–1998) – переводчица на русский язык с немецкого, французского, норвежского и шведского и известная мемуаристка. В очень популярном 15-серийном фильме «Подстрочник», снятом в 1997 г. (но показанном только через 10 лет) режиссером Олегом Дорманом, она рассказывает о своей жизни.

95

Жан-Пьер Вернан (1914–2007) – французский историк античной Греции, и его жена Лида. Жипе – по французским названиям его инициалов: J – P.

Олег Дорман. Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. – М.: Астрель, CORPUS, 2009, стр. 284.

97

Андрей Яковлевич Сергеев (1933–1988) – писатель, поэт и один из известнейших переводчиков англоязычной поэзии. Его книга «OMNIBUS: Альбом для марок, портреты, о Бродском» (Москва, Новое литературное обозрение, 1997) была удостоена русской Букеровской премии в 1996 г.

98

См. эссе Сергеева «О Бродском» в его книге «OMNIBUS», стр. 428–429.

Рада Аллой. Веселый спутник: воспоминания об Иосифе Бродском // Звезда, 2008, стр. 42.

100

Ф.А. послала Бродскому в деревню свою портативную пишущую машинку «Колибри». В мемуарах о Бродском иногда пишут, что он «почему-то» печатал свои стихи мелким шрифтом. Такой был шрифт у машинки «Колибри».

101

Николай Романович Миронов (1913–1964) – заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС.

102

Районный центр района, к которому относилась деревня Норенская.

103

Александр Андреевич Прокофьев (1900–1971) – ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей.

104

Роман Андреевич Руденко (1907–1981) – генеральный прокурор СССР.

105

Леонид Федорович Ильичев (1906–1990) – председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС.

106

Девять месяцев, видимо, считая с декабря 1963 г., после опубликования статьи «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде», после которой Вигдорова, Чуковская, а потом и другие начали свои хлопоты за Бродского, пытаясь остановить начатую травлю.

107

См. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. – М.: Согласие, 2007, т. 3, стр. 476–478.

108

С. М. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. – М.: Независимая газета, 1998, стр. 82.

109

См. в Сети: https://www.youtube.com/watch?v=DK86Iu_Edt0.

110

См., например: Людмила Сергеева. Конец прекрасной эпохи. Воспоминания очевидца об Иосифе Бродском и Андрее Сергееве // Знамя. 2016. № 7, стр. 159.

111

Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. – М.: Мол. гвардия, 2006, стр. 103.

112

См. вклейку.

113

Та же фотография, что на обложке этой книги.

114

Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. – М.: Мол. гвардия, 2006, стр. 98.

115

Записано, видимо, по рассказу знакомой Ф.А., литератора Н. А. Роскиной (1927–1989), о трагической гибели ее матери в 1938 г. См. автобиографическую повесть Н. Роскиной. Детство и любовь // Звезда, 2015, № 6.

116

В Малеевке, недалеко от подмосковного города Старая Руза, был Дом творчества писателей.

117

Место под Коломной, где несколько лет подряд Ф.А. с семьей снимали дачу в Поселке художников.

118

И. Л. Фейнберг (1905–1979).

119

Иван Григорьевич Большаков (1902–1980) – с 1939 г. председатель Комитета по делам кинематографии, впоследствии министр. Рассказывают, что Маршак однажды долго дожидался Большакова в его приемной, ушел не дождавшись и оставил ему такую записку:

У вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.

120

Из романа Мариэтты Шагинян (1888–1982) «Своя судьба», написанного в 1916 г.

121

Пигасов – персонаж романа Тургенева «Рудин».

Приводим только те, к которым есть комментарии Ф.А. (даны здесь курсивом). – *Прим. сост.*

123

Иван Спиридонович Рахилло (1904–1979) – писатель. Дело происходит в Малеевке.

124

Роман Тимофеевич Пересветов (1905–1965) – писатель, историк, а также автор множества домашних стихов «на случай».

125

Николай Павлович Анциферов (1889–1958) – писатель и литературовед старшего, чем Ф.А., поколения, близкий друг Ф.А.

126

Герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

127

Из «Крокодила» К. Чуковского: крокодил проглотил городового «с сапогами и с шашкою».

128

Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) – русский живописец, авангардист. Во время заграничной командировки в 1928 г. Фальк самовольно остался в Париже. Вернулся на родину в 1938 г. Его не репрессировали, но и не простили: замалчивали, обвиняли в формализме.

129

См. об этом: Кена Видре. В мастерской у Фалька // Вестник. 14 апреля 2004 г., № 8 (345): http://www.vestnik.com/issues/2004/0414/win/vidre.htm.

130

Следующие 10 записей связаны с главой «Дорогая редакция» в «Блокнотах журналиста», стр. 104.

131

Руня – Руфь Александровна Зернова (1919–2004) – ленинградская писательница, близкий друг Ф. А. Володя Муравьев – сын их общей приятельницы И. И. Муравьевой, в то время студент филфака МГУ.

132

Аким Морев – персонаж книги Ф. И. Панферова «Волга-матушка река».

133

Статья «Кем вы ему приходитесь?», стр. 28.

134

Драму «Дмитрий Калинин» написал В. Г. Белинский.

135

В 1959 г. на страницах газет развернулась дискуссия между инженером Полетаевым и писателем Эренбургом, захватившая читателей и вылившаяся в противостояние так называемых «физиков» и «лириков». Суть вопроса была в том, нужны ли современным инженерам или представителям точных наук («физикам») литература, стихи, музыка и прочая «лирика».

136

Из трилогии «Кристин, дочь Лавранса» норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882–1949).

137

Видимо, имеется в виду икона «Лобзание Христа Иудою», бывшая в монастыре вблизи Ногинска и исчезнувшая в 1922 г.

138

Рассказано Фриде Абрамовне переводчицей Татьяной Максимовной Литвиновой (1918–2011), дочерью наркома иностранных дел М. М. Литвинова (1876–1951). Рассказ относится к концу 30-х годов.

139

Ф.А. провела несколько дней (и ночей) в больнице (с разрешения знакомого врача), делая записи для своей книги «Любимая улица», где героиня – медсестра.

140

Аллюзия к «Майской ночи» Гоголя.

141

Уильям Локк (1863–1930) – английский писатель.

142

Цитируются почти буквально слова Манилова из «Мертвых душ» Гоголя.

143

Имеется в виду известное постановление ЦК Коммунистической партии от 1946 г., сломавшее Зощенко жизнь.

144

Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980) – живописец, график, театральный художник, скульптор.

145

Речь идет о выборе стихов О. Мандельштама для публикации.

146

Следующие две записи связаны с главкой «Она трудолюбивая…» из «Блокнотов журналиста», стр. 109.

147

Ольга Михайловна Кучумова (1902–1988) – журналист, арестована в 1937 г., реабилитирована в 1954-м. Автор воспоминаний «Жёны».

148

Баз – загон для лошадей.

149

Тамара Григорьевна Габбе (1903–1960) – писательница и редактор, близкий друг С. Я. Маршака.

150

Героиня одноименной повести Лидии Чуковской, написанной ей в 1939 г. по свежим следам «большого террора».

151

Действующие лица: Е. С. Вентцель (она же И. Грекова) и ее внуки, двоюродные братья, Сергей четырех лет и Андрей – трех с половиной.

152

Макс Фриш (1911–1991) – швейцарский писатель.

153

Из стихотворения Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума».

См. примеч. № 5, стр. 170.

155

Евгений Иванович Замятин (1884–1937) – русский писатель, критик и публицист, автор знаменитого романа «Мы». В 1931 г. эмигрировал (с разрешения Сталина) и жил в Париже.

156

Гай Валерий Катулл (ок. 87 до н. э. – ок. 54 до н. э.) – римский поэт, знаменит любовной лирикой и язвительными эпиграммами.

157

«Семейное счастье» – первая часть дилогии Вигдоровой, по которой они с Оттеном писали пьесу. Пьеса не была поставлена.

158

Ф.А. назвала свою книгу так же, как называется одна из повестей Толстого, и взяла к ней эпиграфом цитату из «Семейного счастья» Толстого: «Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья».

159

Персонажи дилогии Вигдоровой, объединенные здесь Оттеном в пары самым причудливым образом.

160

Игорь Михайлович Дьяконов (1914/15–1999) – историк-востоковед, лингвист. Друг Ф.А. Всю жизнь писал стихи; часть их он опубликовал в своей «Книге воспоминаний», СПб.: Европейский дом, 1995.

161

Николай Семенович Тихонов (1896–1979) – поэт.

162

Григорий Ильич Мирошниченко (1904–1985) – в 1937–1938 гг. руководитель партийной организации Ленинградского отделения Союза советских писателей.

163

Август Ефимович Явич (1900–1979) – писатель, автор книг о революции и Гражданской войне. В годы террора сжег собранную им библиотеку по этой теме.

164

Из шекспировского «Короля Лира».

165

См. примеч. № 1 на стр. 60.

166

Овадий Герцевич Савич (1896–1967) – писатель и переводчик, общий друг Ф.А. и А. Я. Бруштейн.

167

Сын А. Я. Бруштейн.

168

Курс химиотерапии. Препарата, который кололи Фриде Абрамовне, в СССР достать было нельзя; его, по просьбе Л. З. Копелева, прислал из Германии Генрих Бёлль.

169

Очерк впервые опубликован в журнале «Октябрь», № 1 за 2016 г. Публикация Павла Нерлера и Александры Раскиной. Вступление Павла Нерлера. Подготовка текстов, примечания и послесловие Елены Вигдоровой и Александры Раскиной.

170

Сравнение Ф.А. с «диккенсовскими девочками» изначально принадлежит писательнице Руфи Зерновой (см. примечание № 1, стр. 318). Лидия Чуковская в «Памяти Фриды» поначалу как бы соглашается с Зерновой (см. главу «У Чарльза Диккенса спросите»), но в другой главе («Грозные очи») спорит с ней, показывая, что Ф.А. была вполне «обороноспособна».

См. примеч. № 5 на стр. 170.

172

Половина дома, в котором жили Оттены, принадлежала бывшему мужу Е. М. Голышевой, Петру Ивановичу Голышеву.

173

Ольга Всеволодовна Ивинская (1912–1995) – литератор. Была другом и возлюбленной Бориса Пастернака. После смерти Пастернака власти отомстили ему за его «антисоветский» роман «Доктор Живаго» и арестовали Ивинскую вместе с ее дочерью, предъявив им обвинение в валютных спекуляциях. Несмотря на полную абсурдность обвинения, Ивинская получила 8 лет, а ее дочь Ирина Емельянова (см. о ней далее) – 3 года лагерей. О своих мытарствах в лагерях Ивинская написала в книге «Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени» (М.: Либрис, 1992), а Емельянова – в книге «Легенды Потаповского переулка: Б. Пастернак, А. А. Эфрон, В. Шаламов: Воспоминания и письма» (М.: Эллис Лак, 1997).

174

Об участии Вигдоровой в хлопотах за Ивинскую см., в частности, Раиса Орлова, «Воспоминания о непрошедшем времени», М., Слово, 1993, с. 297–298.

175

Л. З. Копелев (см. примеч. № 2 на стр. 266) был в 1945 г. осужден за пропаганду «буржуазного гуманизма» и за «сочувствие к противнику» и провел 10 лет в сталинских лагерях. Принадлежал к близкому окружению Н.Я.

176

Н.Я. пишет здесь о лете 1961 г., когда этот альманах готовился.

177

В альманахе было напечатано два очерка Вигдоровой: «Наша бабка» (с. 13) и «Глаза пустые и глаза волшебные» (с. 150), а также три очерка Н. Яковлевой (псевдоним Н.Я.): «Хлопот полон рот» (с. 9), «Птичий профессор» (с. 14) и «Куколки» (с. 147).

178

См. «Наша бабка», стр. 52 этой книги.

179

«По ком звонит колокол» – роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) о гражданской войне в Испании (1936–1938), вышедший в Америке в 1940 г. Вскоре после этого он был переведен на русский, но публикация перевода была запрещена из-за возражений против романа ветеранов интернациональных бригад в Испании, а также генерального секретаря Испанской коммунистической партии Долорес Ибаррури. Перевод был опубликован только в 1968 г. (с купюрами).

180

Возможно, имеется в виду «Царство Духа и царство кесаря». Во втором выпуске «Тарусских страниц», М., 2003, в статье «От составителей» (с. 8) мы читаем: «У Надежды Яковлевны – запрещенные (по тем временам) книги Бердяева (среди них «Царство Духа и царство кесаря»)».

181

«Блокноты журналиста», стр. 87.

182

См. стр. 112.

183

«Блокноты депутата», стр. 179.

184

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) – поэт. Постоянно занимал крупные должности – как государственные, так и в Союзе писателей. В 1953–1959 гг. первый секретарь Союза писателей СССР.

185

См. статью Ф.А. «… Извлекает искры», стр. 37.

186

Персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы».

187

На самом деле единственная статья Ф.А., которую, с некоторыми оговорками, можно отнести к «женской» теме, – это «О понятиях совсем не старомодных» («Известия», 1963); см. здесь «Аморальное поведение», стр. 129.

188

Иван Васильевич Ковалев (1907–1984), ректор Псковского педагогического института (1961–1968).

189

См. примечание № 1 к письму Н.Я к Ф.А. на стр. 159.

190

Юлия Марковна Живова (1925–2010) – редактор Гослита, переводчица, принадлежала к ближнему окружению Н.Я. и очень много ей помогала, в том числе и в быту.

191

См. статью «Плохой студент?», стр. 80.

192

Ирина Ивановна Емельянова (р. 1938) – дочь Ольги Ивинской, литератор, узник ГУЛАГа. В 1985 г. эмигрировала во Францию.

193

Как мы уже говорили, Эренбург занимал высокий пост депутата Верховного Совета СССР, в то время как Ф.А. была в последние полтора года своей жизни депутатом всего лишь районного совета Фрунзенского района Москвы.

194

О том, как Ф.А. помогала Емельяновой прописаться в Москве по освобождении из лагеря и как подключала к этому Эренбурга, Емельянова рассказывает в интервью Ольге Розенблюм (Париж, 2014 г.) – см. в Сети: http://www.colta.ru/articles/literature/6650.

195

См. наш комментарий к этому утверждению Н.Я. на стр. 267–268.

196

Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993) – филолог, переводчик и поэт, профессор Ленинградского педагогического института имени Герцена, был свидетелем защиты во время процесса Бродского. Суд вынес частное определение, осуждающее всех свидетелей защиты, поэтому все они вполне могли ожидать репрессий.

197

Здесь Н.Я. ошибается: на самом деле это был не Сурков, а Борис Полевой, автор известной книги «Повесть о настоящем человеке».

198

Повесть Ф.А. под названием «Учитель» (см. введение «От составителей»). Об этом разговоре упоминает также Ф.А. в письме к Н.Я. от 2 марта 1965 г., стр. 410.

199

Муж А. А. Раскиной Александр Дмитриевич Вентцель (р. 1937).

200

Домашнее имя известного филолога и общественного деятеля Вячеслава Всеволодовича Ива́нова (р. 1929).

201

Запись суда над Синявским и Даниэлем, сделанную в основном женами этих писателей (не знавшими стенографии: см. свидетельство М. В. Розановой-Синявской от 1989 г.: http://www.agitclub.ru/museum/satira/samiz/dan7.htm), можно найти в: «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составитель Александр Гинзбург (Москва). «Посев», Франкфурт на Майне, 1967: http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1582. Книга предваряется посвящением: «Светлой памяти Ф. А. Вигдоровой посвящает свою работу составитель».

Это не совсем так. К сожалению, в архиве Н.Я. не сохранилось то письмо Ф.А. к ней, где она говорит, как менялось ее отношение к поэзии от юношеских увлечений до погруженности в поэзию Ахматовой, Пастернака и, когда их стихи стали доступными (хотя бы в списках), – Мандельштама и Цветаевой. Ф.А. писала Н.Я., что поначалу ей не очень нравилось стихотворение Мандельштама «Я пью за военные астры»: казалось ей слишком красивым; но потом она поняла… Мы не можем свидетельствовать о том, что было в юности, но в зрелые годы «читательницей стихов» Ф.А. была, и именно в том значении, в каком это понимает Н.Я. Ф.А. присматривалась и прислушивалась и к молодым поэтам: Юрию Панкратову, Ивану Харабарову, Владимиру Корнилову, Иосифу Бродскому, Александру Кушнеру. Стихами еще мало известного тогда В. Корнилова она кончила свою повесть «Любимая улица» (см. в этих воспоминаниях о публикации его стихов в «Тарусских страницах»).

203

Серия «История молодого человека XIX столетия», содержащая 18 романов и повестей русских и зарубежных авторов, вышла в 1930-х годах в 24 выпусках.

«История молодого человека», «рассказ, который она, может, не успела записать,» есть и во «Второй книге» Н.Я. – глава так и называется «Назидательная история». Разночтений практически нет, но в книге «история» рассказана подробнее и дополнена рассуждениями как об особенностях советской педагогической системы (Н.Я. уточняет, что молодой человек был «ровесником Октября»), воспитывающей готовность к доносительству, так и об отличии именно этой исповеди от других, ей подобных, «полным отсутствием украшательства и самооправдания». Как и в этом тексте, Н.Я. боится, что история не была записана, что она пропадет. Она подробно и точно указывает источники: «Я хочу записать рассказ, услышанный братом Фриды Вигдоровой <…>. Фрида и ее брат [см. примеч. № 1, стр. 17] умерли почти одновременно, и я боюсь, что они не успели записать исповедь железнодорожного спутника, а ей пропадать не следует». Не хотела, чтобы история пропала, и Ф. А. Именно эта «исповедь» занимает очень важное место в сюжете ее последней, неоконченной книги – об учителе, вернувшемся из лагеря: мы публикуем здесь эту исповедь (см. стр. 378). В истории, рассказанной Ф.А., отсутствие самооправдания «исповедующегося» свидетельствует не столько о его беспощадности по отношению к себе, сколько о душевной развращенности, и в судьбе главного героя, учителя Сергея Навашина, человек, чьим прототипом был «спутник Фридиного брата», сыграл роковую роль.

205

В том, что Н.Я. пишет об отношении Ф.А. к Макаренко, есть неточности. Ф.А., действительно, с юности очень любила «Педагогическую поэму» Макаренко и считала ее замечательной книгой, но отнюдь не всё у Макаренко Ф. А. принимала. В частности, она считала крайне слабой его книгу «Флаги на башнях» и горячо сочувствовала критику Ф. М. Левину, пострадавшему за нелицеприятную статью об этой повести. О различии в подходах к воспитанию у Макаренко и Вигдоровой см.: М. Майофис, «Предвестия «оттепели» в советской школьной политике послесталинского времени».// Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е). М., НЛО, 2015, с. 35–106.

206

Не только из редакционной почты. Люди и письма часто шли к Ф.А. напрямую. Так и о начинающейся травле Бродского узнала она не из редакционной почты, а из частного письма – от ленинградских друзей. См.: *Гордин Я.* Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: о судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010. С. 75–76.

207

Тарелкин – персонаж пьесы А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) «Смерть Тарелкина».

208

См. запись «Она трудолюбивая…» в «Блокнотах журналиста», стр. 109.

209

См. запись «Козлова Агриппина Яковлевна из Талдома» в «Блокнотах депутата», стр. 188–189.

Суды журналисты записывали и раньше, но только если они были, как теперь говорят, «аккредитованы», то есть с разрешения властей, и уж безусловно не вопреки запрету судьи.

211

Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970) – литературовед. Был исключен из Союза писателей дважды: в 1936 и в 1964 г. (в этот раз в связи с анонимной публикацией на Западе его статьи «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых»).

См. в Сети: http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_iskustwo_pri_sovesti.php.

213

См. примеч. № 3 на стр. 377.

См. примечания № 2 и № 3 на стр. 170.

215

16 марта, день своего 50-летия, Ф.А. отмечала в Переделкине, на даче у Т.В. и Вяч. Вс. Ива́новых, нижний этаж которой в это время снимали у них Ф.А. с мужем А. Б. Раскиным, а также Л. З. Копелев и его жена Р. Д. Орлова. Описание этого дня рожденья дает Л. К. Чуковская в своей книге «Памяти Фриды», глава «Гюгополис». Месяца два Ф.А. чувствовала себя неплохо, но потом началось ухудшение. В мае ее снова положили в больницу и провели второй курс химиотерапии, но на этот раз «заморское лекарство» не подействовало. Ф.А. вернулась из больницы домой, в Москву, и еще какое-то время могла работать над «Учителем». В июле она слегла. Ф.А. умерла 7 августа 1965 г.